Мария Рольникайте

ЭТО БЫЛО ПОТОМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В повести "Это было потом" описано непростое после всего пережитого возвращение к нормальной жизни. Отражена и сама жизнь, в которой одним из зол был сталинский антисемитизм. Автор повествует о тернистом пути к читателю книги "Я должна рассказать", впоследствии переведенной на 18 языков.

- М. Рольникайте
- ТЕПЕРЬ МЕНЯ НЕ УБЬЮТ
- ДОРОГА ДОМОЙ
- ОСТАНОВКА НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ
- Я ВЕРНУЛАСЬ…
- ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
- ДОМАШНИЙ МЕМОРИАЛ
- ТЕБЕ НАДО УЧИТЬСЯ
- НЕПРИВЫЧНО ЛЕГКАЯ РАБОТА
- ПРИЕЗД МИХОЭЛСА
- НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
- КАК ПОГИБ ДЯДЯ МИХЕЛЬ
- ГИБЕЛЬ МИХОЭЛСА
- ОПЯТЬ НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
- ОНА НОСИЛА МАМИНЫ ПЛАТЬЯ…
- И СНОВА ССЫЛАЮТ В СИБИРЬ…
- СУД НАД МУРЕРОМ
- У ПАПЫ БУДЕТ РЕБЕНОК
- В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ
- ЗНАКОМАЯ КЛЯКСА, ЗНАКОМЫЙ ДИВАН…
- РОЖДЕНИЕ СЕСТРЕНКИ
- ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕРЕВОД
- МЫ- "БЕЗРОДНЫЕ КОСМОПОЛИТЫ"
- ХОЧУ ПОСТУПИТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
- ЦЕНА ПРАВДЫ
- ОТ СВОИХ НАМЕРЕНИЙ НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ
- НОЧНОЙ СТРАХ
- "ЧИСТКА КАДРОВ"
- КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА С ДЕТСТВОМ
- ЧУДОВИЩНОЕ ОБВИНЕНИЕ
- СМЕРТЬ СТАЛИНА
- ДЕКАДА ЛИТОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- ОКОНЧАНИЕ ИНСТИТУТА
- "О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ"
- НЕ ВСЕ РАДЫ ВОЗВРАЩЕНИЮ ССЫЛЬНЫХ…

- ВСЕНОЩНАЯ
- ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
- НЕ МОГУ БОЛЬШЕ МОЛЧАТЬ
- ПРИЕЗД ИЗРАИЛЬСКОГО ДЯДИ
- ПОЕЗДКА К И.Г.ЭРЕНБУРГУ
- НАКОНЕЦ РЕЦЕНЗИЯ ПОЛУЧЕНА
- ОПЯТЬ ЧУДОВИЩНОЕ ОБВИНЕНИЕ
- РЕДАКТУРА РУКОПИСИ
- ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ
- ПРОТЕСТ С ОГРАНИЧЕНИЕМ
- ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ
- ПОЕЗДКА В ПАРИЖ
- НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ОЧЕРК
- "ТРИ ВСТРЕЧИ"
- В ПОДПОЛЬЕ…
- "ПРИВЫКНИ К СВЕТУ"
- Э П И Л О Г

М. Рольникайте
ЭТО БЫЛО ПОТОМ
Документальная повесть

Мои записи о пережитом в Вильнюсском гетто и двух концентрационных лагерях в 1941–1945 годах — будущая книга "Я должна рассказать" — готовилась к публикации в журнале "Звезда". Заведующий отделом прозы А.С.Смолян попросил дописать к ним послесловие: "У читателя возникнет естественный интерес к тому, что с Вами было потом, после освобождения". Я написала. Вернее, коротко воспроизвела всего четыре события из своей послевоенной жизни: утро возвращения в город, первый урок в вечерней школе, получение диплома в Литературном институте, и день, когда прочла принесенные из типографии гранки геттовских и лагерных записей, которые "теперь уже не просто мои записи. Они…войдут в дома — в тысячи домов — и поведают людям о том, что я должна была им рассказать…" Я бы не стала больше возвращаться к тому, "что было потом", если бы многие другие события, происшедшие уже после выхода книги и вплоть до наших дней были бы фактом только моей жизни, если бы в них самих и в их восприятии было повинно лишь лагерное прошлое, если бы я не считала, что и о них я должна рассказать. Записи завершаются освобождением из концлагеря, вернее, из сарая, куда нас после трехнедельного пешего этапа якобы в другой лагерь загнали, чтобы сжечь. Война шла к концу, и приказ фюрера обязывал не оставлять не только живых, но и мертвых свидетелей. К счастью, не успели.

ТЕПЕРЬ МЕНЯ НЕ УБЬЮТ

Это было 1О марта 1945 года в нескольких километрах от немецкой деревни Хина. Двое красноармейцев несли меня туда. Помня, что совсем обессилевшим немцы выстреливают в затылок, я все пыталась убедить их, что еще могу идти, что дойду. Но они — высокий, который в сарае меня поднял и держал, чтобы я снова не упала, и второй, пожилой и усатый — на мой лепет не обращали внимания. Высокий даже хмурился. Я понимала, что меня несут наши, что больше не надо бояться. Немцев нет. Кругом красноармейцы. И эти танки — советские. Красная армия уже пришла. Она нас освободила. Мы больше не будем в лагере. И меня не погонят в газовую камеру. И буду жить. Твердила про себя, что меня не убьют, что буду жить, и ничего, что меня несут, они же красноармейцы. Правда, не такие как те, которые до войны приходили к нам в школу. Те были веселые, пели "Полюшко, поле", и плясали. А эти небритые, усталые. И нести им меня, наверно, тяжело. Я опять хотела сказать, что теперь уже пойду сама, но усатый неожиданно спросил, как меня зовут. Я ответила. — А лет сколько? Я чуть не прибавила себе, как в Штуттгофе, два года, чтобы меня считали трудоспособной, но спохватилась, что *им* можно сказать правду. — Скоро будет восемнадцать. Он почему-то удивился. — Сколько ж тебе было когда попала к ним? — Почти четырнадцать. — А мать где? Я хотела ему объяснить, что с мамой нас разлучили, что меня и многих других молодых девушек увезли в лагерь, а куда увезли ее, сестренку и маленького брата — не знаю. Но высокий опять нахмурился. — Не трави девчонке душу. Они несли меня мимо вереницы неподвижно стоящих вдоль дороги груженых телег. Такие телеги — с детьми, домашним скарбом, привязанной сзади коровой — в последние дни "перехода в другой лагерь" нас часто обгоняли. Это местное население убегало от наступающей Красной Армии, и мы были в отчаянии, что нас тоже уводят… Теперь поверх скарба никто не сидел. Лошади были по-прежнему впряжены, и коровы привязаны, а их хозяева, наверно, убежали в виднеющийся за полем лесок. Красноармейцы лошадей распрягали, коров отвязывали, а телеги опрокидывали в кювет — освобождали дорогу. Вдруг я увидела возле одной телеги Мэру и других наших женщин. Они впятером держали лагерного унтершарфюрера. Хоть не в форме и без фуражки, а в клетчатом гражданском костюме, это он! Женщины звали русских солдат, чтобы они его расстреляли. Он эсэсовец! Убийца! Душегуб! Я схватила высокого за рукав. Попросила опустить меня. Это наш

унтершарфюрер. Мне надо туда. Но он не остановился. — Вон, посмотри, уже берут его. — И правда, двое солдат уводили его. Без формы и своей высокой фуражки он совсем обыкновенный, не страшный, даже испуганный какой-то… Солдаты принесли меня в небольшой дом с белыми ставнями и маленьким палисадничком. Хозяйку наше появление испугало. Она, кажется, скорее догадалась, чем поняла, что рослый русский солдат велит ей меня накормить. А второй, усатый, показывает, чтобы уложила на эту, с периной и тремя огромными подушками кровать. Она кинулась выполнять приказ "господ русских военных": растопила плиту, поставила греть воду. И принесла полную кошелку картошки и еще что-то, завернутое в бумагу. Высокий ткнул в сверток пальцем и спросил, что там. Она ответила, что маргарин. И все равно он мне велел первой ничего не есть, пусть сначала сама из той же тарелки попробует. А то и отравить может. Я хотела ему сказать, что это в лагере, после пожара в газовой камере, чтобы мы "умирали сами", в наш так называемый суп — серую водицу с крохотным ошметком, если повезет, гнилой капусты — что-то добавляли. Может, даже не яд, а обыкновенный перец. От него жгло во рту, очень хотелось пить, воды не было, мы ели грязный снег, и потом каждое утро из барака выносили умерших за ночь Но то было в лагере, а эта испуганная женщина ведь не надзирательница. Не сказала. Не было сил говорить.

Они ушли. А я даже не спросила, как их зовут… Я осталась одна с немкой. Она суетилась вокруг плиты, села чистить картошку и без умолку говорила. Ей при Гитлере тоже было плохо. А я не понимала почему — ведь она все время жила тут, дома. Я смотрела, как из-под ее пальцев падают в корзину извилистые полоски картофельной шелухи и радовалась, что они толстые: по привычке считала, что только они мне достанутся. И когда она спросила, желаю ли я Bratkartoffeln? — то от удивления едва сообразила быстро кивнуть: ведь она мне предложила настоящую жареную картошку! Хозяйка порывалась, пока картошка жарится, выполнить и наказ солдата меня помыть. Но такая услужливость, да еще немки, меня очень смущала и я промямлила, что буду мыться сама. Я уже забыла, какая она-теплая вода. Только все еще закоченевшие руки плохо слушались. И кожа, особенно на ребрах, при каждом прикосновении болела. А ноги… Без обмоток они, от теплой воды еще и побагровевшие, вообще не были похожи на мои ноги. О совете Высокого, чтобы хозяйка попробовала еду первой, я, увидев целую тарелку румяной картошки, сразу забыла. Да и если бы вспомнила, все равно постеснялась бы ей это сказать. Обрадовалась, что она вышла, быстро глотала: когда она вернется и увидит, что тарелка

пуста, может, даст еще. Ведь на сковороде осталось почти столько же. Потом я лежала на кровати — настоящей мягкой кровати, под теплой периной. И это было так хорошо… Сквозь сон услышала знакомые голоса. Но не хотела просыпаться — пусть мягкая кровать и это тепло еще хоть немного снятся. И Мэра пусть снится. Она что-то говорит о том, что надо обыскать всю деревню… Может, не все конвоиры успели убежать… Но я сплю, сплю. Постепенно я стала понимать, что все это не сон. Открыла глаза. Я на самом деле лежу на кровати. Сюда меня принесли два русских солдата. Высокий и пожилой. А они — Мэра, Соня с Рохцей, Таня и Гита — действительно (я же это видела!) не отпускали унтершарфюрера и кричали русским солдатам, чтобы они его расстреляли. Теперь Мэра говорит, что надо искать и конвоиров. Она старше нас и самая смелая. А откуда у нее это мужское пальто? Наверно, нашла на какой-нибудь брошенной телеге. Она и в лагере иногда что-нибудь "организовывала" — то кусочек хлеба, то высохшую свеклинку. Может, поэтому она не такая худая, как мы… Разумная Гита уверяет, что сама никуда не пойдет — конвоиры еще могут быть при своих автоматах. Неразлучные Соня с Рохцей тоже не пойдут — нет сил. Таня и вовсе молчит. Сидит, прислонившись к печке, с закрытыми глазами. В лагере ее называли занудой: вечно жаловалась, что хочет есть, что на следующей селекции ее наверняка заберут, такая она худая. А когда кто-нибудь заговаривал, какая жизнь будет после войны, она обязательно вздыхала: "Не доживем…" Я тоже иногда переставала надеяться. А вчера ночью, когда там, в лесу, упала и конвоир меня столкнул в кювет, так даже хотела в нем уснуть, замерзнуть, чтобы больше не надо было тащиться, чтобы скорее все кончилось. Может, конвоир потому не выстрелил мне в затылок, как они это делали в прошлые дни, а потому, что знал: Красная Армия уже близко, и выстрел может их выдать. Ведь и собак вели на коротких поводках, и даже не курили. И я бы замерзла. Ведь когда колонна отдалилась, я в этой тишине зимнего леса стала засыпать. Спасибо той женщине, учительнице из Венгрии — тормошила какой-то палкой, говорила, что теперь, когда Красная Армия уже близко, нельзя умереть. Заставила все-таки выбраться из кювета и опять идти, переставлять свои тяжелые болящие ноги. Вечером пришли наши спасители, но без Высокого и второго, пожилого, которые меня сюда принесли. Их было шестеро, они выложили на стол буханки хлеба и еще какие-то незнакомые консервные баночки. Старший — у него единственного на погонах были две полоски — велел женщинам нарезать весь хлеб, а солдаты принялись вскрывать банки, доставать оттуда куски очень вкусно пахнущего мяса и

укладывать их на хлеб. Потом старший сказал, чтобы мы сели с ними и подкрепились американской тушенкой, а то "смотреть страшно, до чего эти гады вас довели". Мэра села первой, возле молодого солдатика с забинтованной головой. Из-за бинтов он, наверно, и шапку не снял. И Соня с Рохцей примостились рядом с ним. А Гита с Таней пристроились у другого края стола, где лежал хлеб. Я хотела встать, но как только приподняла голову, стены качнулись, и я повалилась обратно. Старший что-то разлил по кружкам. Солдаты выпили, потянулись за хлебом, и женщины потянулись. Я опять хотела есть, но попросить стеснялась. Хорошо, что добрячка Соня спросила, можно ли взять хлеба и для меня. Сразу два солдата протянули мне по толстенному, почти в три лагерных порции, ломтю хлеба с большими кусками мяса на каждом. Они еще выпили, о чем-то говорили. Но я не слушала. Лежала с закрытыми глазами и жевала. Отщипывала губами: с тех пор, как унтершарфюрер выбил мне передние зубы, я научилась откусывать губами по маленькому кусочку. Вдруг живот пронзила резкая боль. Я затаила дыхание — может, если почти не буду дышать, она пройдет. Привычно говорила себе, что надо потерпеть. Пройдет. Надо потерпеть. Но боль не проходила. Наоборот, усиливалась, распирала. Я испугалась, что не смогу сдержаться, и осторожненько, с закрытыми глазами, чтобы стены опять не качнулись, сползла на пол. Подлезла под кровать, и очень старалась сдерживаться, ждала, что солдаты уйдут. Пыталась думать о другом, слушала их разговоры. Они о чем-то спорили. Потом кто-то сказал: — Ладно, кончайте. Вася, давай песню. Тот, которого он назвал Васей, запел какую-то совсем незнакомую песню, как девушка провожала бойца, а он долго видел огонек в ее окне. Пели все вместе. Я хотела запомнить слова, но не успевала. Запомнила только, что "парня встретила дружная фронтовая семья". Потом они пели другую, тоже незнакомую. И опять я запомнила только: "Хоть я с вами совсем незнаком, и далеко отсюда мой дом…" Больше я запоминать не старалась. Просто лежала, свернувшись калачиком — так меньше болело — смотрела на солдатские сапоги под столом и слушала русские песни. И было так хорошо — лежать, слушать, и говорить себе, что теперь меня не убьют… Они бы, наверно, еще спели, но Мэра стала жаловаться на наших конвоиров. Рассказывала, как они над нами издевались, как пугали, что живыми большевикам нас не оставят, в последний момент расстреляют, или сожгут. И сожгли бы. Слава Богу, что не успели. Но и сами, наверно, не успели удрать. Залезли куда-нибудь со своими автоматами и только ждут подходящего момента, может, ночи, чтобы ворваться сюда или в соседний дом — там тоже наши — и всех нас, Боже

упаси… Но от волнения она говорила на такой смеси польского с еврейским, вставляя лишь отдельные русские слова, что я выползла из-под кровати и, как могла, повторила все это по-русски, хотя и сама язык учила в школе всего один предвоенный год и говорила совсем плохо. Старший сразу дал команду обыскать дом. Мы слышали, как они поднимаются на чердак, лезут в погреб. Потом вышли во двор, видно, проверить сарай. Вернувшись, успокоили — фрицев нигде нет, даже хозяйка куда-то исчезла. Принесли из погреба много стеклянных банок с вареньем, с застывшими в прозрачном желе куриными крылышками, с какими-то стручками. Старший сказал, что таких банок у хозяйки припасено "до чертовой матери", а уж картошки и капусты на три взвода хватит. Так что мы можем все это брать и отъедаться. А молоденький, у которого забинтована голова, добавил, что на чердаке в шкафу и какая-то одежонка висит. Хватит нам ходить в этих арестантских платьях. Когда они уходили, один солдат нагнулся ко мне и тихо, чтобы остальные не слышали, спросил, не встретила ли я там, в плену, Михеева. Павла Михеева. Пропал без вести еще в сорок первом. Может, он тоже живой. Я очень хотела его обнадежить. Но сказала только, что в Штуттгофе было много мужчин. Правда, мы их видели лишь издали, — между мужскими и женскими бараками тянулась двойная ограда. К ней даже приближаться было запрещено, охранник с вышки сразу стрелял. К тому же нас, евреев, вообще держали отдельно от всех остальных узников. Но все же мы видели, что перед ликвидацией лагеря мужчин тоже эвакуировали. Так что, может быть, человек, о котором он спрашивает, жив. Солдат благодарно похлопал меня по руке и поспешил догонять своих товарищей. После их ухода Мэра осмелела. Позвала всех подняться на чердак, посмотреть, что там за одежда. Принесли они оттуда только мужские брюки и пиджаки. Мне Гита — она, оказывается, добрая и обо мне подумала — подала куцое, почти детское пальтишко с треугольной, выжженной утюгом дырой. Объяснила: все же лучше, чем ничего, хоть не буду мерзнуть, пока тащусь по двору в отхожее место. Соня с Рохцей остались на чердаке. Обнаружили там матрац и решили спать "как люди". Утром Рохця спустилась какая-то изменившаяся. Будто окаменевшая. — Соня умерла, — вымолвила она, повернулась и вышла. Мэра бросилась за нею. И Таня с Гитой выбежали. А я… Я не понимала, как это может быть — нас же освободили. Это в лагере, в бараке каждую ночь умирали, а вчера нас освободили, мы живые. Я прислушивалась, не возвращаются ли они. Ждала — сейчас они войдут и скажут, что это неправда, Рохце показалось. Это был обморок. Но когда

они вернулись, я по их лицам поняла: нет, не обморок… Все долго молчали. Наконец Мэра заговорила: — Где и как мы ее будем хоронить? Хоронить? Я даже забыла это слово. Тех, кого уводили из гетто, расстреливали прямо на краю ямы, и они падали туда. А в лагере заталкивали в газовую камеру, и потом, уже задохнувшихся, перетаскивали к печам крематория. Умерших в бараке утром выносили и складывали у стены. Похоронная команда их закидывала в свою высокую зеленую телегу и увозила. Тоже в крематорий. А Соню похоронят… Гита предложила пойти в соседний дом, там ведь тоже наши, и попросить, чтобы помогли. Но Мэра махнула рукой — у них не больше сил, чем у нас. Надо найти вчерашних солдат. Все ушли искать солдат, и я опять осталась одна. В этой чужой комнате, на чужой кровати. А наверху лежала мертвая Соня. До войны она была воспитательницей в детском садике. И в лагере очень тосковала по "своим детям". Вспоминала их — кто хорошо рисовал, кто первым запоминал стишок, кто любил сказки сочинять. Над нею даже подтрунивали: "Тебя послушать — все дети вундеркинды". И она серьезно отвечала, что да, вундеркинды, способности есть у каждого ребенка, надо только уметь их увидеть, помочь раскрыть… И вот она умерла. И не будет, как мечтала, после войны разыскивать своих воспитанников. Они уже, конечно, выросли, пойдут в школу. Но ничего. В садик приведут других малышей. Не может же быть, что всех убили… Приведут… Но их воспитательницей будет не Соня. И своих детей у нее тоже не будет. А она о них так мечтала! Ей было двадцать лет… Вскоре Мэра с Рохцей пришли с двумя солдатами. Не вчерашними, другими. Один, здороваясь, козырнул. Обещал, что они ее похоронят на местном кладбище, но отдельно от немцев, рядом с их младшим лейтенантом и старшиной, которые вчера подорвались на мине. Спросил, что со мной и обещал непременно доложить обо мне военврачу. Я испугалась, стала уверять, что не надо врача, но он, наверно, не расслышал: Мэра уже потащила обоих на чердак. Я попросила Таню подняться туда, объяснить им, что врач мне не нужен, что я не очень слабая, во двор в уборную хожу сама, без их помощи. Правда, промолчала, что обратно на крыльцо заползаю на четвереньках. Но Таня, наоборот, считала, что врач всем нам нужен. Пусть даст каких-нибудь лекарств от слабости. И от этого чертова поноса. Я понимала, что советского врача мне бояться не надо, а все равно не хотела, чтобы он пришел. Вечером Соню, завернутую в одеяло, унесли…

ДОРОГА ДОМОЙ

К станции мы подъехали когда смеркалось и сразу заторопились к стоявшему там товарному составу. Но все вагоны, от хвостового до первого, у самого паровоза, были наглухо закрыты и даже опечатаны. Нейях, а вслед за ним и мы всей гурьбой пошли искать какого-нибудь начальника. Вокзал был пуст. Даже скамейки стояли сдвинутые в один угол. Нейях шел от двери к двери, дергал за каждую ручку. Наконец одна дверь оказалась незаперта. В небольшой комнатке за столом сидел советский офицер. Наше появление — а мы туда вошли все — его явно удивило. Не дослушав нашей просьбы, он строго заявил, что состав идет с фронта и должен прибыть к месту назначения в целости и сохранности. Наши горячие уверения, что ничего не тронем, не помогли. Он еще строже предупредил, что в случае самовольного вскрытия хотя бы одного вагона нас будут судить по законам военного времени. Правда, глянув на полосатую одежду Нейяха, добавил не так сурово: "Несмотря ни на что". И уже совсем не по-военному объяснил, что составы следуют в Союз только в таком, опечатанном виде, да и редко тут останавливаются. Этот вот ненадолго застрял, но и он скоро получит отправление. Так что, к сожалению, он нам ничем помочь не может. Нейях вдруг повернулся, и опять через пустой вокзал мы куда-то быстро шли за ним. Только на платформе, когда я увидела, как он забирается на буфер, как схватился за лесенку на торце вагона, поднимается по ней, я стала понимать, что он… лезет на крышу вагона! И второй наш мужчина, Арон, тоже. И даже Таня! Она им кричала, чтобы подали ей руку. Женщины бросились к другим вагонам. Тоже начали карабкаться. Я побежала к тому вагону, на который взбиралась Гита. Она самая добрая, поможет. Но буфер был высоко, мне не влезть. Гита тянула меня за руку, кто-то сзади подсаживал, а я никак не могла занести свою неподъемную ногу. Наконец мне ее приподняли. Вторую тоже. И я… на буфере. По лесенке уже вскарабкалась сама. Распласталась на крыше. Было очень страшно: крыша покатая, земля далеко внизу. Гита зовет ползти за нею, в тот конец, чтобы хватило места другим, — сидеть можно будет только друг за другом по самой середине. Я доползла. Теперь она велит еще и развернуться — иначе встречный ветер будет дуть в лицо. Я осторожненько развернулась. Но и сидеть страшно. Руками уперлась в гладкую крышу и старалась не смотреть вниз. А закрыть глаза еще страшнее: могу свалиться. Я уставилась на спину сидящей впереди женщины, и сидела не шевелясь. Вдруг

подо мною что-то дернулось. Качнулось. Я еще крепче уперлась в плоскость крыши. Спина, на которую смотрела, тоже качалась. А вокзал там, справа, стал уплывать назад. Мы едем?! Но ведь… ведь так ехать нельзя! Мы же скатимся! Нас качало, трясло, и было очень холодно — ветер продувал и сквозь пальтишко, и сквозь повязанный сверх него платок. Но мы не скатывались, крепко держались друг за друга. Мы ехали. Вскоре совсем стемнело. Пошел дождь. Болели от напряжения руки. А крыша стала еще и скользкой. Но поезд все равно мчался, раскачивая вагоны и нас, сгорбившихся на крышах. Днем поезд остановился посреди полей. Пожилой усатый машинист шел к нам. Я испугалась: сейчас он нам велит слезть. Ведь офицер говорил о законах военного времени. А мы забрались сюда без разрешения. Но он крикнул совсем нестрого: — Эй, бедолаги, слезайте! Пока семафор закрыт, можете размяться. Я не знала, что такое "бедолаги", но поняла, что он нам разрешает походить по земле. Слезать на онемевших негнущихся ногах было еще труднее. Но я сползла. А женщины уже спешили к видневшемуся невдалеке бурту. Я тоже потащилась. Мужчины притащили от паровоза углей, разожгли костер, мы туда бросили свои брюквины, но спечь их не успели, — теперь второй машинист, молодой, замахал, чтобы мы быстро забирались наверх, а первый уже давал нетерпеливые гудки. Мы кинулись выхватывать из золы еще почти сырые брюквины и полезли наверх. Я еще долго грела о них свои окоченевшие руки. И отщипывала по маленькому кусочку. Мы опять ехали. Теперь не только сидя, но и лежа. То есть три женщины лежали, а по двое с обеих сторон их страховали, чтобы, задремав, не свалились. Но меняться можно было только когда поезд стоял, поэтому одним удавалось лежать всю ночь или почти целый день, а другим — недолго. Мне, к сожалению, дважды не везло. А я так хотела лежать. Тогда не очень сильно болел бок. Правда, дышать все равно было трудно. Как только я пыталась глубже вдохнуть, левый бок протыкала острая боль. И лишь если удавалось днем — ночью мы и во время стоянки не решались спускаться — немного погреться у костра, ненадолго становилось легче. Или когда поезд останавливался на какой-нибудь неразрушенной станции с незнакомым польским названием и можно было постоять в тепле и даже разжиться котелком кипятка — боль тоже отпускала. Но потом, на крыше, на ветру, она опять возвращалась. И я уговаривала себя, что надо потерпеть, — ведь еду домой… *За позднейшими и более "громкими" отъездами из страны, так называемыми второй и третьей волнами эмиграции, остались в тени послевоенные репатриации, в частности, польского и польскоязычного населения из Вильнюса и Вильнюсского*

края. Как известно, эти земли многократно являлись предметом споров между Литвой и Польшей. Не углубляясь в более далекую историю, начну с 1920 года, когда польские войска в очередной раз заняли Вильнюс и прилегающий к нему край. Литва из-за неравенства сил была не в состоянии их вернуть. Однако с захватом не смирилась. На картах по-прежнему значилась ***вся*** *республика, и только пунктирно был указан "временно оккупированный Польшей Вильнюс и Вильнюсский край". Каунас даже по официальному статусу считался* ***временной*** *столицей, а день оккупации Вильнюса — 9 октября — был днем национального траура. Вывешивались перевязанные черной лентой государственные флаги, а траурные собрания завершались непременным пением патриотической песни, которая всему миру объявляла, что "Вильнюс нашим был и нашим будет!" Так обстояли дела почти два десятилетия, до осени 1939-го года, когда после поражения Польши в навязанной ей Гитлером войне, по договору между Советским Союзом и фашистской Германией часть прежде занятых Польшей земель — западная Украина, западная Белоруссия и Вильнюсский край отошли к Союзу, а советское правительство вернуло его Литве. Правда, вслед за этим, уже по договоренности (официально это называлось именно так…) советского и литовского правительств в республике были размещены советские военные базы, а вскоре в ней была установлена, или, как опять-таки официально именовалось, восстановлена провозглашенная еще в 1918-том году, но просуществовавшая немногим более полугода, советская власть. И почти сразу, в том же 1940-м году, Литва стала тринадцатой республикой Советского Союза. Этот небольшой и суховатый экскурс в историю и должен объяснить, почему в довоенном Вильнюсе и его крае большинство населения составляли поляки. Многие бывшие граждане Польши после освобождения от немцев предпочли репатриировать на Родину.* В один из последних дней апреля 1945-го года на станции Торунь случайно оказались друг против друга два железнодорожных состава — один с приоткрытыми теплушками, в которых люди целыми семьями, с вещами ехали из Вильнюса, и другой, где на крышах опечатанных вагонов сидели закоченевшие лагерницы, добиравшиеся, наоборот, в Вильнюс. Когда наш состав, поравнявшись с какой-то водонапорной башней, в очередной раз остановился, машинист помахал нам, что можем слезть и пойти к вокзалу. Я плелась вдоль длинного состава с приоткрытыми теплушками. Почти возле каждой кто-то стоял — где поодиночке, где по несколько человек. И вдруг у одной теплушки я увидела… Знакомая рыжая борода… И тот же тулупчик с круглыми заплатками под каждой

пуговицей. И фуражка… Это же наш дворник! Я так обрадовалась, что даже пошла быстрее. И поздоровалась еще издали: "Dzien dobry, panie Kazimierzu". Он очень удивился. Вместо привычного: "Dobry, dobry", только в недоумении приподнял фуражку. Не узнает? Я повторила, стараясь, чтобы получилось громко, как когда-то: "Dzien dobry, panie Kazimierzu". Но он все равно меня не узнал. Я хотела так же, как раньше, убегая в школу, и к маминому неудовольствию на весь двор крикнуть свое обычное приветствие, но только промямлила, что я из десятой квартиры. Дочь адвоката Рольникаса. Маша. Старый Казимеж перекрестился. И я поняла: он думал, что немцы меня убили. Ведь знал, что нас увели в гетто, а оттуда уводили в Панары и там расстреливали. Я стала поспешно уверять, что я жива. Что в гетто меня не расстреляли. И в лагерную газовую камеру не увели. Я жива, еду домой. На крыше того — и показала какого — вагона. Казимеж посмотрел туда И будто им, вагонным крышам, пробормотал: "Nie ma jego". — Кого нет? — Doma nie ma, zostaly tylko ruiny". И, видно, думая, что я не поняла, повторил. Нашего дома нет. Даже стен не осталось. Сплошные руины. Еще слава Богу, что все жильцы, и они с женой, спаслись. Целую неделю в бомбоубежище, которое во дворе напротив, сидели. Я механически повторяла про себя его слова. Слава Богу, что все жильцы спаслись. Целую неделю в бомбоубежище сидели… И очень медленно стала понимать то, что он сказал раньше — нашего дома *нет*. Нет папиного кабинета. И столовой. *Всей квартиры* нет. А я еду туда, домой… Борода старого Казимежа шевелилась. Он говорил про какие-то вещи. Что вещи, которые "pani adwokatowa" оставила в их подвале, тоже "zginely". А я и забыла, что мама, еще в самые первые дни, когда немцы ходили по еврейским квартирам и все описывали, снесла к дворнику в подвал чемодан с бельем, две подушки и корзину обуви, — чтобы было что выменивать на еду. Пан Казимеж, наверно, о них говорит. Что ни он, ни жена к нашим вещам не притрагивалась. Им, Боже упаси, ничего чужого не надо. Зато " ci litwini", которых вселили в нашу квартиру, всем пользовались. И потом, когда съезжали, много чего вывезли. Он то же самое сказал и " panu adwokatowie". Папе?! Мне казалось, что я крикнула, но сама едва расслышала свой голос. Казимеж кивнул. Да, моему отцу. Приходил "pan adwokat". Еще в военной форме, но демобилизованный. Стоял у развалин как раз напротив того места, где был наш дом. Жена еще издали узнала его, по красивой белой голове узнала. Старый дворник еще говорил. Что не только нашего дома нет. На всей этой стороне улицы ни одного не осталось, сплошные руины. Хорошо хоть вторая сторона уцелела, они там в бомбоубежище сидели. Я слушала,

что он говорит. И…. не понимала, как это — папа в военной форме. Но мы же этого хотели! Мама нас постоянно обнадеживала, что папе, наверно, удалось выбраться из города, и он пошел добровольцем в Красную Армию. Что он на фронте. И я старалась в это верить. Не только сама верить, но и Раечку с Рувиком убеждала, что папа вернется вместе с Красной Армией, освободит нас… Правда, потом, в лагере, когда на ту, мужскую сторону пригоняли новый транспорт и кто-нибудь начинал уверять, что это, наверно, военнопленные, я со страхом всматривалась, нет ли среди них папы. И очень боялась увидеть его там… Значит, он действительно был на фронте. И его не убили. Он приходил к нашему дому. Стоял напротив того места, где был наш дом. *Был*… — А вы? — наконец спросила я, — где вы потом жили? Пан Казимеж стал рассказывать, что, оставшись без жилья, они с женой поселились в бывшей мясной лавке Ольховичей, что на углу. Туда жена и привела " pana adwokata". Целый вечер он у них просидел. Вдруг Казимеж назвал себя старым дурнем: забыл сказать, что моя старшая сестра, Мира, тоже жива. "Pan adwokat" говорил, что ксендз и другие добрые люди прятали ее. Мира тоже жива! А мама? — А моя мама жива? Казимеж опустил голову… Повторил, что папа просидел у них долго. Что расспрашивал о нас. А что они с женой могли ему рассказать? Только то, что сами видели: как эти бандиты "всех ваших" — и из девятой квартиры, и из четвертой — выгнали во двор, и повели в гетто… О том, что потом оттуда людей по ночам гнали в Понары и там расстреливали, не сказали… Больше спросить я ничего не успела, — вдруг раздался паровозный гудок. Машинист звал нас. Я выпалила: "До свидания, спасибо!" — и заспешила обратно. Машинист уже давал три прерывистых гудка — предупреждал, что сейчас поедем. — А вы? Вы куда едете? — задыхаясь спросила я. Но он только сказал, что к своим. Казимеж шел рядом. Объяснял, что мой отец просил, если кто-нибудь из нас придет, сказать, что у него теперь комната на Виленской улице, в доме не то сорок, не то сорок два. Только он, Казимеж, мне советует не идти сразу к нему. Пусть его сперва кто-нибудь подготовит. Ведь он не знает, что я жива. А человек не молодой, на фронте, наверно, и сердце подорвал. Я слушала, кивала. Но очень боялась, что уедут без меня. Все уже там, наверху. Машут мне, торопят. Наконец я, совсем задыхаясь, добежала. Казимеж подсадил меня на буфер, девушки ухватили за руки, и я кое-как взобралась. Вагон сразу дернулся, качнулся, и мы поехали. Старый Казимеж остался внизу. Махал фуражкой. Перекрестил. Я ему помахала. Но только один раз, — держать руку поднятой не было сил… И рассказать женщинам, что у меня опять есть папа,

что Мира жива, тоже не было сил. Да и оборачиваться нельзя. Опять дул ветер, стегал дождь, и так же больно было вдыхать, но уже не надо было уговаривать себя потерпеть, — я же еду к папе! И к Мире. Может, мама с детьми тоже вернутся. По лицу текли слезы — от ветра, от радости, от сожаления, что Казимеж не рассказал больше о папе. Однажды наш состав остановился, не доехав до какого-то большого города. Машинист не только помахал, что можем слезть размяться, но и прокричал, что они дальше не поедут. И действительно, паровоз почти сразу отделился, будто обезглавил всю эту длинную череду опечатанных вагонов, и налегке покатил вперед. А они, еще совсем недавно стучавшие колесами, лязгавшие буферами и покачивавшие крышами остались, без него обреченные на томительную и, может быть, долгую неподвижность. Еще приближаясь к вокзалу, мы прочли название города. БЕЛОСТОК. Нейях с Ароном пошли узнавать, когда сможем ехать дальше. Теперь до Вильнюса уже совсем недалеко. Вернулись они почти сразу с неожиданной вестью, что для тех, кто возвращается из немецких лагерей, в городе, недалеко отсюда есть специальный дом, где кормят и дают ночлег. Словом, там можно немного прийти в себя. Так что они пойдут туда. По крайней мере переночуют в тепле, поедят, а завтра видно будет. Мы пошли с ними. Дом, который нам показали две встреченные женщины, был обыкновенный, жилой. Дверь в квартиру на втором этаже оказалась приоткрытой. Мы вошли. Сразу за передней в комнате стояли… Там стояли нары! Такие же, как в лагере. Тоже трехъярусные, и всего с одним проходом. Но застеленные. На них лежали теплые ватные одеяла и подушки в наволочках. А из-под простыней виднелись толстые матрацы. На некоторых нарах спали. И остальные места, похоже, заняты: постель помята, лежит какой-нибудь сверток. Но Мэра с Таней разглядели в другом конце два свободных места. Позвали и меня, — под ними есть еще одно. Гита тоже нашла рядом незанятое место. Остальные, и Рохця с ними, пошли в квартиру напротив, — оттуда крикнули, что там половина нар свободна. Я хотела сразу лечь, но соседка посоветовала сперва спуститься вниз, в кухню. Хотя раздача обеда кончилась, меня все же покормили. Если бы эта же соседка не разбудила меня — уже можно было идти на ужин — я бы его проспала. Весь следующий день я тоже спала. Только теперь уже сама сквозь сон чувствовала запах еды и просыпалась. Но, съев свою порцию и вымыв, как полагалось, мисочку с чашкой, снова возвращалась на нары, укутывалась в одеяло, и оттого, что тепло, мягко и не качает, опять засыпала. А поздно вечером, почти ночью, я проснулась от какого-то громкого разговора на верхних

нарах как раз надо мной. Там явно препирались. Я не сразу поняла, о чем они спорят. Оказывается — почему поляки уезжают из Вильнюса. Мэра говорит — из-за того, что буханка хлеба на базаре стоит четыреста рублей, а жалованье — семьсот. Но Гита ей возражает — если по карточкам дают восемьсот граммов в день, можно на базаре и не докупать. — По карточкам его тоже дают не бесплатно, — не уступает Мэра. И Таня ее поддерживает. — Ничего вы не понимаете, — вступил незнакомый злой голос. — Они бегут потому, что хотят жить в Польше. — Правильно. — Это опять Таня. — Они хотят жить в Польше, а Вильно теперь будет литовским городом. — Ну и что? — Гита и ей перечит. — Без немцев можно в любом городе жить. — Это ты можешь. — Мэра, кажется, на стороне той, сердитой. — А поляки не хотят жить под литовцами, они желают быть сами себе хозяевами. — Дайте слово сказать! — прерывает ее сердитая. — Они бегут потому, что не хотят жить не только под литовцами, но, главное, под советами. А в Польше советов, может, не будет. Я удивилась — зачем бежать от советов? Ведь Красная армия нас освободила. Хорошо, что Таня ей это сказала. — Если бы не они… — добавляет Гита. Но сердитая не дает договорить. — Кто спорит, что они нас спасли? И, между прочим, самих поляков тоже спасли. Но вчера я разговаривала с одним серьезным человеком, и он мне объяснил: люди боятся, чтобы советы опять не начали ссылать в Сибирь. И правильно боятся. Где это видано, чтобы человека только за то, что у него был дом или какой-нибудь магазинчик, а у деревенских — свой клочок земли, всей семьей отправляли к белым медведям? — Советы национализируют у богачей дома и магазины потому, что хотят, чтобы не было слишком богатых и очень бедных, — пытается объяснить Гита. — Но в Сибирь-то зачем отправлять? — не унимается сердитая. — И ведь не одних, как они говорят, буржуев и кулаков. Сколько прихватили далеко не богатых! У нас в соседней квартире жила семья… … И дядя Берель не был богатым, а его с тетей и детьми тоже вывезли. Как раз накануне войны… Война началась в воскресенье, а в пятницу поздно вечером позвонил какой-то мужчина. Сказал, что он из Вилейки*(*Польское название пригорода Вильнюса — Новой Вильни), и когда проходил мимо стоящего на станции товарняка, из оконца одного вагона сквозь решетку выбросили записку с этим номером телефона и просьбой позвонить и передать, что брата с семьей вывозят, что он просит привезти какой-нибудь еды и термос с питьем для детей, свой разбился. Всю ночь мама пекла булочки, сушила сухари, жарила котлеты. Рано утром все это уложила в большую корзину, еще наставила туда баночек с

вареньем, медом, лимоном в сахаре, мне дала маленькую корзиночку с термосом чая и бутылкой молока, и мы поехали в Вилейку. Но никаких эшелонов не было. По обеим сторонам станции до самого горизонта блестели на солнце голые рельсы. А звонивший мужчина говорил, что там стоят шесть эшелонов. И что записку выбросили из крайнего, левого, недалеко от пакгауза. Мама побрела вдоль этого, крайнего пути. Я тащилась сзади, осторожно переступая через шпалы, чтобы не расплескать молоко. Прошли мимо пакгауза. И вдруг мама остановилась. Я тоже увидела… У самой обочины, в траве лежал термос, только уродливо сплющенный. Все равно я его узнала. Папа когда-то привез из Каунаса два одинаковых, темно-серых с белыми прожилками, один для нас, другой — для них. Это их термос… Значит, вагон, в котором их везли, стоял здесь. И на этом месте они ждали, что мы им привезем какой-нибудь еды. Прислушивались, не идем ли. Наверно, время от времени звали — чтобы мы услышали их голоса. А мы не шли. Всю ночь не шли… Но ведь когда тот человек звонил, уже был вечер. И мама еще должна была столько всего спечь, насушить, приготовить. Да и в темноте мы бы их вряд ли нашли. А может, нашли бы? Если они звали… Мама смотрела на этот искореженный термос в траве. Шевелила губами. Я расслышала, что она шепчет: "За что? Господи, за что?" Когда мы вернулись домой, папа уже откуда-то знал, что стоявшие в Новой-Вильне эшелоны отправили на рассвете. Но мама, выгружая из корзины эти ставшие ненужными сухари, булочки, котлеты, все равно ему рассказывала, как мы ехали. И что брели вдоль путей, и что видели в траве их разбитый термос… Она корила себя, что не поехала сразу, ночью. Меньше бы повезла, зато, может, еще застала бы их. Папа молчал. И только когда мама расплакалась — "как дети выдержат такой долгий путь без еды и питья?" — он неожиданно сказал: — Мы еще будем им завидовать. Завидовать?! Тогда я этого не поняла. Но потом, в гетто, часто вспоминала. Вместе с мамой вспоминали. И очень надеялись, что, может, хоть они останутся живы, — ведь в Сибири нет Гитлера. А в лагере я о них забыла. Совсем забыла. И только теперь… Пока я вспоминала, наверно, что-то пропустила. А эта сердитая женщина, кажется, говорит о нас. — …Нельзя возвращаться. Где гарантия, что через несколько лет опять не появится какой-нибудь Гитлер? Или даже без него не начнется то же самое? Вы уже забыли, что во время акций немцы только командовали, а расстреливали литовцы. Я хотела сказать, что не забыла. Но ведь не все расстреливали. Учитель Йонайтис, наоборот, нам помогал. Приносил к воротам гетто хлеб, хотя за это его самого могли расстрелять. Но она бы не расслышала, —

уже почти кричала: — Надо быть настоящими сумасшедшими, чтобы снова лезть в петлю. Нет, ехать надо только в Палестину! *(*Палестина тогда была под протекторатом Англии, и некоторые молодые евреи стремились туда обживать эти земли и создать на них самостоятельное еврейское государство, которое и было образовано в 1948-ом году). — А по-моему… — Гитин голос после ее крика кажется совсем тихим, — человек должен жить там, где родился, и где могилы его родных. А мои все лежат в Понарах… Да и в Палестине нас никто не ждет. — Еще как ждут! Между прочим, на прошлой неделе приезжал специальный посланец за такими, как мы. И увез сорок человек. Как? Говорил, что через Румынию. Италию, а оттуда на корабле в Хайфу. Они уже, наверно, на месте. Я не поехала с ними только потому, что ожидаю сестру. Может, она тоже осталась жива. Ее из лагеря увезли рыть окопы. Значит, она не знает, что оттуда они возвращались с обмороженными ногами, а перед отправкой в газовую камеру их еще "купали" — загоняли в так называемую умывальню, где из трубок под потолком хлестала ледяная вода. Наверно, не знает. И не надо, чтобы знала… Тем более, что сама говорит — больше ждать не будет. — …если она жива, догадается, где меня искать. Мы еще до войны хотели поехать в Палестину. Так что теперь, как только этот "перевозчик" вернется, я первой запишусь. И вам советую. Надо торопиться, пока еще не закончилась война, и англичане тоже против Гитлера, может, легче будет проскочить мимо их охраны. В памяти снова стало всплывать что-то давнее. Обрывки родительских разговоров… Англичане не хотят, чтобы в Палестине было создано самостоятельное еврейское государство… Даже потопили корабль с ехавшими туда людьми. Но молодежь все равно едет… Вспомнила и синюю, разрисованную пальмами копилку над дедушкиной кроватью. Он ее называл "коробочкой Керен-Каемет"*и в каждый наш день рождения опускал туда столько центов, сколько имениннику исполнилось лет…(*"Керен-Каемет" — Еврейский национальный фонд. Его копилки были во многих еврейских домах. В них таким образом, "всем миром", собирали деньги для выкупа у англичан палестинских земель.) Наверху стало тихо. Вскоре послышался Мэрин храп. А я больше спать не могла. В голове вертелся, повторялся их разговор. Почему никто не возразил, не сказал, что нового Гитлера не будет? И что вообще больше ничего *такого* не будет! Гита сказала только, что каждый человек должен жить там, где он родился и где могилы его родных. А Мэра молчала. Даже когда та, сердитая говорила, что нам нельзя вернуться, молчала. Пусть они делают, что хотят. Я поеду к папе. И Мира в Вильнюсе. Может, мама с детьми тоже

вернутся.

ОСТАНОВКА НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Кто-то снаружи отодвинул дверь, и нестрогий мужской голос велел всем покинуть теплушку. Уже Вильнюс?! — Какой тебе Вильнюс? — опять заворчала моя сердитая попутчица. — Еще только Гродно. Говорили мне, старой дуре, что в Гродно высаживают. Спрыгнуть помог стоявший у вагона солдат. Оказывается, их тут трое. Я спросила, не знают ли они, когда можно будет уехать в Вильнюс, но они не ответили. Молча показали, чтобы я встала в строй. Из передних теплушек тоже все высаживаются, и тоже становятся по пять в ряд. Но Гиты с Таней почему-то не видно. Колонна двинулась, и больше оглядываться я не могла. Они, наверно, там, сзади. Вдруг моя вагонная попутчица вздохнула: — Господи, свои-то куда ведут? Только теперь я сообразила, что нас уводят от станции. Это ничего. Наверно, там негде ждать, и нас ведут в такой же дом, как в Белостоке. Шли мы недолго. Колонна остановилась перед какими-то воротами. Солдат их открыл, и впустил нас в большой, огороженный кирпичной стеной, двор. Слева — длинный, похожий на казарму, дом, а справа под навесом — сдвинутые вместе столы, и за каждым — по два солдата. Первой пятерке нашей колонны велели подойти к этим столам и предъявить для проверки свои вещи. Для проверки?! А мои записи… Их же сразу увидят, они в этом холщовом портфельчике, а в нем ничего, кроме них и полотенца с рубашкой нет. Надо было еще в Белостоке их подвязать под платье, как раньше, когда мы ехали на крыше. Теперь уже не спрятать. Может, как-нибудь передать Тане с Гитой? Я стала оглядываться, но их не было видно. Конец очереди там, за домом. Какой-то мужчина сказал, что ничего не отбирают, только смотрят. И верно, те, кого уже проверили, уходят из под навеса со всем своим скарбом. И на столах ничего не остается. Потому что проверяют свои! Они моих листочков не отберут, — я объясню, что там. Объяснять не пришлось, — солдаты в мой портфельчик даже не заглянули. Старший махнул рукой, чтобы я проходила, а младший велел подняться наверх, занять свободное место, и ждать вызова на регистрацию. Я спросила, можно ли остаться, и в сторонке подождать своих подруг. Солдат кивнул — можно. Ряд за рядом люди подходили к столам, открывали свои самодельные фанерные чемоданчики, развязывали узлы, что-то отвечали солдатам. Снова закрывали и завязывали. Проходили мимо меня в открытую дверь, поднимались по лестнице. А под навесом уже предъявляли для осмотра свои пожитки следующие. Наконец к столам стали

приближаться последние. Но Гиты с Таней не было. Где же они? Двор опустел. И солдаты, которые проверяли, ушли. А я все еще стояла в недоумении, куда делись мои подруги. Ведь ночью, в Белостоке, убежали вперед и должны были забраться в какую-нибудь теплушку раньше меня. Остаться в ней не могли, — еще когда строились, солдаты каждую проверяли. Почему же их нет? Больше ждать не имело смысла, и я тоже поплелась наверх. В огромной, наверно, во всю длину здания, комнате на полу лежали сенники. Четыре ряда сенников. Но все заняты. Тут людей было намного больше, чем вчера на вокзале. Видно, ждут поезда и приехавшие раньше. — У нас не приткнешься, — бросила проходившая мимо девушка. — Поднимись на третий этаж, может, там свободней. Я послушалась. Здесь то же самое. Но все же я разглядела, что там, в конце, возле трех сдвинутых вместе сенников один свободен. Я пробралась туда, и сразу села, — от ходьбы и долгого стояния очень болели ноги. На краю этого утроенного ложа женщина штопала детский чулочек, а мальчик, поджав под себя босую ножку, повторял за отцом: "Сижу за решеткой… в темнице сырой… вскормленный в неволе… орел молодой". Почему-то я уставилась на руки женщины. Смотрела, как иголка снует по натянутым над дырой нитками. Одну подхватит, под другую скользнет. Подхватит, скользнет. Когда нитка кончилась, женщина выдернула из подола своего платья другую, вдела ее в ушко иголки, и продолжала штопать. Я смотрела, а в ушах стояли слова солдата, что надо ждать вызова на регистрацию. Наконец решилась ее спросить, почему здесь регистрируют. Вместо нее сердито ответил муж: — Чтобы вызвать на допрос. — Какой… допрос?! — Обыкновенный. Женщина поспешила меня успокоить. Это только так называется — допрос. А ничего страшного нет. Сперва офицер спросит, где я жила до войны, кем работала. Потом — что делала при немцах. В Германию добровольно поехала, поверив их обещаниям, что буду хорошо и сытно жить, или силой вывезли? И не надо гневаться, что офицер этот строгий, в НКВД все строгие. — НКВД?! — А как же без строгости дознаются, не в прислужниках ли у немцев человек был. Ее муж опять буркнул, что прислужники сами не станут возвращаться, — знают, гады, чего натворили… И снова велел мальчику повторять стихотворение. Мать недовольна: зачем на ребенка тоску наводить? Не темница тут. И кормят. А что проверяют… Так это, чтобы вместе с честными людьми не пробрался какой-нибудь вредитель или шпион. Плохо только, что ответа надо долго ждать. Какого ответа? Она так же спокойно объяснила, что офицер, который расспрашивает, все, что я ему расскажу, запишет и отправит туда, откуда меня вывезли. Если

тамошнее начальство пришлет подтверждение, что все так было, то и отпустят. Я спросила, сколько надо ждать. Она пожала плечами. — Мы тут уже четвертую неделю. У других шестая пошла. Шестая?! Она стала утешать, что меня, может, столько держать не будут. Ведь, поди, еще малолеткой немцы вывезли. Да и по виду не скажешь, что добровольно поехала, и досыта там у них ела. Так что, может, и проверять не станут.

Я ВЕРНУЛАСЬ…

Ночью поезд остановился. Кто-то отодвинул дверь теплушки. Я не сразу поняла, что уже Вильнюс, — вместо знакомого вокзала в темноте чернела громада развалин. И когда спрыгнула на землю, ничего не узнала — рядом с этими развалинами стоял обыкновенный барак, а по обеим сторонам прежней привокзальной улицы лежали горбатые чудища руин. Какой-то военный велел всем пройти в помещение временного вокзала, как он назвал этот барак: выход в город до шести утра запрещен, — комендантский час. В бараке тускло горела лампочка. Пахло свежеструганными досками. В углу кто-то спал. Мои попутчики тоже стали устраиваться на полу подремать. Я последовала их примеру, — подложила под голову свой холщовый портфельчик и легла. Спать не хотелось. Папа уже совсем-совсем близко. Наверно, спит. И не знает, что я здесь. Мира тоже не знает. Скоро, утром, я их увижу. Больше не буду одна. Только бы он ни о чем не расспрашивал. Если расскажу, ему будет больно. Хотя про гетто Мира ему, наверно, уже рассказала. Но больше она ничего не знает. Ей же удалось выбраться из гетто до его ликвидации, и она не знает, что в последнюю ночь, когда нас согнали в тот большой овраг на Субачаус, и мы там всю ночь просидели под дождем, я держала Рувика на коленях, и он во сне вздрагивал, — оцепившие овраг охранники то и дело пускали ракеты. А Раечка спрашивала маму: "Когда расстреливают — больно?" И про Штрасденгоф я папе не стану рассказывать. Ему будет страшно, что я там таскала и дробила камни, что покатившаяся под откос вагонетка с булыжниками чуть не раздавила меня. А когда за побег нескольких девушек брали на расстрел каждую третью, и эсэсовский офицер уже приближался, мне показалось, что я девятая… шестая… Но была пятой. Взяли стоявшую рядом Машу Механик. О Штуттгофе тем более не буду рассказывать. Не надо папе все зто знать. Нет, ни папе, ни Мире я ничего не расскажу. И маме, если вернется, не расскажу.

Наконец за окнами барака стало совсем светло, и нас выпустили. Теперь развалины по обеим сторонам улицы уже не казались, как ночью, горбатыми чудищами. Теперь это были груды каменных глыб, битого кирпича, железных прутьев. Впереди, на улице Шопена, дома уцелели. Неподалеку раньше жил учитель Йонайтис. Если бы не он, мы бы в гетто еще больше голодали. Однажды, это было еще до того, как нас заточили в гетто, он от кого-то узнал, что ночью будет облава на евреев. Пришел предупредить и остался ночевать. Когда солдаты

забарабанили в дверь, он, впустив их только в переднюю, спокойным голосом заявил, что никаких евреев тут нет, их давно увели. Теперь здесь живет он. А мы сидели притаившись всего через две стены отсюда, в родительской спальне. И было очень страшно, что они могут ему не поверить, и захотят посмотреть сами… Потом, в гетто, он уже, конечно, не мог нас защитить. Но помогал едой. Время от времени подходил к воротам и, всякий раз рискуя жизнью, умудрялся нам передать то буханку хлеба, то еще что-нибудь. Мы этому хлебу, конечно, радовались, но очень боялись за него. Мама его однажды даже попросила больше не приходить. И еще попросила, чтобы он из всех папиных книг, которые мы еще до гетто отнесли к нему, вырезал штампик, который стоял в правом углу первой страницы: Д-р юр. Г.Рольникас. Теперь Йонайтис мог бы подготовить папу к тому, что я приехала. Ведь старый Казимеж говорил, что его надо подготовить. Но я не знаю, где наш учитель теперь живет. Еще в первую зиму он вместе с хлебом передал письмецо, что переехал на другую квартиру, но адреса там, кажется, не было… На этой, Садовой, тоже почти все дома целы. Только немного постарели. Но я их узнаю. И балконы, и подворотни… Я в Вильнюсе. Немцев здесь больше нет. Не надо бояться, что меня узнают, заберут. Я снова могу ходить по тротуару и без желтых звезд. Свернув на Руднинку, еще издали увидела, что поперечного забора, за которым начиналось гетто, нет. Нет и всей левой стороны улицы, вместо нее — одни развалины. Я дошла до ворот. То есть до того места, где тогда были ворота. Их открывали только чтобы выпускать нас колоннами на работу, а вечером впускать обратно… Теперь я шагнула сквозь пустоту и оказалась в гетто. Справа те же дома. И камни мостовой — те же. А развалины слева кажутся упавшими друг на друга надгробиями. Мы жили в этом, первом от ворот доме. Я вошла во двор. Он остался таким же. Из этого крана на углу мы брали воду. А по той, наружной, лестнице поднимались в свой угол. Мама наше жилье так и называла — углом. Мы на самом деле занимали только угол, — в комнате жили еще четыре семьи. И в соседней, маленькой — три. А одна семья жила на кухне. Теперь в этой квартире просто живут другие люди. И, может быть, даже не знают, что тут было… Я снова вышла на улицу. Брела мимо знакомых домов, подворотен, окон. Только теперь на них белеют занавесочки, на подоконниках стоят цветы. А двор "Юденрата" вовсе не такой большой, каким казался тогда. Лестница, где в ту страшную ночь шла регистрация желтых "шайнов"*, и люди в страхе и панике боролись за жизнь, оказывается, обыкновенная лестница…(*"Шайнами" называли удостоверения, которые временно защищали их обладателей —

пока нужных рабочих — от угона на расстрел. Желтые (так названные по цвету бумаги, на которой они были напечатаны) "шайны" выдали только одной трети работающих, самым необходимым ремесленникам.) Я поднялась по ней, теперь пустой. Снова спустилась. Вошла во второй двор. С этого крыльца нам в рупор объявили, что евреи Вильнюсского гетто, помещенные сюда два года назад, эвакуируются в рабочие лагеря. Но что на их языке называлось эвакуацией в другой лагерь, мы уже знали… Я стояла здесь, у этой стены. И отсюда побежала сказать маме, что к одиннадцати часам надо собираться на улице Руднинку. Теперь я тоже поплелась туда. То есть только пересекла улицу. Вместо проходного двора, за которым был дом, куда нас переселили в последние месяцы существования гетто, и где мы ютились в узкой каморке, тоже руины. Я села на какой-то обломок стены. Сидела долго. Не решалась встать. Там, за углом Немецкая улица, дом, в котором мы жили до войны. Старый дворник Казимеж сказал, что его нет. Но я же приехала домой! Все-таки поднялась. Вышла на Немецкую, и… быстро закрыла глаза — чтобы *это* не вытеснило из памяти прежний вид улицы, нашего дома. Вытеснило… Я открыла глаза. Вдоль всей улицы руины. Даже тротуар завален. А папа теперь живет на Виленской. Казимеж сказал, что в доме не то сорок, не то сорок два. Пошла на Виленскую… Синий квадратик с номером сорок увидела еще издали. А следующего дома нет. Значит, здесь… Двор большой. Дворник его подметает. Я поздоровалась и спросила, в какой квартире живет адвокат Рольникас. Дворник покосился на меня, и нехотя ответил, что не знает, адвокат ли этот пан или нет, но живет такой человек вон там — и показал на крыльцо и окно первого этажа. Тут всего одна квартира. В двери над ручкой зияет круглое отверстие, видно, от французского замка. Я приникла к нему, но увидела только полутемную переднюю, две закрытые двери справа и одну открытую напротив них. Вдруг вторая открылась, и из нее вышла незнакомая женщина. С чайником. Вошла в открытую. Там, наверно, кухня. Я подождала, пока она снова появится, и тихонько постучала. Еще раз, чуть громче. Она услышала. Приоткрыла дверь, но я не успела ничего сказать — женщина бросила: "Подождите!" и скрылась на кухне. Вернулась с ломтем хлеба. Я торопливо — чтобы она снова не закрыла дверь — прошептала, что я к адвокату Рольникасу. Дворник сказал, что он живет здесь, на первом этаже. Я его дочь. Она почему-то удивилась, а я все так же шепотом принялась объяснять, что была в лагере, теперь вернулась, но он не знает, что я жива, и его надо подготовить. Женщина смутилась, что приняла меня за нищенку, быстро подсунула хлеб под какой-то платок на тумбочке.

Пригласила войти. Сказала, что товарищ Рольникас и его дочь Мира живут здесь — и показала на закрытую комнату — но их нет дома. Рольникас ночует у знакомых, а Мира в командировке, в Каунасе. Кажется, сегодня должна вернуться. Стало жалко папу. Значит, ему так плохо одному, что, когда Миры нет, он уходит ночевать к знакомым. Вдруг эта женщина спохватилась, что стоим в передней и позвала в свою комнату. Пододвинула кресло — оно удобнее стула. Сама села на диван напротив. — Значит, вы и есть Маша… Отец вас часто вспоминал. Она зачем-то объяснила, что эту квартиру — по одной комнате — ее муж и товарищ Рольникас получили от работы. Они работают вместе, в Совете Народных Комиссаров. Только в разных отделах — Рольникас в юридическом, а ее муж — в другом. Он еще не вернулся с ночного дежурства. Её зовут Рута. Я спросила, когда папа придет. Этого она не знала. Но сказала, что, если я без пятнадцати девять подойду туда, к работе, то встречу его. Хотя могу и раньше встретить, возле столовой "Букет". Мире заниматься хозяйством некогда, — она учится в университете и работает, так что отец питается там. Это недалеко отсюда, тоже на улице Гедиминаса. Но идти туда рано, еще нет и половины восьмого. Если хочу, могу посидеть здесь. Мне было неловко ее стеснять, и я ушла. Свернула на улицу Гедиминаса и побрела по ней. Прошла мимо дома, где, как объяснила Рута, этот самый "Букет". Прошла и мимо Совета Народных Комиссаров. Прочла обе вывески — на литовском и русском. Но дверь была еще заперта. Дошла до конца улицы и остановилась: на миг почудилось, что я — в прежнем Вильнюсе. Тот же Кафедральный собор, тот же замок на горе Гедиминаса, те же три больших белых креста на верхушке соседней горы. Этот уголок Вильнюса тот же. Но я теперь другая… Повернула назад. Опять прочла обе вывески. Папа каждое утро входит в эту дверь. А в тот дом на углу, где "Букет", он заходит завтракать и обедать. И вдруг… Нет, не показалось! Там, впереди, папина белая голова! Я заспешила навстречу. Он уже близко. Это папа! Но он смотрит куда-то мимо меня. Я не выдержала, закричала: "Папа!" Пошла еще быстрее. "Папа!" Наконец увидел, узнал… Я обхватила его. А он гладил мою голову, и, кажется, самого себя убеждал: "Не убили… Не убили…" Я очень боялась, что сейчас он спросит про маму, про детей. И торопливо забормотала, что в лагере была одна: с мамой, Раечкой и Рувиком нас разлучили. Я не знаю, что с ними. Папа крепче прижал к себе мою голову. Потом взял за руку. Повел. Как когда-то, маленькую. Рука та же, папина. И голос тот же. Он говорит, что там (наверно, у тех знакомых, у которых он ночует) не было воды, он пришел домой помыться, и Рута ему сказала, что я

приходила. Спросил, когда я вернулась. Я сказала, что освободили нас уже два месяца тому назад, но почти сразу объявили карантин, потом мы долго ехали на крыше вагона, потом я была в фильтрационном пункте НКВД. Папа вздохнул. Почему-то заговорил о том, втором утре войны, когда он понял, что город займут немцы и надо как можно скорее уезжать, и пошел на вокзал за билетами. Я это тоже помнила. Мы тогда как раз вышли из бомбоубежища. Он ушел за билетами, а мама стала быстро собирать каждому по свертку с бельем и обувью. И все. Что с папой было потом — я не знала. Оказывается, на вокзале была страшная паника. Люди стучали в закрытые кассы, требовали поезда. Железнодорожники до хрипоты кричали, что поездов не будет. Папа ушел, пытался найти машину, но мимо мчались, не останавливаясь, только военные. Он пошел домой предупредить нас, что все-таки надеется найти машину, но дома нас не было. Дворник сказал, что мы ушли к нему, на вокзал. Он вернулся туда. Нас и там не было. И он решил, что мы, очевидно, двинулись, как и многие, пешком. Наконец он упросил проезжавших на грузовике солдат взять его на свой, и так уже переполненный, грузовик, чтобы нас догнать. Но и среди бредущих по обеим сторонам дороги людей нас не было… Я молчала. Было так хорошо слушать, как он говорит. Рассказывает, что потом, уже в Белоруссии, отдал какому-то крестьянину с лошадью все свои деньги, чтобы тот поехал за нами. Передал маме записку, что будет нас ждать в Минске. Но в Минске пылали пожары. И там он узнал, что в Вильнюс уже вступили немцы. Я только сказала, что никто за нами не приезжал. И что немецкие танки действительно прогрохотали мимо наших окон уже на рассвете… Я хотела свернуть на Виленскую улицу, где они с Мирой живут, но папа сказал, что нам — прямо, и что это недалеко. Добавил, что Мира приедет вечером. Потом мы шли молча. И неожиданно он заговорил о маме. Что я ведь знаю, как хорошо они с мамой жили. Восемнадцать лет вместе. Наша мама была такой доброй, кроткой. Не зря ее имя Тайба, Тайбеле означает "голубка". Все ее любили за сердечность, душевность, такт. Я еле сдерживала слезы. Мне было жалко маму и его, папу. Он от волнения не знает, о чем говорить. Опять повторил, что они с мамой прожили восемнадцать лет. И что мама была исключительно доброй. Он очень хотел бы, чтобы и Мира, и я походили на нее. Мы поднялись на небольшую горку. Вошли в серый двухэтажный дом. Дверь открыла сутулая старушка. Папа спросил ее, не встала ли уже Кира Александровна. Распахнул дверь в комнату и кому-то сказал: "Маша приехала!" Лежавшая в постели женщина отложила газету и попросила меня подойти.

Поцеловала в лоб и глаза. Сказала, что очень мне рада. А папа открыл буфет — чужой буфет! — и принялся доставать оттуда и ставить на стол тарелочку, чашку с блюдцем. Почему он здесь, в чужом доме, хозяйничает? На постели, рядом с этой женщиной я увидела мужскую ночную рубашку. Но все еще чего-то не понимала. Смотрела на папу. Он ставил на стол сахарницу, блюдечко с печеньем. А я совсем забыла, что оно есть, печенье. На меня папа почему-то не смотрел. Хозяйка его пожурила: — Дружок, ей не печенье нужно, а что-нибудь более существенное. Папа явно смутился. Наверно, оттого, что она при мне его так назвала. Я старалась не смотреть на него. Видела только руки. Они ставят на стол масленку, полбуханки хлеба. Папа сказал, что ему надо на работу и ушел. Я осталась одна с этой чужой женщиной. Теперь уже начала догадываться, что она — вместо мамы… Хотела скорей уйти отсюда, ждать Миру там, во дворе того дома, но хозяйка уже намазывала для меня на хлеб масло и попросила впустившую нас сутулую старушку принести мне чая. Сама всыпала в чашку три ложечки сахара. А я, хоть очень хотела такого сладкого чая и намазанного маслом хлеба, протянуть к ним руку не могла. Хозяйка велела мне есть. Сказала, что ее зовут Кира. Что папа меня очень любит. И что он очень хвалит нашу маму. Она, видно, на самом деле была необыкновенным человеком и прекрасной матерью. Жалко ее. И детей жалко. Отец очень тоскует по ним. Поэтому она хочет, чтобы я знала — Мире она уже говорила, но я тоже должна знать — она отца предупредила: если вернется наша мама с детьми, он снова будет со своей семьей. Я не понимала, как такое возможно — то он с нею, то опять с нами. А она достала из шкафа рубашку, летнее платьице, и велела мне пойти в баню, хорошенько помыться и надеть на себя все чистое. Пальтишко тоже надо будет раздобыть другое. Дают американские вещи. Наконец я ушла оттуда. В бане тянула время. Потом долго сидела на каких-то развалинах. Все равно пришлось томиться в этой чужой квартире. Правда, одной, — хозяйка тоже была на работе, а сутулая старушка возилась на кухне. Вечером пришла Мира. Она только что вернулась из Каунаса, и Рута ей сказала, что я нашлась. Мы дождались папу, но ушли вдвоем. Папа остался… Мне было хорошо идти с нею, как когда-то шли из школы. А дома часто запирались в ванной, сочиняли песенки про бабушку, и распевали их оттуда. Нас тогда очень смешили ее постоянные жалобы на кризис, что даже в базарный день покупателей мало. Мира жаловалась на Киру Александровну: она вскружила папе голову, забирает у нас отца, отдаляет его от нас. Я не хотела так думать. Все равно он наш отец. У нас опять есть отец. Правда, было

больно за маму. Больно, что теперь эта женщина — вместо нее. Но Мире я сказала, что ему, наверно, было трудно одному, и он не надеялся, что мама вернётся. Кира Александровна говорила, что они только позавчера расписались, и если мама вернется… Ночью мы лежали в этой непривычной, совсем непохожей на нашу прежнюю, комнате — со странным полукруглым окном, незнакомой мебелью — и долго не спали. Мира рассказывала, как она осталась жива. Из гетто она попала в Х.К.П.*(*Х.К.П. (Н.К.Р. - Heeresckraftpark) — военный автопарк. В Вильнюсе, кроме гетто, было и несколько небольших — в одно-два здания, но тоже отгороженных высокой каменной стеной — как бы филиалов для работающих на меховой фабрике "Кайлис", и для рабочих, приставленных к ремонту немецких автомашин. Женщины-узницы Х.К.П. работали в оборудованной для них швейной мастерской, где чинили солдатское обмундирование и белье. И "Кайлис" и Х.К.П. считались рабочими лагерями, и оттуда, в отличие от гетто, не уводили на расстрел. К сожалению, лишь до определенного времени. Впоследствии их тоже ликвидировали. Но все же они просуществовали дольше, чем гетто.) …А я тогда думала, что она нашла пристанище у каких-нибудь знакомых. С первых же дней она думала о побеге. Надеялась, что, когда найдет укрытие, может, и нас удастся вытащить из гетто. Дала о себе знать учителю Йонайтису. Спрятать ее у себя он не мог. Но искал сам и ей помогал искать людей, которые могли бы ее спрятать. И Мира решила написать жившей в Каунасе папиной коллеге, давней его и маминой знакомой Кайрене. Письмо, конечно, отправил Йонайтис. А Кайрене — то ли не имела возможности приютить Миру, то ли считала поездку в Каунас слишком опасной для нее, обратилась к нескольким своим вильнюсским друзьям. И через некоторое время — тоже на имя Йонайтиса — прибыло письмо с советом "познакомиться с профессором Яблонскисом". Оказывается, профессор Яблонскис знал о том, что его друг, директор Центрального архива, ксендз Юозас Стакаускас скрывает в помещении архива одиннадцать евреев. Ксендза Стакаускаса Мира назвала святым. Когда он узнал, что людей расстреливают только за национальность, это его потрясло, и он решил хотя бы кого-нибудь не позволить убить. Он готовился к этому очень тщательно. Когда гитлеровцы начали свозить из разных оккупированных городов — особенно Витебска, Смоленска и Минска — награбленные архивные книги, документы и даже гравюры, он попросил немецкий Арбейтсамт направить ему из гетто интеллектуалов, которые могли бы не только разгружать прибывающие вагоны, переносить все это в помещение архива, но и сортировать, регистрировать. Архив

находился в старинном здании бывшего монастыря. Это был настоящий лабиринт из коридоров, переходов и тупиков. Возможно поэтому оккупационные власти потребовали представить им план всего помещения. Составить этот план Стакаускас поручил бригадиру геттовских рабочих. На первом этаже был длинный коридор, вдоль которого тянулись комнатки — в прошлом кельи. Стакаускас предложил бригадиру самый конец коридора и последнюю келью в плане не указывать. Теперь надо было этот неуказанный в плане конец коридора и комнатку отгородить. И Стакаускас посвятил в свое намерение давнего соученика еще по школе и земляка, теперь архивного столяра Жемайтиса. Мира уже много позже узнала, что столяром он оказался поневоле. Что вообще то он был учителем физики и математики, как наш Йонайтис. Но немцы его за какую-то "провинность" посадили "в целях перевоспитания" в рабочий лагерь в самой Литве. И Стакаускасу стоило больших усилий вызволить его оттуда именно как крайне необходимого архиву столяра. Жемайтису он доверился, рассказал, для чего просит его отгородить этот конец коридора. И Жемайтис вечерами, когда все работники архива уходили домой, оставался и сооружал новую стену. Соорудив, заложил ее, притом с обеих сторон и до самого потолка, кипами книг. Только он и Стакаускас знали, в каком месте и какие именно книги надо вынуть, чтобы обнаружить небольшой проем — вход в этот закуток. Но была еще одна проблема. Вход в архив был со двора жилого дома. К тому, что по утрам туда приводят на работу бригаду меченых желтыми звездами евреев, а по вечерам их уводят обратно в гетто, жильцы дома уже привыкли. Но для того, чтобы остаться в укрытии, люди должны были приходить по одному и, конечно, без желтых звезд на одежде. И все равно кто-нибудь из жильцов мог входящего узнать, или, даже не узнав, просто полюбопытствовать, отчего это зашедший в архив человек не выходит обратно? Мира замолчала. Я тихо попросила: — Не спи, пожалуйста. Она не спала. Но заговорила не сразу. К счастью, архив, то есть бывший монастырь, одной стеной граничил с костелом. И Стакаускас под предлогом пожарной безопасности, то есть чтобы в случае пожара был запасной выход для спасения документов, выхлопотал разрешение пробить в этой стене дверь. Пока что эта дверь должна была служить скрытым от посторонних глаз входом в архив из костела. А еще они с Жемайтисом по вечерам пилили и кололи на мелкие чурки дрова, чтобы зимой люди там, в укрытии, не мерзли. И только когда все было готово, Стакаускас рассказал своим подопечным о приготовленном для них тайнике. Мира об этом ничего не знала, — она ведь не работала в архиве.

Да и была уже в Х.К.П. Там она узнала, что произошло с гетто. Она опять умолкла. Плакала. А я не плакала. Я снова была там. Держала на коленях спящего Рувика… Наконец она снова заговорила. Теперь уже никто не сомневался, что их тоже ликвидируют. Надо было успеть выбраться оттуда. Но куда? Еще в самые первые дни их, несколько девушек, повели в Городское самоуправление на послеремонтную уборку. Когда они убирали одну из комнат, ее хозяин, Савицкас, заговорил с ними очень дружелюбно. Даже предложил посидеть, передохнуть. А чтобы их не застали за этой недозволенной передышкой, запер дверь на ключ. Потом это повторялось почти каждый день, когда они убирали другие кабинеты. Иногда он сам оставался с ними. Расспрашивал. Сочувствовал. Ругал Гитлера за его зверства. Как-то в разговоре сказал, где живет. Но они думали, что все это может быть провокацией, и Мира адрес не запомнила. Осталось в памяти только, что его зовут Пранас Савицкас. Однако теперь, когда другого выхода у нее не было, она решила ухватиться хоть за эту соломинку. Рискнула написать Савицкасу. Но из-за того, что не помнила домашнего адреса — на работу. Правда, письмецо было коротенькое, и написано эзоповым языком. Отправил его Йонайтис. И обратный адрес указал свой. Только не знала она, что к тому времени Савицкас за свои слишком вольные и не только им одним, высказывания, сам попал в Правенишкес — лагерь недалеко от Каунаса. Срок содержания в нем был определен "до конца войны". И все же Мирино письмо какими-то невероятными путями до него дошло, а иносказания он понял. Поэтому во время свидания с женой попросил ее помочь, чем сможет. Савицкене просьбу мужа выполнила. Узнав, что укрытие для Миры найдено (профессор Яблонскис договорился со Стакаускасом, что он ее тоже примет, но просил немного подождать, так как подозревал за ним слежку), согласилась временно приютить ее у себя. И вскоре Йонайтис просунул Мире через ограду записку с адресом. Именно от Савицкене он в назначенный день отвел ее на еще один, промежуточный, ночлег, и уже оттуда профессор Яблонскис проводил — с перевязанной, как при зубной боли, щекой, чтобы не бросалась в глаза ее отнюдь не арийская внешность — в архив. Я с облегчением вздохнула, — там уже, наверно, было не так страшно. Нет, было страшно. Конечно, не так, как в гетто и Х.К.П., но все равно страшно. Днем они сидели на своих "диванах" из больших фолиантов и газетных подшивок почти неподвижно. Не решались даже перешептываться, — в это время мог проходить по коридору кто-нибудь из работников архива. Наведывались сюда и представители немецкой власти. Однажды даже приезжал с

инспекционной проверкой какой-то высокий чин из Риги. Он все обошел, педантично осмотрел. Как назло, остановился возле новой, искусственной стены. Поинтересовался, что за нею. Стакаускас спокойно ответил, что там уже костел. В свою тайну, что тут скрываются двенадцать евреев, Стакаускас посвятил еще одного человека. Когда помещение монастыря передали архиву, живших там монашек вывезли. Говорили, что в Алитус. Но двум удалось спрятаться, и они остались. Одной из них и еще нескольким своим сотрудникам Стакаускас не доверял, и старался их поочередно под любыми предлогами отправлять в отпуск, а вторую, Микульску, принял на работу сторожем. Она жила наверху. Ночью, заперев все двери, и убедившись, что кругом тихо, Микульска осторожненько трижды ударяла об пол. Это был знак, что можно подняться. И они поочередно, но только по одному, поднимались. Быстро умывшись и прихватив какой-нибудь еды на день, сразу возвращались обратно, чтобы сюда мог подняться следующий. Я спросила, как добывали еду, у них же не было карточек. Это их тоже очень мучило. Снимали с себя все более или менее пригодное для продажи. Но и закупать что-нибудь в больших количествах было опасно — это могло вызвать подозрение. Стакаускас их успокаивал — выручал знакомый студент, он теперь работает продавцом. Кроме того, приходится с алтаря обращаться к прихожанам за пожертвованиями. Я не утерпела — сказала то, о чем все время думала: ведь очень тяжело сознавать, что люди, чтобы спасти тебя, рискуют собственной жизнью, и ты, пусть не по своей вине, доставляешь им столько хлопот. Мира вздохнула: да, очень было тяжело. Особенно это чувство обострялось, когда возникала — как они это называли — сверхобычная опасность. Однажды Жемайтис вез на саночках мешок свеклы. Решил — если кого-нибудь встретит, скажет, что везет в столовую Дома офицеров, который был недалеко оттуда. По дороге никого не встретил, зато во дворе его сразу обступили любознательные женщины, — для кого это он привез столько свеклы? Пришлось на ходу придумать, что директор получил её по каким-то талонам для своих сотрудников. В другой раз вбежала к Микульской соседка — не пожар ли? Из второго дымохода идет дым! И хоть дым шел оттого, что они в укрытии протапливали свою печку, кипятили на ней воду, а если было из чего, то и варили какую-нибудь похлебку, Жемайтис опять взял "вину" на себя: это он протапливает помещение, чтобы не отсырели сложенные на полках гравюры. Да и варит клей. С тех пор он на самом деле ежедневно варил клей. А сколько страха они натерпелись, узнав, что какая-то соседка увидела в окне первого, то есть нежилого этажа, человека! Дело в том, что оба их

окна тоже были заложены книгами. Оставался только небольшой промежуток между ними и верхней рамой, через который проникал свет. Надо ж было одному из мужчин приблизиться к этому месту! Стакаускасу с Жемайтисом пришлось срочно придумать, как спасти положение. Ксендз вышел во двор, где женщины возились на своих грядках — жильцы дома во дворе вскопали небольшой огород — и заговорил с ними. А Жемайтис в это время забрался в укрытие, открыл форточку и через нее что-то сказал ему. — Это вы, господин? — подбежала та самая женщина, которая видела в окне человека. — Я, кто ж еще? — ответил он. — Приходится и проветривать, и пыль стирать. И только однажды, когда Стакаускас пришел в неурочное время, испуг быстро сменила радость. Оказывается, он поспешил их обрадовать. Белоруссия уже освобождена, и Красная армия движется в сторону Вильнюса. Правда, предупредил, что скоро, наверно, начнутся бои, он не сможет их проведывать, да и им тоже лучше по ночам не покидать укрытие. Они его и не покидали, хотя бомбы и снаряды рвались совсем близко. Из окон вылетели стекла. С костела, почти над ними, снесло колокольню. Рядом горел садик. Но одной летней ночью наступила тишина. А утром пришел Жемайтис с женой. Наконец она узнала тайну постоянной занятости мужа. Пришел и Стакаускас. Впервые увидела своих подопечных при дневном свете Микульска. Наконец они вышли на улицу. Немцев в городе уже не было. Это было 12-го июля прошлого, 1944-го года. А я тогда еще была в Штрасденгофе. Стояла на "аппелях"*(*Так назывались утренние и вечерние построения-проверки.), тащилась на работу, дрожала, когда отбирали больше непригодных для работы. И надежды на освобождение не было… А когда фронт приблизился — по ночам, лежа на нарах, мы слышали, как где-то, к сожалению, еще далеко, бухают взрывы — нас увезли в еще более страшный лагерь. Хорошо, что Мира там не была… И я ее спросила, где они теперь — Стакаускас, Жемайтис, Микульска? Знает ли она, где живет учитель Йонайтис? Стакаускаса, как духовное лицо, от должности директора архива освободили. Теперь он только ксендз. Жемайтис там работает, но, конечно, не столяром, а старшим научным сотрудником. И хочет вернуться к преподаванию. Микульска уехала в Польшу. Йонайтис теперь директор школы, только не нашей, а другой, на Большой улице. И сохранил все папины книги, которые мы тогда, до гетто, отнесли к нему. Даже самые опасные — Еврейские энциклопедии и Историю евреев Греца. А профессор Яблонскис — декан юридического факультета, на котором она учится. Савицкас, к сожалению, в Сибири. В Сибири?! И Мира рассказала, что, может быть, его бы и

не тронули, — ведь при немцах, хоть он и работал в Городском Самоуправлении, был всего лишь рядовым служащим, а потом и сам сидел в Правенишкесе. Но его вызвали в НКВД и предложили им помогать. Дали время на обдумывание. Он не знал, что делать, даже с нею советовался. Служить им не хотел, но понимал, что отказываться опасно. И все же решил отказаться. Пошел и не вернулся. Вскоре выслали и жену с дочерью. Папа обращался в разные высокие инстанции, объяснял, как они помогли спастись его дочери. Но ему даже не ответили. Мира им посылает посылки — сало, лук, чеснок. Папа посылать не может, он же работает в Совете Народных Комиссаров. Поэтому он дает деньги, а отправляет от своего имени она. В посылочном отделе почты на нее косятся, каждый раз спрашивают, кем Савицкас ей приходится, записывают номер ее паспорта. Я сказала, что когда начну работать, тоже буду давать деньги на посылки. Но прежде всего хочу пойти к учителю Йонайтису. Каждое утро перед работой папа заходил к нам и, едва приоткрыв дверь, встревоженно смотрел в мою сторону. Он боялся за меня. Считал, что при таком истощении я не жизнеспособна. А когда Мира ему рассказала, что у меня часто болит бок, еще больше заволновался и попросил Киру Александровну отвести меня к врачу. Врач долго осматривал, выслушивал, выстукивал. Наконец сказал, что у меня плеврит и что-то еще. Но что именно, я не поняла. Прописал какие-то лекарства, велел лежать и хорошо питаться. Я лежала не только потому, что врач велел. Мне самой хотелось лежать: тогда не задыхаюсь, и бок, если глубоко не вдыхать, почти не болит, и ноги не такие тяжелые. Только было очень неловко, что обременяю папу, Киру Александровну, Миру, что доставляю всем много хлопот и беспокойства.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Папа тревожился, что истекает срок действия удостоверения, которое мне выдали в фильтрационном пункте. Я должна его предъявить в милиции (я не знала, что это и есть местный орган НКВД), чтобы получить паспорт. Это очень важно, твердил папа. Я поплелась. Милицейский офицер велел заполнить какую-то анкету, принести две фотографии. И только потом дал мне какое-то удостоверение, совсем непохожее на паспорт. Это был просто двойной листок без обложки. На одной половине — фамилия, имя, отчество, год и место рождения, национальность, фотография и подпись, а на второй — штамп о прописке. Папу это почему-то огорчило. А я не волновалась, — только в гетто было страшно, когда истекал срок действия очередного "шайна", то есть удостоверения, потому что новое всякий раз получали уже не все. А этот милицейский офицер, наоборот, сам велел мне непременно явиться через три месяца: значит, выдаст другое. Но папа все равно отправился выяснять, почему мне не дали настоящего паспорта. Вернулся он расстроенный. Мне показалось, что он не совсем поверил, будто паспорта не выдали из-за того, что у меня нет свидетельства о рождении. Он в тот же вечер написал в Клайпеду, где я родилась, чтобы выслали дубликат. А поскольку город при освобождении сильно пострадал, и здание архива могло не уцелеть, он одновременно отправил письмо в Плунге, в школу, где, быть может, сохранилась копия. Мне эти старания казались лишними. Я по-прежнему переживала только из-за того, что доставляю ему много хлопот, и что по моей, "иждивенческой" карточке хлеба и всего остального дают меньше, чем по "рабочей" или "служащей". Я хотела скорей поправиться, пойти работать, самой зарабатывать, получать такую же, как у папы и Киры Александровны карточку и не стесняться, что они меня кормят. Но вскоре папино беспокойство перестало казаться таким уж напрасным. Наоборот, после рассказа Люты и Рохочки — в Штуттгофе мы лежали на соседних нарах — я его стала понимать… Встретились мы случайно, на улице. Очень обрадовались друг дружке, — после лагеря не виделись. Я спросила, кто еще из наших в городе, с кем вместе они возвращались. В городе они встретили только Лелю. А возвращались одни. Из деревни уехали уже на следующий после освобождения день, на грузовике с ранеными. А когда этих раненных переносили в санитарный поезд, тоже забрались туда. Вначале никто на них не обращал внимания, а потом — поезд уже давно шел — их обнаружил какой-то сердитый офицер. Стал

допытываться, кто они, каким образом оказались тут. Заявил, что посторонним находиться в этом поезде нельзя, и на ближайшей остановке они должны будут его покинуть. Но мимо проходил пожилой военный врач. Услышав, что они из лагеря, заступился, и их оставили. Даже отгородили простыней маленький закуток. Этот врач потом почти каждый вечер заходил к ним. Приносил белый хлеб, сахар. Люта ему напоминала младшую дочь, которую немцы расстреляли вместе с женой, старшей дочерью и родителями. Рассказывал о них. Иногда просто сидел и молчал. И каждый раз, уходя, повторял: — Главное, девочки, что вы живы… Однажды он пришел раньше обычного и очень мрачный. Принес не только хлеб с сахаром, но и какие-то баночки мясных консервов. Это на дорогу: к сожалению, остаток пути им придется проделать самостоятельно. Но теперь до дома уже недалеко, он им желает благополучно добраться, найти своих родных, и вернуться к нормальной жизни. Они были так расстроены, что только вполуха слушали его. Он говорил что-то о том, что в любой несправедливости нужно увидеть первопричину, тогда легче ее перенести…. Плохо только, когда из-за виноватых страдают безвинные… Они, наверно, слышали — некоторые наши военные, попав в плен, к великому стыду, переходили на службу к немцам. Таких было мало, но, увы, они были… Поэтому… — он еще больше помрачнел — поэтому к тем, кто возвращается из Германии несколько настороженное отношение. И хотя их обеих это не должно коснуться, все же некоторая предусмотрительность не помешает. То, что он сейчас скажет, им, наверно, покажется странным, однако может быть, стоит факт пребывания в лагере обойти молчанием?.. Им это показалось странным. Оторопело слушали, что пребывание в гетто, возможно, будет считаться только проживанием на временно оккупированной территории, а заточение в лагерь — это уже плен. — Так что… — Он снял очки, долго их протирал. — Так что могли же вы после гетто скрываться в самой Литве — в лесу, в глухих деревнях. Говорят, местное население иногда помогало беглецам. Тем более, что обе вы не очень похожи на евреек… Поэтому стоит подумать… Правда, границу в таком случае придется перейти как-нибудь так… Что значит как-нибудь так они не поняли. И где, в каком именно месте они ее уже перешли, понятия не имеют. Я удивилась: и в фильтрационном пункте не были? Оказывается, они даже не знают, что это такое. И стали просить, чтобы я никому не проговорилась, что в Штрасденгофе и Штуттгофе мы были вместе. Только в гетто. И тут у меня мелькнула догадка. Я их спросила, получили ли они паспорта? Получили. Правда, кто-то уверял, что то ли в серии, то ли в номере есть некий тайный

знак, что владелец этого паспорта был в оккупации. Но внешне их паспорта ничем не отличаются от остальных. Нет, метрик у них не было… Что у меня нет настоящего паспорта, я все равно не переживала. Было очень больно от другого: от обвинения, что мы шли, как скот на бойню. Это сказал Мирин знакомый офицер. Он пришел, когда ее не было дома, я предложила ему подождать, и, не зная о чем говорить, сказала, что сегодня ровно месяц, как я вернулась в Вильнюс. А позавчера исполнилось три со дня освобождения из лагеря. Он молчал. А гостя ведь надо занимать. И я сказала — как хорошо, что он не был ни в гетто, ни в лагере. Тогда он выпалил: — По крайней мере я бы не дал себя вести, как скот на бойню! Я обомлела. А его словно прорвало: как же иначе назвать такую покорность? Не он один, все так считают! Нельзя было позволить гнать себя — и он опять повторил это безжалостное "как скот на бойню". Опозорили свой народ! — Неправда это! Неправда! Было сопротивление. Но он слушать не хотел. Встал, раздраженно бросил, что зайдет в другой раз, и вышел. А я продолжала ему доказывать… Немцев все боялись, они захватили столько стран. Ведь Красная армия тоже отступала. Что же могли мы? Да и не знали, в начале никто не знал, куда евреев ведут. Верили, что в какой-то лагерь на работу. Потому и скарб с собой тащили. Но и потом, когда уже знали, каждый раз надеялись, что, может быть, именно их на самом деле переводят в лагерь. Потому что очень трудно поверить в свою уже совсем скорую смерть. Да и как бежать, или голыми руками бросаться на конвоира? Он же сразу откроет огонь, а рядом бредет жена с ребенком, плетется старая мать… Да и куда бежать? Кто примет?.. И ведь, несмотря ни на что, пытались бежать, особенно молодые мужчины. И на конвоиров бросались. После каждой акции вдоль дороги на Панеряй оставались лежать непокорные. Наверно, поэтому позже перестали гнать пешком, везли на машинах. А во время "Каунасской акции", когда людям объявили, что их переводят в Каунасское гетто, и даже везли поездом, несчастные, увидев лес и поняв *куда* их привезли, прыгали из теплушек и убегали. Охранники и подоспевший им на подмогу отряд, который ждал у ям, стреляли по бегущим, приканчивали штыками. Все рельсы и поле за ними были усеяны трупами. Из-за этого даже было приостановлено движение поездов… А из Штуттгофа нельзя было убежать. Хотя там мы знали, зачем проводят селекции, видели, куда уводят… Но за попытку ослушаться охранники страшно избивали, и все равно заталкивали в газовую камеру. А сколько тысяч военнопленных убили. И главное — неправда это, что никто не сопротивлялся. В нашем гетто уже накануне 42-го года появились первые листовки,

призывавшие к сопротивлению. И была Ф.П.О. — Объединенная партизанская организация. И в Каунасском гетто была партизанская организация. А восстание в Варшавском гетто немцы смогли подавить только танками и огнеметами. Я и ночью, в темноте все еще продолжала ему доказывать, что он не прав. Даже мелькнула грешная мысль: хорошо, что они, мертвые, не слышат, в чем их обвиняют… А как мы тогда хотели, чтобы мир по ту сторону оград узнал, что с нами творят, чтобы и потом люди, которые будут жить после войны, знали всю правду. Потому я все и записывала. Учила наизусть. Помню. Теперь я заново все перепишу… А говорить о гетто и лагерях я больше ни с кем не буду…

ДОМАШНИЙ МЕМОРИАЛ

За работу я взялась сразу. Одну за другой заполнила три толстые тетради. Но не так, как было, не отдельными дневниковыми записями, а сплошным рассказом. На первой тетради вывела название — "В кровавой схватке". Под ним подписала — кажется, толком не сознавая, что это эпиграф — слова из когда-то слышанного стихотворения: "Если жить — значит страдать, то я живу уже много лет. Если жить — это радоваться, то я еще не родилась". Перевязала свои тетради черной ленточкой и положила их в самый нижний ящик стола. Но через некоторое время одну, первую, достала. Директор Еврейского музея попросил принести, показать ему. О том, что в городе создан такой музей, я узнала случайно. Набрела на него. Я давно хотела пойти в гетто, то есть туда, где оно было, — ведь в первое утро прошла только по одной, улице Руднинку, и лишь издали видела торчащие за развалинами дома соседней. А я хотела обойти все гетто. Понимала, что никого там не встречу, знала, что оно почти сплошь разрушено, а все равно тянуло… И однажды пошла. На Лигонинес, или, как ее тогда называли по-польски Шпитальной, несколько домов уцелело. Я подошла к тому, в котором была геттовская больница. Ворот нет. И безоконная комнатка, где был морг, стоит без двери. Вместо улочки Диснос между сплошными грудами битого кирпича и камней вьется только тропинка. Может, поэтому там, на Шаулю, или по-старому Шавельской, дома кажутся высокими. Но они — те же. А тот, который стоял на углу Страшуно, немцы взорвали еще при нас, во время одной из последних акций на мужчин. Теперь, наверно, никто и не знает, что тут, под этой грудой битого кирпича лежат заживо погребенные молодые мужчины… А дом напротив, Страшуно, 12, немцы взорвали во время той же акции. Там затаились геттовские партизаны, готовые дать отпор. И действительно, когда немцы приблизились, партизаны бросили в них несколько гранат. Одного немца убили, нескольких ранили. В отместку они и этот дом взорвали. А кроме партизан, там были и женщины, и дети… Остальные дома стоят. На Страшуно я заходила в каждый двор. В одном старик спросил, кого ищу. В другом женщина пожаловалась, что третью неделю у них нет воды, приходится ее таскать из соседнего дома. Когда я подходила к дому номер 6, мне на миг почудилось, что иду, как *тогда*, в библиотеку. Знакомо екнуло сердце — во дворе была геттовская тюрьма. Однажды я в ней просидела целую ночь за то, что хотела внести в гетто шесть картофелин. В камере нас, таких

нарушительниц, было человек тридцать, мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Было страшно, что сейчас, когда мы тут, начнется акция. Тогда нас заберут. Первыми всегда забирали из тюрьмы. К счастью, в ту ночь акции не было, и на рассвете нас выпустили, — на работу идти обязательно. Но с тех пор всякий раз, когда я приближалась к библиотеке, сердце вздрагивало от ее соседства с тюрьмой. По этой же причине я не ходила смотреть спортивные соревнования, — спортивная площадка была в том же дворе, почти под окнами тюрьмы. Номер над подворотней прежний. Шесть. Я вошла во двор. Нарисованные на обеих стенах атлеты остались! Только краска немного выцвела. И надписи еще с тех пор призывают: "Будь бодрым и сильным!", "В здоровом теле здоровый дух". Столбы для баскетбола стоят без обручей и сеток… Решетки на окнах тюрьмы те же. Но дверь приоткрыта. Теперь здесь больше не тюрьма. Оттуда вышел невысокий мужчина. Мне показалось, что он тоже из *того* времени… И вдруг я его узнала! Это же поэт Качергинский, который написал знаменитое: "Тише, тише, помолчим, здесь растут могилы". Мы поздоровались. Он сказал, что музей пока еще не открыт, они только собирают все, что осталось после трагедии. А я и не знала, что в бывшей тюрьме теперь музей. Качергинский спросил, как меня зовут, и каким образом я спаслась из гетто. Узнав, что я не спаслась, а при ликвидации гетто меня вместе с другими молодыми девушками увезли в лагерь, он попросил зайти с ним туда — он показал на*ту* дверь — и рассказать все подробнее. В бывшей камере вдоль стен громоздились кипы книг. В углу темнели два бюста. За круглым столом, также заваленном книгами, сидели двое мужчин. Качергинский познакомил нас. Крупный, рыжеволосый — писатель Бейлис-Легис, второй — Яков Гудкович. Им он сказал, что я, наверно, могу пополнить какими-то подробностями рассказ о ликвидации гетто. Я не знала, какие именно подробности им нужны и просто рассказала, как с крыльца квартиры Деслера нам объявили, что гетто ликвидируется. Как сперва нас повели на улицу Субачаус. Мужчин отделили, а нас загнали в болотистую долину и там продержали под дождем всю ночь. И как потом, утром, опять велели подняться наверх, выпускали по одному через калитку и сортировали: молодых девушек толкали направо, а всех остальных, даже молодых женщин, но с детьми — налево. Нас увезли в лагерь, а их… Я не знаю, что с ними. Качергинский сказал, что пока выяснить, куда их отправили, не удалось. Известно только, что в Понары, или, как теперь по-литовски называют, Панеряй, их не повели — там занимались уничтожением следов прежних расстрелов. Пригнали несколько

десятков узников гетто, обнаруженных в укрытиях уже после его ликвидации и заставили их вскрывать эти огромные ямы, доставать оттуда полуистлевшие тела и нести к костру. Так что теперь в Понарах — лишь пустые ямы, да самодельная лесенка, по которой тела подавали на костер… А куда увезли последние жертвы — неизвестно. Говорят, что в Освенцим. Значит, маму с Раечкой и Рувиком тоже увезли туда… Я не сразу поняла, что Качергинский просит, чтобы я все, что им рассказала, изложила на бумаге. Узнав, что у меня уже есть записи, он попросил их принести. Принесла я только одну, первую тетрадь. Когда Качергинский взял её в руки, я вдруг испугалась, что он попросит отдать ее насовсем и поспешила предложить, что, если нужно, я для музея перепишу. Он, наверно, заметил мой испуг и сказал, что они сами перепечатают на машинке. Кто-то его позвал, он вышел, я осталась одна, и только теперь… Только теперь увидела, что стены исцарапаны, исписаны. "Отец на небесах, за что?!!!", "Помните, не забывайте, как мы умирали!", "Не плачь, мамочка, отомстят за нашу невинно пролитую кровь", "Отомстите!!!". И просто имена, фамилии. Много, очень много имен и фамилий. Я выбежала. Мстить? Это же значит — убивать. Нельзя больше убивать. Я остановилась: даже Мурера нельзя расстрелять? И Хингста, и Нойгебоера, и Вайса, и Кителя? Они же… Они же не только отдавали приказы, но и сами расстреливали. Я же видела, как Мурер тогда, у ворот гетто, выстрелил в молоденькую девушку за то, что она хотела спасти своих стариков-родителей… А лагерный унтершарфюрер сам отбирал совсем исхудавших для газовой камеры. Охранники их заталкивали туда… Я стояла посредине двора и дрожала. А нарисованный на стене физкультурник все так же призывал: "Будь бодрым и сильным!"

Снова пойти в музей я долго не решалась, хотя было очень неспокойно, что тетрадь у чужих людей. Я понимала, что ей там ничто не грозит. И все же… Даже стала снова, как прежде, повторять про себя, чтобы удержать в памяти целые куски. Наконец все-таки пошла. И не только из-за тетради. Тянуло пройти по улочкам гетто, зайти в уцелевшие дворы. Зашла и в тот, где была спортивная площадка и тюрьма, а теперь музей. Открыв дверь, за которой слышался стук машинки, я сразу глянула на стены. Надписей не было. Поблескивала свежая краска. Моя тетрадь лежала на подоконнике поверх каких-то бумаг. Я спросила у выстукивавшей что-то одним пальцем женщины, нужна ли еще моя тетрадь. Но она сказала, что когда Качергинский попросил ее перепечатать, он не говорил, что это срочно, и она пока перепечатала всего двенадцать страниц, работы много. Мне стало неловко, что она передо мною

оправдывается, и я пробормотала, что пусть не торопится, мне не к спеху. А чтобы она опять не начала оправдываться, спросила… давно ли покрасили эти стены. Продолжая указательным пальцем тыкать в клавиши, она ответила, что недавно. Я обомлела: неужели закрасили *такие* записи?! Нет, нет, здесь их не было. И вообще пока покрасили только одну эту комнату. Внизу еще не во все окна вставлены стекла. Но главное, что заделана крыша, а то недавно не только не было окон и дверей, сквозь крышу можно было звезды считать. Она допечатала какой-то список, и теперь уже рассказывала, не работая. Вселились они сюда недавно. И официальным музеем стали недавно. Да и то, если бы не такие люди, как поэты Качергинский и Суцкевер, как Кемпнер, Ковнер, Гудкович, Риндзюньский и другие геттовцы, а потом партизаны — и музея, и всего этого — она кивнула в сторону сложенных в углах связок книг и прислоненных к стене картин — не было бы. Как только они вошли в освобожденный город, с первых же дней занялись поиском того, что, может, немцы не успели уничтожить или вывезти.*(*Для обогащения третьего рейха сокровищами мировой культуры, Гитлер учредил специальный имперский комиссариат по делам восточных оккупированных областей, который возглавлял его соратник А.Розенберг. Вильнюсское наместничество этого комиссариата, которое называли "штабом Розенберга", обосновалось в здании всемирно известного еврейского научно-исследовательского института — ИВО. В Вильнюс был направлен специальный эксперт по еврейской культуре д-р Иоганн Поль, который заранее был подготовлен для этой работы: он три года провел в Иерусалиме, где в Еврейском университете изучал классические источники. Укладывать многовековое культурное наследие — и хранящееся в этом институте, и более ста тысяч томов, доставленных из других библиотек и молельных домов города — для отправки в Германию заставляли, но под бдительным оком охраны, бригаду узников гетто. За попытку "похитить", то есть спасти от отправки хотя бы одну книгу, рукопись, даже единичный документ грозил расстрел. И, тем не менее, геттовские "упаковщики", или, как их прозвали, "бумажная бригада", в которой были и Суцкевер, и Качергинский, все же сумели соорудить на чердаке института тайник, в котором спрятали около пяти тысяч редчайших книг. А наиболее ценное — рукописи Шолом-Алейхема и Переца, письма Толстого, Горького, Ромена Роллана, дневники камердинера Петра Великого, рисунки Шагала, так же всякий раз рискуя жизнью, выносили оттуда и складывали в бункер в самом гетто. Но это была капля в море, — десятки тысяч томов были отправлены в Германию, десятки тысяч проданы как макулатура.

Свинцовый набор Талмуда, раритет 19-го века, "эксперт" Поль продал по тридцать марок за тонну, а его преемник, бывший торговец кожей превратил 5ОО свитков Торы в стельки для обуви.) Женщина вздохнула. К сожалению, уцелело очень немногое. Тайник на чердаке ИВО сгорел. Другое хранилище книг каратели СС обнаружили при отступлении. Когда Советская армия вошла в город, костер из этих книг еще догорал. Хорошо хоть, что спрятанное в геттовском бункере осталось. Видела бы я, что творилось в первые дни после освобождения! На улицах, во дворах, в брошенных немцами домах валялись книги, документы. В магазинах из страниц молитвенников делали кульки для крупы и соли. На почте к таким страницам приклеивали полоски телеграмм. Целыми днями они, несколько человек, ходили по дворам, заходили в брошенные квартиры, собирали все, что еще можно было спасти. Но хранить собранное негде было, все сносили в квартиру Качергинского и Суцкевера, они поселились вместе. Хотели сразу создать Еврейский музей, но власти не давали разрешения, хотя… желание караимов иметь свой музей, поддержали. Все, чего тогда удалось добиться — это согласия образовать хотя бы комитет по сбору материалов при народном комиссариате просвещения. Зарплата членам комиссии, конечно, не полагалась, но все равно они, и не только они — вскоре к ним присоединились вернувшиеся из эвакуации писатель Бейлис-Легис и другие, продолжали искать, вернее, спасать. Уже со двора "Союзутиля" на ручной тележке — другого "транспорта" у них не было — вывезли пять тюков с документами. Когда назавтра пришли за следующими, их уже не было: тридцать тонн книг, рукописей и архивных материалов, которые немцы не успели вывезти, теперь было отправлено на бумажную фабрику как вторичное сырье, для переработки. У меня чуть не вырвалось: "Не может быть!" А она вставила в машинку новый лист, и, снова печатая, продолжала… В конце концов, власти разрешили создать музей. Правда, штатных сотрудников всего трое. Остальные — добровольные помощники. Люди понимают… А еще хорошо, что музей именно здесь. Я, может, не знаю, ведь до войны была ребенком — что по ту сторону двора, окнами на улицу, была знаменитая библиотека имени Страшуна, а тут, где мы сидим, типография. При немцах, в гетто — это я уже конечно, знаю — тоже была библиотека, а здесь, в бывшей типографии — тюрьма. Рядом был архив. И даже баня. Двор служил спортивной площадкой. Может, только того не знала, что здесь же был подпольный партизанский штаб, а в подвале под баней партизаны учились стрелять. Да, этого я тогда не знала… Через некоторое время я снова, побродив между развалинами гетто, зашла туда. В

одной из комнаток на полу были разложены сушиться… я даже не сразу узнала, что эти выцветшие от сырости, слипшиеся листочки — "желтые шайны"! Но это они — "Facharbeiter Auswais'ы"*(*Удостоверение ремесленника (нем.)) Тогда, осенью 41-го года каждый такой желто-оранжевый, теперь всего лишь истлевающий листок, являлся дозволением его обладателю, пока он нужен, оставаться в живых. И то не со всей семьей, а только с женой или мужем и детьми до шестнадцати лет. Я стояла над этими расстеленными на полу бумажками и вглядывалась в них, — может, увижу мамино удостоверение. В ту осень оно меня на целых три месяца уберегло от расстрела. Потом еще на месяц — срок его действия продлили до 30-го апреля 42-го года. И только после этого поперек поставили штамп — "Ung*ltig"*(*Недействительно (нем.)) Качергинский, видно, понял, что я высматриваю. Предложил поискать, как следует, и, если найду что-нибудь свое, взять на память. Я осторожненько перекладывала каждый листочек. Только слипшиеся не разнимала, — боялась порвать. Но маминого удостоверения не нашла. Может, оно было среди тех, которые не разняла, а может, я его не узнала, — чернила вписанных от руки фамилий и имен размыло. Качергинский протянул мне чужое удостоверение. Там фамилия впечатана на машинке. Я взяла его, почти сохранивший свой тогдашний цвет "желтый шайн", подтверждающий, что "Der Jude" Шнейдер Рубин работает на Государственной меховой фабрике "Удра" слесарем и без ведома арбейтсамта не должен быть взят на другую работу. И среди сушившихся в соседней комнате я ничего своего не нашла. Розовое удостоверение члена семьи, какое было у меня, тоже взяла чужое — незнакомой Фани Фарбер. Удостоверение личности, которое выдали вместо аннулированных "желтых шайнов" — некоей Сары Рус. А заменившее его впоследствии опять другого вида удостоверение, в котором дополнительно были указаны цвет волос и глаз, овал лица, рост, а в качестве особой приметы, как у преступников — отпечаток пальца — Хайи Левин. Жестяной номерок, который мы обязаны были носить на шее, не снимая даже ночью, мне тоже дали чужой. И налоговую карту — чужую, Мины Файнберг*. Последний свой налог — 7 марок и 6 пфенигов эта женщина внесла 11-го сентября 1943-го года. А 23-го сентября гетто ликвидировали…(*Формально наш подневольный труд оплачивался. Но этого заработка едва хватало (а иногда и не хватало) для того, чтобы выкупить выдаваемую по карточкам мизерную норму хлеба с отрубями, и — крайне редко — какого-то черного гороха. Тем не менее и с этой жалкой оплаты приходилось вносить уже "внутренний" налог — на содержание

геттовской администрации и полиции. Без отметки в карте, что налог внесен, не выдавали хлебной карточки на следующий месяц.) Дома я все принесенное из музея положила к своим тетрадям, и… принялась шить "желтые латы"*. (*Лата" в дословном переводе с еврейского — заплата. Но именно так были прозваны эти знаки, которые должны были нас отличить от всего остального населения.) Потом я на листе бумаги нарисовала форменные нарукавные повязки геттовских полицейских — рядового, старшего полицейского, сержанта, динстлейтера, коменданта участка, адъютанта шефа полиции и самого шефа полиции Генсаса. Теперь у меня есть и свой, домашний мемориал…

ТЕБЕ НАДО УЧИТЬСЯ

Папа уже в который раз заводил разговор о том, что я должна продолжить учебу. По своему обыкновению — издалека. Он и когда-то, дома, нам не читал нравоучений, и ничего впрямую не запрещал. Как именно мы должны или, наоборот, не должны поступать, нам следовало самим сделать вывод из его, как бабушка их называла, "умных разговоров вокруг да около". Теперь он тоже всякий раз начинал с воспоминаний, как хорошо я училась в школе. Хотя часто болела и много пропускала, я быстро наверстывала пропущенное. Учителя этому всегда удивлялись и ставили меня в пример другим ученикам. Мне очень хотелось ему сказать, что тогда все было совсем другое, но я молчала. А он продолжал вспоминать, как он и мама мечтали, чтобы мы с Мирой получили европейское образование. Собирались, когда Мира окончит гимназию, отправить нас в Париж. Мира поступит в Сорбонну. А поскольку я к тому времени окончу только прогимназию*, (*Неполную гимназию, всего 8 классов.) то и среднее образование завершу в Париже, после чего тоже поступлю в Сорбонну. Жить будем в каком-нибудь недорогом пансионате. По воскресеньям дядя Михель, брат отца, парижский адвокат, будет нас забирать к себе. Кроме того, дядя предложил частично оплачивать нашу учебу. Бабушка тоже обещала помогать. Но нам и самим придется жить очень экономно. В эти подробности я не вникала. Я просто не хотела никуда уезжать и жить без мамы. Поэтому когда Литва стала советской и папа перестал говорить о нашей будущей учебе в Париже, я была очень довольна. Теперь он больше не говорил о Сорбонне. Только напоминал об их с мамой давнем желании видеть нас высокообразованными. Хвалил Миру за то, что она учится в университете, и с горечью заключал: — А у тебя нет даже среднего образования. Он ждал, чтобы я сказала, что вернусь в школу. Но я не могла этого обещать. И не знала, как объяснить, что *не могу*, как когда-то сидеть за партой. И что совсем неважно, сколько будет "а" плюс "б" в квадрате, и куда впадает Миссисипи. Главное, чтобы не убивали. Но ему я этого не говорила. Повторяла только, что хочу работать, не добавляя — для того, чтобы не быть ему и Кире Александровне в тягость. Ведь я уже взрослая. Но чем ближе к первому сентября, тем чаще он заговаривал об учебе. В городе есть несколько вечерних школ для взрослых, туда принимают без вступительных экзаменов. В такой школе безусловно учтут мой вынужденный перерыв в учебе. Если меня пугает, что в первое время будет трудно, то не надо тень горы принимать за саму гору. А непреодолимых трудностей не

бывает. И хотя я это знала, он снова вспоминал, как учился сам. …В семье было много детей, родители не в состоянии были отдать его в гимназию, и он рано уехал из дому. Учился в Рижской гимназии, зарабатывая себе на хлеб, а точнее — на три ломтя хлеба и три соленых огурца в день — уроками. Окончив гимназию, разослал прошения в двадцать один университет Германии, и получил двадцать один отказ. Тем не менее поехал в Берлин, и в конце концов добился разрешения присутствовать на лекциях в качестве вольнослушателя. Лишь со следующего года его зачислили студентом. Тогда же он поступил еще и в Институт немецкого языка и литературы. А поскольку теперь бегать по урокам уже не оставалось времени, работал по ночам грузчиком. Папин младший брат, дядя Михель, к бабушкиному ужасу уехал в Париж в 18 лет, почти не зная французского языка. Работал рассыльным, еще кем-то и уже через год поступил в Сорбонну. Стал известным адвокатом, а по-французски говорил так, что никто не верил, что он не коренной парижанин. Я терпеливо слушала. И только про себя молила папу понять, что я больше не такая, какой была раньше. Я не могу, будто*ничего не было*, опять сидеть в классе, выходить к доске отвечать, выполнять домашние задания. Я больше не такая, какой была до войны. Только в первые дни в гетто я еще оставалась прежней. И очень переживала, что начинается учебный год, а я здесь, и не могу пойти в школу. И когда начался второй учебный год без меня, было грустно. А потом, ни в Штрасденгофе, ни в Штуттгофе о школе больше не думала… Теперь на все папины уверения, что в жизни очень важно иметь высшее образование, я твердила свое: хочу работать. То же пришлось выслушать и учителю Йонайтису, когда он однажды пришел и принес полный портфель учебников. Пришлось выслушать, что без аттестата зрелости в жизни будет трудно, и что он готов мне помочь восстановить забытое по всем предметам. Если мне пока еще трудно приходить к нему, он будет приходить ко мне сам. Я очень смутилась, но продолжала настаивать на своем. Я очень обиделась на папу: это он пожаловался учителю, что не хочу идти в школу. Потому что когда я почти сразу после возвращения пошла к нему — Мира меня повела — он ничего об учебе не говорил. Просто вспоминали прежнюю школу. Мы ему выдали великую тайну, что даже двоечники его не боялись, — дневник он возвращал чистым, и просил к следующему уроку лучше подготовиться. Йонайтис "оправдывался": с третьего раза он все-таки двойку ставил. А его жена, тогда она еще была Скребутенайте и преподавала историю, вспомнила, как однажды поставила мне пять с плюсом. А я наконец покаялась, что получила ее незаслуженно: просто успела

перед самим звонком пробежать глазами конспект. Мира тоже вспомнила какие-то проделки в их классе. А Йонайтис рассказал, как он, услышав по радио, что началась война, сразу поспешил в школу выписывать аттестаты, чтобы срочно раздать их выпускникам О том, что было при немцах, мы не вспоминали. И о том, что мне надо продолжить учебу, он не заговаривал. А теперь, вот, принес целый портфель учебников…

НЕПРИВЫЧНО ЛЕГКАЯ РАБОТА

Папа в конце концов, видно, потерял надежду убедить меня закончить хотя бы среднюю школу и сдался. Однажды сказал — правда, с явной неохотой — чтобы я сходила к начальнику Управления по делам искусств Банайтису, может, он возьмет меня на работу. Я отправилась туда на следующее утро. По дороге повторяла, чтобы не забыть: Банайтис, улица Билюно,5, Управление по делам искусств. Но чем больше повторяла это "по делам искусств", тем больше оно меня пугало. Что там надо делать? Когда я работала на огородах старика Палевича, мы, геттовцы, в начале только таскали воду для поливки. Потом окучивали, пропалывали, прореживали эти чуть ли не километровые грядки. А когда перед зимой нас уволили, я мыла полы и лестницы в казармах на Большой улице. На мебельной фабрике полировала лыжи. В Штрасденгофе таскала и дробила камни. Потом работала на фабрике "Юглас мануфактура", ткала полотно. А когда, уже из Штуттгофа, отправили на уборку урожая в немецкое поместье, я научилась и коров доить, и снопы вязать, и ухаживать за свиньями. Даже в загон к свирепому быку входила. Иначе хозяин вернул бы нас, лентяек, в лагерь, то есть прямо в крематорий. Четырех наших предшественниц уже отправил… Но ведь в Управлении по делам искусств надо уметь делать что-то другое. А что?.. Я плелась все медленнее и медленнее. И все равно дошла. И до улицы Билюно, и до дома номер пять. Поднялась наверх. Хорошо, что в коридоре одна дверь была открыта. Я вошла. Курившая у окна женщина сказала, что товарищ Банайтис не занят, могу войти. Крупный мужчина в красивой шелковой рубашке вышел из-за стола, чтобы поздороваться со мной за руку. Предложил сесть. Едва не утонув в мягком кресле, я пробормотала, что хочу работать, и что мой отец посоветовал "обратиться к вам". Банайтис кивнул. Да, им не хватает одного работника. Я напряженно ждала — сейчас он спросит, что умею делать, и скажет, что все это им не подходит. Но он спросил совсем о другом: не будет ли мне трудно работать, — отец упомянул, что я вернулась из лагеря совсем недавно. Я поспешила заверить, что нет, не будет. Я здорова, совсем здорова! Он удивился моей горячности, но я повторила, и что здорова, и что мне уже исполнилось восемнадцать лет. Я не знала, что еще добавить. Может, надо попросить? Банайтис заговорил сам. Только почему-то не о том, что мне надо будет делать, а о войне. Что человечество еще не скоро оправится от ее последствий. Что от Гитлера все пострадали. Однако то, что

выпало на долю еврейского народа… У меня от такого неожиданного сочувствия в горле встал ком. А Банайтис продолжал говорить. Что конкретно этот, гитлеровский фашизм, разбит. Но сами идеи нацизма, к сожалению, заразительны, и в сознании некоторых людей оставили свой след. Но я могу работать спокойно, тут коллектив дружный, и "всякое такое" исключено. Я смогла произнести только: — Спасибо… Банайтис протянул лист бумаги и попросил, именно попросил написать заявление, о приеме меня на работу в планово-финансовый отдел на должность экономиста. Я писала, не решаясь признаться, что не знаю, что такое планово-финансовый отдел, и что должен делать экономист. Потом в кабинет вошел смуглый мужчина в военной форме, правда, без погон. Банайтис нас познакомил, назвав его начальником отдела кадров Мачераускасом. Попросил его оформить "нашу молодую сотрудницу" — и повторил это пугающее "экономистом в планово-финансовый отдел" — уже с завтрашнего дня. Мачераускас повел меня в свою комнату, подал четырехстраничную бумагу, которую назвал анкетой, и велел ее заполнить. Когда я кончила, он принялся внимательно читать мои ответы. И без того угрюмый, стал еще больше хмуриться. Мрачно спросил, предупредила ли я товарища Банайтиса, что была в немецком плену. Я начала было объяснять, что в плену были военные, а мы… то есть я… Но он махнул рукой: — Плен для всех — плен! Потом он достал еще один лист бумаги, серовато-фиолетовый. Вопросы там были напечатаны на машинке. Но он тоже назывался анкетой. Мачераускас велел еще и ее заполнить. Строго предупредил, что отвечать я обязана честно и обстоятельно, ничего не утаивая и не пропуская. Вопросы были почти те же самые, которые мне задавал офицер в Гродненском фильтрационном пункте, и я на них ответила, как Мачераускас велел, подробно. Он запер обе мои анкеты в маленький железный шкафчик. Сказал, чтобы я наведалась через неделю, а лучше — через десять дней. Напомнить, что Банайтис велел принять меня уже с завтрашнего дня, я не решилась… Еще дважды я ходила узнавать, когда смогу начать работать. И только когда пришла в третий раз, он наконец сказал, что я зачислена в штат с месячным испытательным сроком. Оказалось, что я напрасно страшилась этих непонятных названий "планово-финансовый отдел", "экономист". Отделом он только назывался, а было нас в нем двое — начальница отдела Печюрене и я. Сидели мы в бухгалтерии. И хоть моя должность называлась так солидно, всего-то и надо было составлять сводные отчеты. То есть я переписывала из отчета каждого театра, обоих музеев, филармонии, консерватории, музыкальных училищ и Дома

народного творчества цифры, которые назывались показателями выполнения плана: запланированное и проведенное количество спектаклей и концертов, число зрителей и слушателей, а в музеях — посетителей, число новых постановок и их названия, доходы от проданных билетов, расходы, в том числе отдельно на зарплату, отчисления, новые постановки, командировки и т. д. Подсчитывала по каждой графе "итого", потом "всего". После этого наступало самое приятное — я все это переписывала начисто, — в машинку такой большой лист не влезал. Я очень жалела, что у меня нет, как когда-то дома, цветных карандашей — линии между графами и некоторые цифры я бы вписывала то синим, то красным. Папа моего удовольствия от такой работы, для которой, как он говорил, надо знать всего лишь таблицу умножения, не разделял. И когда я рассказывала, что Печюрене или сам Банайтис меня похвалил за аккуратный отчет, недоумевал: неужели я всю жизнь собираюсь заниматься всего лишь переписыванием цифр? А я не думала о *всей* жизни, потому что еще со времен гетто и лагеря не представляла себе ее долгой. Мне просто нравилось, что работа такая непривычно легкая (в начале даже удивилась, что это считается работой). Нравилось сидеть в большой комнате, за таким же, как у остальных, письменным столом, расчерчивать чистые листы бумаги и заполнять эти промежутки столбцами цифр, гонять кругляшки счетов, выводить процент выполнения плана. Особенно нравилось, что к нам приходят писатели, композиторы, художники. Любила слушать их рассказы, и удивлялась, что они так много всего знают. Правда, после того, как пьяный художник Ю., показывая на меня, спросил: "А эта откуда взялась? Их же всех убили!" — я всякий раз, когда входил незнакомый мужчина, пугалась, что сейчас он тоже что-нибудь такое скажет… Старалась, чтобы никто моего страха не заметил, особенно Печюрене. Она же тогда велела этому пьяному художнику извиниться. И хоть он извинялся, бормотал, будто именно доволен, что не всех убили, особенно такую молодую и красивую, как я, но я чувствовала, что это неправда… И впервые после возвращения, подумала, что, может быть, таких, удивляющихся, и хуже того, недовольных, что не всех убили, много. Ведь *тогда*, когда мы в колонне брели на работу или устало тащились обратно в гетто, прохожие редко смотрели на нас с сочувствием. Иные, может, и сочувствовали, но боялись это показать, и проходили, потупив глаза. Другим явно было все равно — бредем ли мы еще по мостовой, не бредем. Заберут ли нас этой ночью, или не заберут. Иные ухмылялись, вслух радовались, что наконец нам "прижали хвосты". Однажды какой-то верзила спросил

конвоира, чего с нами еще возятся. Надо всех пиф-паф, и готово! А ведь не все, тогда ухмылявшиеся, удрали с немцами. Они и теперь где-то рядом, в городе… Наверно, поэтому, увидев на улице хмурого мужчину, вдруг пугаюсь, что я без желтых звезд на одежде, быстро прикрываю то место, где они должны быть рукой, и сразу схожу на мостовую. И хотя этот хмурый мужчина проходит мимо, даже не взглянув на меня, и я знаю, что больше не должна носить желтых звезд и ходить по мостовой, все равно еще не сразу отнимаю руку и не сразу возвращаюсь на тротуар… А ночью другое. Во сне все само возвращается. И всегда одно и то же… …Я в лагере. Стою в шеренге. Мы должны голые по одной проходить мимо унтершарфюрера. Он отбирает самых исхудалых для отправки в газовую камеру. Я двигаюсь вместе со всеми и никак не могу унять дрожь, — на этот раз он меня уже наверняка отправит: я, кажется, самая худая. И кожа от холода и страха посинела, покрылась пупырышками. Унтершарфюрер тычет плетью, чтобы я перешла к тем, отобранным. От страха просыпаюсь, и… болит то место, куда он ткнул. Быстро открываю глаза. Начинаю убеждать себя, что никакого унтершарфюрера нет. Я лежу на диване. Рядом, на стуле висит платье, в котором хожу на работу, а на этажерке лежат книги. Я здесь живу. Папа живет у Киры Александровны, а Мира — у мужа. Она недавно вышла замуж. Я в Вильнюсе. Лагерь приснился. Дрожь еще долго не проходит. И совсем так же, как там, от голода сосет под ложечкой. Я тихонько, чтобы не разбудить соседей, иду на кухню, отрезаю ломоть хлеба, снова ложусь и отщипываю губами по маленькому кусочку.

ПРИЕЗД МИХОЭЛСА

В музей я теперь заходила редко, хотя мне было неспокойно, что тетрадь все еще там. Но и приходя туда, стеснялась спросить, нужна ли она им еще, каждый раз откладывая этот вопрос до следующего прихода. Однажды я там застала непривычное оживление. Оказывается, в Вильнюс приезжает, как мне объяснили, гордость нашего народа — великий артист, руководитель Государственного еврейского театра, председатель Антифашистского еврейского комитета Соломон Михоэлс. Они собираются его принимать не только в самом музее, но и поводить по улочкам гетто, рассказать обо всем, что происходило до их ухода в партизаны. А какими были самые последние дни существования гетто, и как немцы провели окончательную его ликвидацию, попросили, чтобы рассказала я. И не только рассказала, но и пошла с ними к тому оврагу на Субачаус, где нас, уже выгнав из гетто, продержали последнюю ночь. Я, конечно, обещала. Только зря проговорилась об этом папе. Он был огорчен. Я понимала, почему, — ведь мне придется вспоминать. Именно поэтому сам никогда ни о чем не расспрашивал. Вслух он своего огорчения не высказал, только спросил, когда Михоэлс приезжает. Значит, он тоже собирается пойти. Когда директор музея Гудкович подвел нас к Михоэлсу, я удивилась, что он совсем непохож на артиста. Небольшого роста, лысоватый, с оттопыренной губой. Познакомив с ним, Гудкович сразу стал нас знакомить с его спутниками, но от волнения я их фамилий не разобрала. Расслышала только, что болезненно бледный мужчина — поэт Хаим Граде — давний виленчанин, теперь живущий в Москве. Пока гостей водили по гетто и рассказывали об акциях, Мурере, Понарах, о партизанской организации в самом гетто, я шла сзади. Лишь поглядывала на папу: как он? Но потом, во дворе Юденрата, Гудкович сказал: "А теперь продолжит Маша". Я показала крыльцо и заговорила каким-то чужим, хриплым голосом. Вот с этого крыльца, стоя в окружении свиты, немецкий офицер объявил, что все евреи вильнюсского гетто, помещенные сюда два года назад, эвакуируются в рабочие лагеря — один в Эстонии, другой здесь же, в Литве. Эвакуироваться необходимо в течение одного дня, вещей можно взять столько, сколько в состоянии нести. Еще добавил, что советует взять ведро, кастрюлю и прочую хозяйственную утварь, потому что на новом месте этого не дадут. На папу я не смотрела. А Михоэлс слушал очень сочувственно. И я рассказывала ему. После офицера все то же самое повторил на

идиш Оберхарт, только накануне назначенный новым шефом геттовской полиции. Напомнив, что к одиннадцати часам все должны собраться на улице Руднинку, велел разойтись. Как и в то утро, я вышла на улицу. Но тогда — чтобы сообщить эту грустную весть маме, а теперь, выйдя из подворотни, только показала груду развалин: на заднем дворе стоявшего на том месте дома было наше последнее жилище. Я их повела к воротам гетто, то есть к тому месту, где ограда была не сплошь глухой. Тут были ворота гетто, через которые нас выпускали на работу и загоняли обратно. Я ступала по тем же камням мостовой, что и в то, последнее утро. Но тогда рядом шла мама, Раечка, Рувик. Тогда мы двигались толпой. Шли все. Раз гетто ликвидируют, укрываться не имеет смысла, — немцы сделают то же самое, что сделали в 41-ом году, ликвидировав второе гетто: отключили воду и поставили охрану. Тех, кто, мучимый жаждой, решался ночью выбраться из укрытия за водой, сразу схватывали. А те, кто выбираться не решался, медленно умирал без воздуха и питья… Я остановилась у невидимой теперь черты. Показала, что здесь, перед воротами, поперек улицы был шлагбаум. И хотя в то утро он был поднят, охрана все равно остановила перед ним: ворота были всего лишь приоткрыты на небольшую щель, — нас считали. На этом месте, как и в то утро, я прошла, но сквозь пустоту, и так же медленно, как тогда, свернула налево. Михоэлс тоже шел по мостовой. Только бы не спросил, почему уже тут, за пределами гетто, никто не пытался бежать? Только бы не обвинил в покорности… И я поспешила опередить вопрос: кроме шедшей рядом охраны, по обеим сторонам улицы на тротуарах стояла сплошная цепь солдат. И каждый четвертый или пятый — с собакой. Так — я чуть впереди, москвичи и папа сзади — прошли по улице Этмону, пересекли Большую. Шли по Субачаус. Одно место в начале улицы я обогнула, — тогда именно тут у меня соскользнуло наземь папино осеннее пальто, которое я несла перекинутым через плечо. В руках нести его не могла, они были заняты чемоданом и большим узлом. Остановиться, чтобы поднять его, тоже не могла, — сзади напирали, да и уже ступали по нему, втаптывая в грязь. Пришлось оставить… Еще до гетто мы отнесли учителю Йонайтису, кроме папиных книг, кое-что из его одежды. Когда появилось распоряжение Мурера, запрещающее населению хранить "имущество евреев", мама уговаривала Йонайтиса, чтобы он уничтожил все 16 томов Еврейской энциклопедии, "Историю евреев" Греца и другие "опасные" книги, а из остальных чтобы вырезал штампик на титульном листе "Др. юр. Г.Рольникас", то есть указание фамилии их владельца. Но, оказывается, Йонайтис все сохранил — и энциклопедию, и

"Историю евреев", и штампик из остальных не вырезал. А вещи выменивал на хлеб и тайком передавал нам в гетто. Пальто мама почему-то попросила как-нибудь переправить нам, — надеялась сама выменять на продукты. И все не решалась. Хоть мы очень голодали, хранила на еще более черные дни. Потому мы и взяли его с собой. А я его не удержала, оно соскользнуло, и осталось, втоптанное в грязь… Теперь тут сухо. Михоэлс и его спутники о чем-то тихо говорят. Только когда мы стали приближаться к воротам во двор монастыря, я их вернула в*то*время: вот здесь, прямо на улице, из толпы выхватывали мужчин и угоняли вперед. Озлобленные тем, что их мало, хватали без разбора — и подростков, и пожилых. А нас всех загоняли через эту вот подворотню во двор. Теперь мне этот двор показался совсем небольшим. И овраг за ним будто стал меньше, наверно, оттого, что кусты в нем разрослись. Я показала дерево, на котором тогда повесили трех партизан — Хвойника, Каплана и Асю Биг. Они вышли из гетто в последний день, когда оно уже было полностью закрыто, через канализационные трубы. Но, видно, заблудились, и вылезли наверх не за городом, как предполагали, а в самом центре. Этих троих, вышедших первыми, сразу схватили. Они отстреливались, говорят, успели убить нескольких немцев. Но их связали, приволокли сюда, и в назидание остальным, повесили у всех на виду. Нас погнали в овраг, вокруг него стояла охрана. Даже на крышах тех, виднеющихся вдали домов, сидели по два солдата с пулеметами. Я спросила Михоэлса, хочет ли он спуститься туда. Он кивнул. Теперь здесь было сухо, а тогда под ногами чавкала грязь. Мама велела опустить чемодан на землю, и мы сели на него. Детей, чтобы не промочили ноги, взяли на колени, мама — Раечку, я — Рувика. Вдруг я спохватилась, что все это говорю при папе!.. И что ему тоже показываю куст, возле которого мы тогда сидели. Хаим Граде предложил сфотографировать меня возле него, но я быстро отошла. На папу я боялась взглянуть… Остальные уже стали подниматься наверх, а Михоэлс все стоял у этого куста, словно стараясь его запомнить… Когда мы снова оказались наверху, я закрыла ворота, и оставила открытой только калитку, чтобы все было, как тогда. Это через нее, эту калитку, нас пропускали, отбирая самых молодых. Я опять прошла через нее… И не сразу могла заговорить. Показала, что здесь, на этом месте, солдат толкнул меня прикладом, и велел пойти туда, вправо. Я пошла. Внезапно почувствовала сзади пустоту, — мамы с детьми нет, они остались там, за второй цепью солдат, где много женщин с детьми. А рядом со мной только молодые, явно отобранные для работы. Уже скороговоркой, не глядя на папу, показала, где нас,

отобранных, построили. Сосчитали. А когда считавший нас офицер крикнул солдатам у калитки, что нужны еще три "молодые свиньи", и будет тысяча семьсот, к нам прибавили этих трех, и больше выходивших из калитки уже не "сортировали" — всех подряд гнали туда, влево. О том, что именно отсюда я в последний раз видела маму, что она приподняла Рувика, и он помахал мне ручкой, я рассказывать не стала. Только сказала, что по той вот улице Расу нас повели к какой-то запасной железнодорожной ветке, затолкали в вагоны для скота и в ту же ночь увезли. Что стало с ними, "ненужными Рейху", не знала. Никто не знал… Мы повернули обратно. Я хотела только одного — чтобы никто со мною не заговаривал, ни о чем больше не расспрашивал. Чтобы папа поскорей ушел обратно на работу, а они — в музей. На прощание Михоэлс сказал, что хотел бы почитать мои записи. Первую тетрадь ему дадут в музее, а еще две попросил занести ему в гостиницу. Назавтра он вернул мне только две тетради, — третью дочитать не успел, хотя читал до пяти утра, и хочет взять ее с собою, то есть просит моего согласия увезти ее в Москву. Обещал вернуть при первой же возможности. Мне было не по себе, что он ее *увезет*, что меня отрывают от того, что там написано. Даже не сразу поняла, о чем еще он говорит. А он, оказывается, меня хвалит: я наблюдательна, описала все события образно, в рукописи много запоминающихся подробностей. Я хотела объяснить, что просто записывала то, что с нами было, но не решалась его прервать. А Михоэлс заговорил о том, что сейчас публиковать мои записи нецелесообразно, что мы не должны предаваться оплакиванию прошлого, а строить новую жизнь. И чем меньше будем теребить свои раны, тем скорей ее построим. Я смущенно пробормотала, что ни о чем таком не думала, просто музей попросил дать им это перепечатать. А третью тетрадь, пусть он — это все-таки выговорила с трудом — возьмет с собой, не надо пересылать. Возможно, я скоро буду в Москве в командировке, так что сама смогу забрать. Михоэлс обещал оставить ее для меня в Антифашистском еврейском комитете. Еще раз похвалил, пожелал окончательно оправиться от пережитого, и уже в дверях то ли напомнил, то ли посоветовал надежд на публикацию не возлагать. В музей я первую тетрадь пока не стала возвращать, — не хотела оставаться всего лишь с одной, но когда они спросили, что мне сказал Михоэлс, я повторила, конечно, опустив похвалу, все остальное: что публиковать это нецелесообразно, что мы не должны предаваться оплакиванию прошлого, а надо строить новую жизнь. И что чем меньше будем теребить свои раны, тем скорее ее построим. Это всех удивило. Гудкович озабоченно вздохнул: тут что-то не то.

Михоэлс не может так думать. Не только Михоэлс, ни один еврей не может так считать. Но какой-то незнакомый мужчина — я его тут видела впервые — заявил, что пусть даже трижды еврей, раз он состоит при власти, то должен говорить то, чего от него требуют. На него накинулись: Михоэлс не такой человек, которому можно указывать, что он должен говорить, а чего говорить не должен. Но тот все равно не унимался: и не таким указывают. А Гудкович опять повторил свое: "тут что-то не то". Оказывается, он был уверен, что Михоэлс возьмет мои записи для "Черной книги". Не только я, еще кто-то не знал, что это за "Черная книга", и он объяснил. Во время войны писатель Илья Эренбург — кстати, он тут был почти сразу после освобождения города — писал о боях за Вильнюс. В музее есть фотография, на которой он снят с группой геттовских партизан. Он получал очень много писем. Ему писали люди, пережившие оккупацию, посылали записи, сделанные со слов таких людей, дневники погибших и предсмертные письма, свидетельства очевидцев. Все эти документы, касающиеся уничтожения евреев, Эренбург решил собрать в единую "Черную книгу" и издать ее. К подготовке книги он привлек Василия Гроссмана и многих других писателей. Вот Гудкович и думал, что Михоэлс возьмет для этой "Черной книги" мои записи. А раз не взял — это плохой признак. В гетто тоже так говорили. Там все было "плохим признаком": что Генсаса уже второй день подряд вызывают в Гебитскомиссариат, что он вернулся оттуда хмурый, что на будущий месяц, говорят, заказано печатать меньше хлебных карточек, значит, опять будет акция. Даже то, что в гетто завезли черный горох — тоже плохой признак: такую "щедрость" немцы обычно проявляли перед очередной акцией. Но это же было*тогда!* Просто у Гудковича вырвалось тогдашнее выражение. И никто, кажется, не обратил на это внимания. Они разговаривают. Гадают, почему Михоэлс не взял мои записи. Может, потому, что поздно — "Черную книгу" уже печатают. Я думала только о том, чтобы он не забыл оставить тетрадь, как обещал, в Антифашистском комитете. Когда поеду в Москву, разузнаю, где он находится и заберу ее. Михоэлс свое слово сдержал. Тетрадь мне была оставлена.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

О том, что меня посылают в Москву, я узнала как раз незадолго до этого. Моя начальница, Печюрене, ушла в декретный отпуск, успев только составить проект сметы на будущий год. И то в последнее время я ей помогала. А начисто перепечатанный проект вместе с разными дополнительными сведениями в приложениях уже относила в Министерство финансов я. Вскоре выяснилось, что я еще должна и защищать его перед начальником отдела финансирования культуры, просвещения и здравоохранения Логиновым, потому что он, составляя сводный проект, многое в нашем проекте переделывает, и чуть не на треть уменьшает нам дотацию. Банайтис, вместо того, чтобы рассердиться на него за такое самовольничание, сказал, что Логинов в республике человек новый, еще недостаточно хорошо знаком с нашими проблемами. Кроме того, он раньше, в России, работал в сфере финансирования других отраслей народного хозяйства, и со спецификой деятельности учреждений искусства сталкивается впервые. Поэтому я должна пойти к нему и постараться отстоять наш проект. Если же это мне не удастся, то он, Банайтис, сам пойдет, но уже к министру. Пришлось пойти, хотя какая она, специфика деятельности учреждений искусства, сама не знала. Встретил меня Логинов с ухмылкой: — Больше некого было прислать? Я ответила, что некого, Печюрене в декретном отпуске, и сходу стала просить в нашей смете ничего не менять, так как все в ней предусмотрено правильно. — Ох, какие мы самоуверенные! Я хотела ему возразить, что вовсе не самоуверенные, но повторила только, что в смете и вправду все рассчитано правильно, по потребностям (сама удивилась этому вдруг выскочившему слову), что театрам план по доходам увеличить нельзя, потому что зрительные залы, особенно на периферии, небольшие, посещаемость низкая, а выезжать на гастроли в глубинку, особенно с советским спектаклем, опасно — кругом орудуют "лесные братья". Да и как выезжать, если он урезал расходы на командировочные? Этот упрек ему явно не понравился, но я уже не останавливалась. Лишить средств на ремонт, особенно Каунасский театр, нельзя. Потому что там был потоп, вода стояла почти до самого балкона, по партеру можно было поверх кресел плыть на лодке. И музеям ни в коем случае нельзя сократить расходы на содержание помещения, — от низкой температуры и сырости гибнут ценнейшие картины. А фонд зарплаты Консерватории и музыкальных училищ подсчитан по числу фактически

работающих педагогов. Словом, я выложила все, что знала от приходивших к нам директоров и главных бухгалтеров. — А ты, оказывается, бойкая! — съехидничал Логинов. Но все же достал папку с нашей сметой и стал ее листать. Теперь я уже убеждала по каждой статье доходов и расходов в отдельности, просила, иногда даже умоляла ничего не трогать. Логинов ворчал, что мы наплодили слишком много артистов, а теперь требуем от государства их содержать, что учить пиликать на скрипке не обязательно должны профессора, могут и простые учителя, дешевле обойдется. Меня называл то назойливой, то приставучей, но все-таки некоторые цифры восстанавливал. Зато Банайтису, когда он на следующий день пошел к министру Дробнису отстаивать еще несколько наших позиций, не преминул язвительно заметить, что уж очень настырную девицу тот ему прислал. А Банайтис моей настойчивостью — он это так назвал — как раз был доволен. И через несколько дней секретарша принесла уже подписанный приказ, которым мне поручалось временно исполнять обязанности начальника планово-финансового отдела. Я испугалась, но она поспешила меня успокоить, — это нужно для того, чтобы меня командировать в Москву. Потому что вместе с работниками Министерства финансов и Госплана там должны будут отстаивать свои сметы и начальники планово-финансовых отделов соответствующих Министерств и Управлений. Мало того, что самой было страшновато ехать, так еще папа добавил. Будто бы в шутку предсказал, что со мною произойдет. До Москвы долечу. Из аэропорта в город довезет автобус. Но когда окажусь на многолюдной улице… Все куда-то спешат, бегут, а я буду стоять растерянная, не зная, куда идти. К тому же окажется, что держу только ручку от портфеля, сам портфель мне какой-то вор срезал. А там был паспорт, деньги, и все расчеты, которые я везла. Так что буду стоять и плакать, пока надо мной не сжалится какой-нибудь милиционер, и не спросит: "Девочка, чего ты плачешь?" Поэтому я должна хотя бы запомнить адрес Литовского Постпредства — улица Воровского, 24 — и попросить милиционера, чтобы он меня туда отвел. Я ушла обиженная: он все еще считает меня маленькой. К счастью, его предсказания не сбылись. Летела я не одна, а вместе с представителями еще шести министерств. На автобусе до центра ехала вместе с ними. И потом, в Постпредство добирались все вместе. Жили в самом Постпредстве, в общежитии для приезжающих в командировку. В Министерство финансов тоже отправлялись по утрам гурьбой. А там только в первый день было неуютно от такого множества коридоров и дверей. Но вскоре я запомнила дорогу к "своему"

кабинету и на остальные не обращала внимания. Московским "Логиновым" оказалась женщина. Суровая, неразговорчивая, но зато не выражала недовольства, что мы расплодили слишком много артистов и не говорила, что учить "пиликать на скрипке" вместо профессоров могут обыкновенные преподаватели. Она тщательно, даже придирчиво, проверяла каждый расчет, все сверяла с выполнением плана за прошлый год. Мои устные объяснения слушала неохотно. А когда я упомянула "Лесных братьев", резко оборвала: — Идет классовая борьба. Спасибо, что по крайней мере не удивилась моему неподходящему для начальника отдела возрасту. Правда, я ее сразу предупредила, что меня прислали только как временно исполняющую обязанности. Зато приехавшие из других республик настоящие начальники отделов — как нарочно, все солидные мужчины — не скрывали своего удивления. А пожилой грузин просто смущал своей чрезмерной заботливостью. То спрашивал, не обижают ли меня здесь, то — не голодная ли я, притворно серьезно интересовался, взяли бы его в Литве на работу, или он уже слишком стар? А под конец не удержался, и впрямую спросил, сколько же мне лет. Я промолчала. — Но, по крайней мере, двадцать два уже есть? — допытывался он. Я ответила, что почти. Хотя до этого "почти" еще не хватало целых трех лет… В последний, уже свободный день, я поехала в Антифашистский еврейский комитет. Михоэлс слово сдержал, и тетрадь для меня оставил. Я ее сразу узнала. Но все равно, выйдя за дверь, стала быстро листать. Проглядывать знакомые записи. …Пришел эсэсовец. Начал отбирать самых крепких. Поняв, что он отбирает для работы, все ринулись к нему с криком, что они здоровы, и хотят работать. Эсэсовец стал нас избивать, отгоняя всех от себя. Но не мог справиться: жажда вырваться заглушила страх. Только вытащив револьвер, он разогнал нас. Отобрал пятьсот женщин, и увел. Я осталась тут… … В нашем бараке ежедневно умирают по сорок-шестьдесят женщин. У дверей постоянно лежат горы посиневших на морозе трупов. Приезжает телега, в которую впряжены четыре лагерника. Двое других берут замерзшее тело за руки и за ноги, и, раскачав, бросают туда, на груду таких же голых трупов. … Рано утром пришел надзиратель и заявил, что те, кто в состоянии идти пешком, должны быть готовы к уходу отсюда. Нас переведут в другой лагерь. Я идти пешком не смогу… Все, кто только мог, покинули барак. Я оглянулась. Остаются только трупы и те, кто не в состоянии даже сесть… Нет, я не останусь! Пусть будет, что будет, но только не лежать и не ждать, когда подожгут барак. Покачиваясь, выхожу. Меня, кажется, и теперь зашатало. Нет, нет! Я иду прямо. Мне вернули мою тетрадь. Я в Москве. Но было

очень странно, что я, которая теперь идет по шумной московской улице, и все эти дни в Министерстве финансов СССР объясняла трудное положение театров, музеев, консерватории — та же самая я, которая тогда была в лагере… Когда вернувшись из Москвы, я пришла на работу, то с удивлением узнала, что уже не временно исполняю обязанности начальника планово-финансового отдела, а *назначена* начальником этого отдела. Оказывается, ожидалось какое-то решение Государственной штатной комиссии СССР, по которому все вакантные должности будут сокращены. И Банайтис, видно, побоялся, что пока они найдут замену Печюрене — она была намерена после рождения ребенка уволиться — эту штатную единицу ликвидируют, и назначил меня. За моим столом уже сидела красивая блондинка, намного старше меня. Когда нас знакомили, она, кроме обычного "очень приятно" и фамилии — "Яникене", зачем-то добавила: "мама троих детей". Теперь у меня стало не только больше работы, но и появились заботы. Главная — чтобы вовремя открыли финансирование. А Логинов любил затягивать. Но самым трудным было выпрашивать у него, чтобы открыл это финансирование как бы авансом, в счет будущего квартала, потому что театры оставались без денег даже на зарплату. Тут уж я выслушивала от него много всякого… И все равно мне эта работа нравилась. Смущало только, что Яникене всерьез обращается ко мне: "товарищ начальник". И вообще, что я — начальник. Стеснялась ей сказать, что в каком-то отчете обнаружила ошибку, или напомнить, что приближается срок сдачи очередного отчета, а она еще не начала его составлять. А стоило ей, придя на работу, пожаловаться, что заболел кто-то из детей, я, торопясь опередить ее просьбу с непременным "товарищ начальник", предлагала идти домой. Болели дети довольно часто, так что составлять отчеты вместо нее приходилось самой, после работы. Я только старалась не засиживаться слишком поздно, — теперь я жила далеко, и по дороге домой надо было проходить мимо развалин. Днем они казались нестрашными, а в темноте почему-то пугали. Папа продолжал недоумевать, как я могу справляться с такой работой без специальных знаний. А мне казалось, что никакие особые знания не нужны. Я переживала совсем из-за другого: что со мной говорят только о планах, сметах, дотации, потому что не умею, как другие, вести умные разговоры о художниках, спектаклях, книгах. И хотела писать. Но о чем? Это в детстве я выдумывала разные сказки о принцессах, графах и графинях. А какие теперь графини, какие принцессы… Поэтому я лишь изредка изливала на бумаге свою тоску по маме, Раечке, Рувику. Правда, неожиданно, узнав, что объявлен

республиканский конкурс, написала пьесу. Скоропалительно, за три недели, — столько времени оставалось до срока ее представления — и, как того требовалось по условиям конкурса, из современной советской жизни. Отзыв о ней члена жюри, известного писателя Ю.Балтуширса, содержал горькую правду: "она написана на низком идейно-художественном уровне", в ней "не подняты актуальные проблемы, которыми живет советская молодежь", автор, очевидно, "незнаком с основными требованиями к драматургии" — необязательные диалоги замедляют и так вяло текущее действие, хотя автор, по всей видимости, молодой (пьеса подавалась под псевдонимом, и я назвалась М.Юрайте) пером владеет. Но эта крохотная похвала, и советы глубже изучать жизнь, и читать классиков не утешили…

КАК ПОГИБ ДЯДЯ МИХЕЛЬ

Эту весть папа привез из Москвы. Теперь он довольно часто ездил туда по делам ВЮЗИ*(*ВЮЗИ — Всесоюзный юридический заочный институт. Его филиалы были почти во всех союзных республиках. В послевоенной Литве такой филиал был особенно необходим, — работавшие в довоенной Литве или в годы гитлеровской оккупации судьи, прокуроры и следователи (даже по гражданским делам) были уволены, а у многих вновь назначенных — хотя формально судей выбирали — не было юридического образования.) Когда ему поручили организовать в Вильнюсе филиал института, Кира Александровна была недовольна. Уверяла, что зря согласился, и напрасно тратит на это столько сил и времени. Как только он все наладит, найдут члена партии, притом более подходящей национальности, и его уволят. Папа привычно отмалчивался или отвечал, что никакая работа не бывает напрасной, а для него работа — лучшая поэзия. Но, видно, понимал, что Кира Александровна может оказаться права, и основную работу не оставил. Директором института, то есть вильнюсского филиала согласился стать по совместительству. Из последней поездки вернулся грустный. Оказывается, в Москве он встречался с гостившим там французским писателем Луи Арагоном (чем очень напугал Киру Александровну, — ведь за иностранцами следят). Арагон рассказал, как погиб дядя Михель — папин младший и самый любимый брат. Обещал прислать копию своей статьи "Адвокаты обвиняют", которая была опубликована в подпольной газете сразу после их гибели. Дядю и еще несколько известных адвокатов, врачей и, как Арагон выразился, "людей умственного труда" арестовали в начале 1941-го года, объявив их заложниками, и бросили в лагерь Руайё близ Компьена. Там среди арестованных сразу выделились три адвоката — Питар, Хаже и Рольникас. Чтобы поддержать силы и дух узников лагеря — а их было более тысячи двухсот — организовали фонд взаимопомощи, читали лекции, которые слушатели называли "университетом в оковах", и даже устраивали какие-то театральные представления. В лагере их за это так любили и уважали, что немцы не решились увезти их на казнь открыто, днем. Вместе с еще девятью заложниками увезли тайком, ночью, в наручниках. На тех же крытых грузовиках были поставлены предназначенные для них гробы… Остаток ночи продержали в Сантэ, куда они когда-то, исполняя свой служебный долг, приходили к своим подзащитным. Там им объявили о предстоящей казни, и, соблюдая ритуал именно

казни, разрешили написать прощальные письма родным. На рассвете их доставили к месту расстрела — в Мон-Валерьен. Мужество и достоинство, с которым они держались, видно, подействовало даже на палачей, — пришлось уступить требованию узников умереть свободными людьми, и снять с них наручники. Дядя отказался и от повязки на глаза. Впоследствии кто-то рассказал Арагону, что присутствовавший при расстреле наместник Гитлера во Франции фон Штюльпнагель, когда дядя уже был мертв, пнув его тело ногой, все же признал: "Да, это был человек!" А на следующий день по всему Парижу были расклеены объявления, точнее — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, уведомлявшие о том, что некий подлый убийца совершил нападение на немецкого солдата. (Это был обычный прием гитлеровцев). В качестве меры репрессии за такое преступление казнены следующие заложники. Возглавляли список Питар, Хаже и Рольникас. К фамилии дяди еще было добавлено — "JUIF" — еврей. Подписал это Предупреждение тот же фон Штюльпнагель — генерал от инфантерии, военный комендант Франции.*(*В 1950-том году останки казненных тогда заложников были перевезены на кладбище Пер ля-шез, и похоронены в общей могиле. На доме, где дядя жил — улица Гамбетта, 43 — установлена мемориальная доска.) Я видела дядю, когда он приезжал в 1939-том году, незадолго до нападения Гитлера на Польшу, на свадьбу своей сестры. Все, и особенно наша бабушка, очень волновались, — ведь ему придется проехать через всю охваченную ненавистью к евреям Германию. Но дядя приехал. Видно, понимал, что следующей встречи может не быть… Меня он учил петь французские песенки, угощал конфетами, а на свадьбе танцевал не только со взрослыми, но и со мной. Потом, в 40-ом году, он прислал фотографию, на которой он был снят уже не в адвокатской тоге, а в форме капрала французской армии. Письмо было на французском языке. И ответ просил писать по-французски. Папа объяснил, что во время войны вводится цензура, а во французской цензуре вряд ли есть знающие еврейский язык. Поэтому писала ему, конечно, под бабушкину диктовку, я. Правда, ей приходилось ограничиваться только теми словами, которые я знала. О том, что бабушка умерла после того, как новая, советская власть национализировала ее магазинчик — дело всей ее жизни, папа успел ему написать. Хотя дядя вряд ли получил это письмо, — к тому времени в Париж уже вошли немцы. А что дедушку и всю родню расстреляли на два месяца раньше, чем его, он так и не узнал. В предсмертном письме к жене просил, как можно дольше скрывать от родителей правду. Только скрывать уже было не от кого… Папа эту, дошедшую через

годы весть о смерти брата, переживал очень тяжело, ведь дяде было всего тридцать три года…

ГИБЕЛЬ МИХОЭЛСА

Видно, не зря говорят, что плохие вести не ходят в одиночку. Прошло совсем немного времени, и всех потрясло сообщение, что в ночь на 13 января 1948-го года погиб Соломон Михоэлс. Он как член Комитета по Сталинским премиям, был в Минске на просмотре выдвинутого на премию спектакля и попал в автокатастрофу, угодил под "студебеккер". Когда перечисляли почетные звания Михоэлса — народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, профессор, называли сыгранные роли, мне казалось, что все это — о каком-то другом, "официальном" Михоэлсе, а не о том немолодом человеке с добрыми глазами, который тогда, во дворе Юденрата так сочувственно слушал мой рассказ. Но это был тот самый Михоэлс — Король Лир, Тевье-молочник. А во время войны он — председатель Антифашистского еврейского комитета, вместе с писателем Ициком Фефером ездил по городам США, Канады, Мексики, Великобритании, после чего в Фонд Обороны поступили значительные средства. Говорили, что Сталин тоже очень переживает гибель Михоэлса, что потребовал немедленно найти виновника аварии, что следствие поручено вести одному из лучших следователей по особо важным делам Прокуратуры СССР Льву Шейнину, и он уже выехал в Минск, что Сталин подписал решение о присвоении еврейскому театру имени Михоэлса, об оказании материальной помощи семье и об установлении стипендий имени великого актера в Еврейском театральном училище и других театральных учебных заведениях. На работе я могла говорить о Михоэлсе только с одним человеком — Изей Кремерисом. До войны он был артистом Каунасского еврейского театра. Когда началась война — а Каунас бомбили в первое же утро — он решил немедленно уходить, — понимал, что ждет евреев. В армию из-за дефекта зрения его не взяли, и он всю войну работал в Литовском художественном ансамбле в Переславле. Ансамблем тогда руководил Банайтис. После возвращения в освобожденный Вильнюс Банайтис, став к тому времени начальником Управления по делам искусств, взял его на работу в театральный отдел. Кремерис видел почти все спектакли с участием Михоэлса, бывал в училище театра, а когда по решению Правительства для Литвы создавался Русский драматический театр (каждой республике полагалось иметь и русский театр) — то общался с Михоэлсом непосредственно, — театр организовывался в Москве. В Вильнюс труппа должна была приехать с готовыми двумя-тремя спектаклями. Для этого в

гостинице "Москва" было снято помещение, в котором труппа репетировала. Там же проводились встречи с режиссерами и артистами столичных театров. На некоторые их этих встреч Кремерис приглашал и Михоэлса. После гибели Михоэлса я Изю Кремериса часто расспрашивала о нем. Однажды — уже был конец рабочего дня — Кремерис тихо, чтобы не слышали другие, попросил после работы подождать его. Мы вышли последними. Шли молча. И я недоумевала — зачем он просил подождать его. Когда мы пересекали почти безлюдную Кафедральную площадь, он сказал: — Михоэлс погиб не в аварии. Его убили. — Но ведь… — я сама не знала, что "ведь"… — Михоэлса и его спутника нашли на такой улочке, куда "студебеккер" не мог заехать. — Но может… шофер, испугавшись, их туда затащил? — Нет. Человек, который был на похоронах и стоял возле гроба, не видел никаких следов наезда. — Может, только на лице нет, а на теле… — Накануне панихиды, ночью, мертвого Михоэлса рисовал его друг, художник. Он видел и тело. Даже царапины нет. Есть только тщательно загримированная вмятина у виска, явно от сильного удара. — Удара?! Но Кремерис на мое изумление не обратил внимания. — И послали его на просмотр спектакля с участием артистки, которая выдвинута на Сталинскую премию, хотя ее самой в те дни в Минске не было. К тому же перед самым отъездом Михоэлса в Минск, заменили человека, который должен был его сопровождать, другим. Видно, потому, что он — бывший минчанин. Значит, земляки будут приглашать его в гости, и, конечно же, с Михоэлсом. А из гостей возвращаются поздно… Смерть Михоэлса — не просто утрата выдающейся личности. Завершилась целая эпоха в истории не только еврейского театра. И хотя художественным руководителем назначен тоже очень хороший актер, Зускин — кстати, он родом из Паневежиса — и театр вроде работает, он уже совсем не тот. Люди опасаются туда ходить. Билеты на спектакли выкуплены все, а зал во время спектакля полупустой. Я не поняла, почему люди опасаются ходить в театр… Спросила. Но Изя не ответил. И вообще больше ничего не сказал. А вскоре попрощался, и свернул на свою улицу. Потрясение не проходило. Кто и*почему* убил такого человека? Я нетерпеливо ждала, чтобы следствие это выяснило. Однако дни шли за днями, а ни по радио, ни в газетах ничего не сообщали. И я стала спрашивать — может, кто-нибудь что-нибудь знает, может, слышал. И, конечно, не говорила того, что мне рассказал Кремерис.*(*Как стало известно много лет спустя, Михоэлса и его спутника Голубова убили на даче Министра госбезопасности Белоруссии Л. Цанаева, а их трупы подбросили под машину.)

ОПЯТЬ НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Кто-то узрел в моих расспросах "проявление нездорового интереса к гибели народного артиста СССР Соломона Михоэлса". Меня вызвал Банайтис. Непривычно сурово, глядя на лежавший перед ним напечатанный на машинке листок, спросил, почему я проявляю такой повышенный интерес к подробностям гибели Михоэлса. Не дав мне ответить, сказал, что я больше не смогу работать в Управлении по делам искусств. Я оторопела и не сразу поняла, что еще он говорит… В Филармонии есть вакантная должность музыкального редактора. Он уже договорился с директором Федаравичюсом, а чтобы не было перерыва в стаже — оформит в приказе, как перевод… И, засовывая злополучный листок в ящик, уже не так строго добавил, чтобы я на новом месте подобных ошибок не повторяла. Едва дождавшись конца рабочего дня, я побежала к папе. Он очень расстроился, а Кира Александровна принялась меня упрекать, что своим любопытством я навлекла беду и на отца, и на нее, и на Миру. *Они-* и показала на потолок (над ними, на втором этаже, жил работник госбезопасности) — ничего не прощают. Папа терпеливо ждал, пока она выговорится. Видя, что я и так очень огорчена, в излишнем любопытстве не упрекнул, сказал только, что в Филармонию меня не возьмут, потому что у меня нет музыкального образования. Хорошо хоть, что пощадил, не добавил, что даже обыкновенного среднего образования у меня нет. Наутро я побрела в Филармонию. Может, там найдется какая-нибудь другая работа. Только какая? Планово-финансового отдела там нет, сметой и отчетами занимается бухгалтерия. А что еще я умею? Меня обогнали, слегка задев и извинившись, две школьницы. Они торопились. Наверное, скоро звонок. Если бы я могла быть такой, как они… И бояться только опоздать на урок… На работу тоже нельзя опаздывать. Хотя на работу ли иду? Как только Федаравичюс узнает, что у меня нет музыкального образования, скажет, что принять не может… Про музыкальное образование он не спросил. Сразу стал объяснять, что я должна буду делать. Во-первых, составлять на литовском и русском языках тексты афиш. В последнее время их писал администратор, который занимается рекламой, и афиши выходили с ошибками. Во вчерашней, например, он в названии "Фантазии Чайковского на тему рококо", это "рококо" написал через два тире. Во-вторых, я должна буду перед концертом давать ведущему правильно переведенные названия исполняемых произведений. Ведущий — парень местный, русский, литовский язык знает плохо. На днях

песню Мокроусова "Заветный камень" назвал "заколдованным", а с романсом Глинки "К Молли" и вовсе получился конфуз: хотя он студент Консерватории, но, видно, подумал, что речь идет о моли, которая летает. Я хотела сразу предупредить, что тоже не знаю, как пишется "рококо", и как надо было правильно перевести название романса Глинки. Но не решилась прервать, и только ждала удобного момента, чтобы спросить нет ли какой-нибудь другой работы. Но тут он произнес знакомое слово "отчет", то есть что я должна буду составлять отчеты для Москвы. Правда, оказалось, что не привычные, а совсем другие, в которых надо перечислять программы концертов, особенно симфонических и камерных. Но сумею ли я составлять именно такие? Попросить другую работу я не успела, — зазвонил телефон. Федаравичюс, недолго поговорив, сказал, что передает трубку "нашему новому музыкальному редактору", который все и запишет. Мне же он шепнул, что маэстро Дварионас продиктует программу своего ближайшего концерта. Руки от волнения дрожали. Я боялась не расслышать, неправильно записать. Стеснялась переспросить: "Зимние грезы" — название этой же, первой симфонии Чайковского, или еще одного произведения? Решила, что сама узнаю — когда шла по коридору, видела на одной двери табличку "Нотная библиотека". Там спрошу. Сразу отказываться неудобно. А уже потом, составив эту афишу, попрошу другую работу. Библиотекарь — пожилая, невысокого роста женщина в черном халате — очень обрадовалась, что наконец опять услышит свою любимую первую симфонию Чайковского "Зимние грезы". (Так я поняла, что это — одно произведение.) И пока я тщательно, чуть ли не по буквам сверяла напечатанные на партитуре и нацарапанные своей дрожавшей рукой названия, она продолжала восторгаться, какая это прелестная симфония, и перечисляла, в чьем исполнении ее слушала, когда училась в Петербургской консерватории. Я удивилась, что человек, который учился в Петербургской консерватории работает всего-навсего библиотекарем, и едва не упустила дальнейшего: что после событий 1917-го года, к сожалению, пришлось не только Консерваторию оставить, но и вообще уехать из Петербурга. Несколько лет не было никакой возможности заниматься, она потеряла форму. Словом, так сложилась жизнь, что она играет только для себя, здесь, рано утром, до начала репетиций, — дома инструмента нет. Но она все равно счастлива, что живет в мире музыки, что может ее слушать. Тут бывают такие прекрасные концерты! Приезжают московские и ленинградские дирижеры, солисты. Под конец она спохватилась, что не представилась. Ее зовут Ольга Дзимитровская. Приглашала еще заходить, и сказала,

что очень рада за меня — здесь интересно работать. Составляла я этот проект афиши очень старательно. Слева — на литовском языке, справа — на русском. Печатать на литовской машинке было просто, — у папы до войны была похожая, только "Континенталь", и мне нравилось "выстукивать" на ней свои стишки для подружек и сказки о зарытых кладах, заколдованных принцессах и рыцарях, которые их спасают. Да и в Управлении по делам искусств я сама печатала свои приложения к отчетам и сметам. А тут пришлось печатать и на русской машинке — недавно принятая на работу секретарь-машинистка Рашкаускене еще только училась печатать и то лишь на литовской. Спрашивать в первый же день у Федаравичюса, нет ли какой-нибудь другой работы, я постеснялась. Отложила на завтра. Но на всякий случай по дороге домой зашла к папе за русско-литовским и литовско-русским словарями, которые Йонайтис тогда спас вместе с другими его книгами. От Киры Александровны я узнала, что Молли — это имя, и романс Глинки обращен к ней, "к милой Молли моей". Назавтра я еще тоже не решилась попросить другую работу. А когда на третий день увидела *свою* афишу, расклеенную по всему городу, почти загордилась, что все видят и читают то, что я написала. Возле каждой останавливалась, перечитывала, проверяя, нет ли ошибки, хотя понимала, что все они одинаковы. Так я другой работы и не попросила. Мне стала нравиться эта, даже больше, чем прежняя, в Управлении по делам искусств. Правда, всякий раз, отдавая администратору макет афиши или ведущему незнакомые, впервые встречающиеся названия, я очень волновалась. Специально завела толстую тетрадь, и вписывала туда из разных книг и брошюр о композиторах названия их произведений, тональность, номер опуса, год написания. А программы концертов-лекций вскоре уже помнила наизусть, они повторялись.

ОНА НОСИЛА МАМИНЫ ПЛАТЬЯ…

Чем более очевидным немцам становилось их поражение на войне, и чем чаще они вынуждены были признать — правда, с непременной оговоркой — что "для выравнивания линии фронта" или "в стратегических целях", или "временно, нанося противнику большой урон" — они оставили такой-то город, тем яростнее геббельсовская пропаганда нагнетала страх против большевиков. В Прибалтике, и, в частности, в Литве это нагнетание ложилось на благоприятную почву: в памяти еще свежи были предвоенные депортации в Сибирь, и естественен был страх, что, вернувшись, коммунисты опять будут отправлять в Сибирь, "к белым медведям". Поэтому, когда советская армия приблизилась к Литве, вместе с отступающими гитлеровцами бежали не только их пособники, но и ничем не запятнавшие себя люди. В панике и спешке теряли друг друга, разлучались семьи. Так оказалась в Германии и хористка оперного театра Текле Рашкаускене с четырьмя детьми. Советской власти, вернее, ее авторитету, такое бегство от победителей к побежденным нанесло ощутимый урон. Поэтому правительство прилагало немало усилий, чтобы всех — как оно уверяло, насильно угнанных немцами или введенных ими в заблуждение — вернуть обратно. И не только их. Дело в том, что в США, Канаде и странах Латинской Америки проживало много литовцев, уехавших туда на заработки еще в двадцатые годы, из давней, буржуазной Литвы. Теперь же возвращение эмигрантов из капиталистической страны на строящую социализм родину могло бы послужить веским доказательством преимущества нового общественного строя перед прежним. С этой целью специально для зарубежных соотечественников выпускалась газета "Родной край". Она живописала успехи на родной земле и подогревала ностальгию по ней. Местным читателям эта газета была недоступна, даже в типографии к станку, на котором ее печатали, запрещалось подходить. Автор опубликованного в этой газете стихотворения, очерка, статьи получал не весь номер, а только вырезку со своим произведением. В тех странах, где оказались большие колонии литовцев, секретарем Советского посольства для работы среди них назначался представитель Литовской ССР. Но ощутимый результат был достигнут лишь однажды, когда из стран Латинской Америки вернулась довольно большая группа именно давних, довоенных эмигрантов. Их встретили торжественно, с оркестром, кинохроникой, цветами. Сразу предоставили квартиры и работу. Однако реальная жизнь на родине настолько отличалась от обещанной, что вскоре почти все уехали обратно. Правда, уже

тихо и незаметно. Из тех, кто в 1944-том году покинул вслед за отступающей гитлеровской армией, вернулись лишь очень немногие. В основном женщины с детьми. Главным образом потому, что мужей к ним не выпускали. И хотя встречали без музыки, окружили особой заботой и вниманием. Каждый член семьи получил денежное пособие и одежду. Никому не пришлось самим беспокоиться о работе — ее им подобрали. Таким образом, была определена в Филармонию секретарем-машинисткой бывшая артистка оперного хора Рашкаускене, очевидно, больше не подходившая для прежней работы. Как она уверяла, в Германию с четырьмя детьми она отправилась исключительно потому, что была уверена — мужа, дорожного мастера, в дни боев работавшего далеко от дома — вывезли немцы. В Германии она с детьми оказалась в лагере для перемещенных лиц. Долго разыскивала мужа, и, узнав, что он в Вильнюсе, решила вернуться. Однажды мы вышли с работы вместе. Оказалось, что она тоже идет по Немецкой, то есть теперь Музейной улице. Правая сторона все еще лежала в руинах. Неожиданно Рашкаускене, показав на них, сказала: — Мы тут жили. Во втором доме от угла, Немецкая, 26, квартира 10. Но это же наша квартира! Хорошо, что вслух не вырвалось. Мы продолжали идти рядом. Я боялась на нее взглянуть. Она, эта женщина, жила в нашей квартире. И ее муж, и дети. Сидела за нашим обеденным столом. Она, наверно, на мамином месте, а ее муж — на папином. И спали в родительской спальне. Старшие мальчики — в нашей с Мирой комнате, а младший и девочка — на Раечкиной и Рувика кроватях. Рашкаускене еще что-то говорила. Что старший сын быстро растет, уже носит отцовские брюки… Дочке пришлось перешить платье из своего… Подала заявление в местком, — говорят, в конце месяца будут выдавать ордера на чулки. Наконец она попрощалась, и свернула на Траку. Я шла одна. Говорила себе, что надо думать о другом. Вот костел, за ним архив. Там Мира пряталась… Интересно, та запасная дверь, которую Стакаускас тогда специально вырубил, осталась, или ее замуровали? Ведь она больше не нужна… Хорошо, что памятник композитору Монюшке в скверике уцелел. Ария из его оперы "Галька" мне очень нравится. Надо будет узнать, какие еще оперы он написал. Но ничто не помогало. Было только одно — Рашкаускене жила в нашей квартире. Мы были в гетто, а они жили в нашей квартире. Ночью вернулось и другое… Мама очень страдала от того, что мы голодаем, хотя даже Раечка с Рувиком никогда не хныкали, что хотят есть. Но она же понимала, видела. И решилась пойти на нашу старую квартиру. В ней, наверно, кто-нибудь живет. Может, отдадут что-то из вещей. Она их выменяет

на хлеб, крупу. Нам мама о своем намерении ничего не сказала: мы бы взмолились этого не делать, — в квартиру мог вселиться немец. Да если и не немец, все равно неизвестно на кого она нарвется. И одним темным зимним вечером, возвращаясь с бригадой с работы, мама улучила момент, когда вблизи не было прохожих, сорвала с себя желтые звезды и шагнула на тротуар. Шла в бывшую нашу квартиру, хотя каждое мгновение ее могли узнать, остановить, и… Дверь открыл мужчина. Штатский. (Значит, муж Рашкаускене?) Только дальше передней он маму не пустил. Сказал, что ничего не может отдать, потому что немцы все описали. Дверь в столовую была открыта, и мама видела, что на столе по-прежнему лежит наша темно-зеленая скатерть. Попросила отдать хотя бы ее, или ту вазочку с буфета — за нее, наверно, дадут две буханки хлеба. Но он повторял, все описано. Тогда мама спросила, можно ли ей подняться на чердак, там было сложено много старых вещей, их немцы вряд ли описали. Он ответил, что подниматься не имеет смысла, — там ничего нет. Однако мама стала так умолять, что в конце концов он, ворча, что ей вообще нельзя тут находиться, что если ее тут застанут, им будет плохо, все же разрешил подняться, только на одну минуту, чтобы самой убедиться — там ничего нет. Чердак на самом деле был совершенно пуст. Пол подметен, посыпан опилками. Только в самом дальнем углу стоял прислоненный лицом к стене папин портрет, раньше висевший в его кабинете. Мама вынула его из рамы, и спрятала под одеждой. Лишь этот портрет и унесла из нашего дома, где все, даже кастрюли на кухонных полках стояли на прежних местах. Опять рискуя, что ее могут узнать, и долго простояв в темной подворотне, выжидая, когда мимо будет проходить какая-нибудь возвращающаяся в гетто бригада, она снова нацепила желтые звезды и наконец вернулась. Достала папин портрет и примостила его на ящике в нашем углу. Теперь папа тоже был здесь. И все время смотрел на нас… Все же муж Рашкаускене маму не выдал. И не угрожал, что выдаст. Только ворчал, что ей нельзя тут находиться, боялся, чтобы ее не застали. И, в конце концов, все же пустил на чердак убедиться, что там ничего нет. Другой на его месте мог маму выдать. Или припугнуть, что выдаст. А он только ничего не отдал. Да и самой Рашкаускене с детьми потом, в Германии, было несладко. Все равно я очень хотела, чтобы еще не скоро рассвело. Утром надо будет пойти на работу, встретиться с нею, разговаривать. Однако рассвет наступил, и, как я ни тянула, как ни медлила, а пришлось идти. И только по дороге я вдруг удивилась, что она мне об этом рассказала, то есть в какой именно квартире жила! Знала же, что в нашей. Конечно, знала. В папином кабинете нижние полки

обоих шкафов были забиты папками с делами его клиентов, которых он защищал в суде. И на обложке каждой крупными черными буквами напечатано: "Д-р юр. Г.Рольникас". Так почему же она призналась, что жила в нашей квартире? И ничего не объясняла, не оправдывалась. Даже эти несколько слов бросила как бы невзначай, между прочим. Неожиданно я догадалась: она, наверно, не знала, кому это говорит! То есть не знает моей фамилии. Конечно, не знает, я же в Филармонии моложе остальных и меня называют просто по имени. Значит, я должна делать вид… Нет, не смогу. Не сумею. И Рашкаускене это заметит. Спросит, что со мной. Что я смогу ответить? Что скажу? Но Рашкаускене ничего не заметила. Попросила напечатать на русской машинке какое-то письмо в Москву. Потом зашла за этим письмом и предупредила, что завтра будет собирать членские взносы ДОСААФ, а (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту). И в следующие дни все было так же, как раньше. Только теперь я старалась уходить с работы после нее, чтобы она не предложила пойти вместе. А в один, как обычно говорят, прекрасный день меня позвала в репетиционную наша солистка Алдона Репшите. Я как раз незадолго до этого перевела ей песню Дунаевского, и подумала, что она будет просить что-то подправить — то ли не совпало ударение, то ли буква "у" пришлась на высокую ноту, и ее трудно брать. Но рояль в репетиционной был закрыт, и концертмейстер уже ушел. Оказалось, она меня позвала, чтобы сказать, что больше не может видеть, как я помогаю Рашкаускене, работаю за нее, а ведь она при немцах жила в нашей квартире и носила платья моей мамы. Весь оперный хор — сама она тогда тоже там работала — знал об этом, то есть, что Рашкаускене живет в квартире адвоката Рольникаса и носит вещи его жены… Я молчала, и Алдона, видно, подумала, что не верю. Стала доказывать. Вишневое платье у моей мамы было? Я кивнула. А черное, явно выходное, с серебристой отделкой вокруг воротничка? Было. А голубое пальто? А беличья шубка и такая же шапочка к ней? Тоже были… Перечислив все, Алдона ушла. Я осталась в репетиционной одна. И… видела маму. В этом вишневом платье. И в черном платье с серебристой отделкой вокруг воротничка. Это платье она сшила к свадьбе тети Песи. Я видела ту, красивую, давнюю маму. В детстве я ее донимала просьбами никогда не быть такой старенькой, как бабушка. И она, смеясь, обещала. Старенькой мама не стала. И в гетто не постарела, а словно усохла. Какая-то довоенная знакомая ее не узнала. Они стояли рядом в очереди за хлебом, и та вздохнула, что такое же платье, тоже с кармашками в виде тюльпанчиков было у ее знакомой, жены адвоката

Рольникаса. Чтобы ее не смутить, мама не призналась, что она и есть жена адвоката Рольникаса…. В гетто одно только это платье у нее и было. Потому что когда солдаты выгоняли из дома, и на сборы дали всего пять минут, мама стала поспешно бросать в детскую ванночку все для нас, особенно для малышей — пальто, ботинки. Потом впряглась в эту ванночку и тащила ее по мостовой. А ее платья остались висеть в шкафу. И их носила Рашкаускене, которая там, в приемной, что-то выстукивает на машинке. Значит… Я испугалась вдруг мелькнувшей мысли. Значит, она и теперь может прийти на работу в чем-нибудь мамином. Конечно, может… Я этого так боялась, что каждое утро, приходя на работу, со страхом открывала дверь в директорскую приемную, и, не поднимая глаз, шла к столику, где лежала раскрытая тетрадь — надо было расписываться, что пришла на работу. И все же не удерживалась, украдкой взглядывала на Рашкаускене — в чем она. Увидев, что в обычной, уже после возвращения полученной из американских посылок юбке и кофте, немного успокаивалась. До следующего утра. Постепенно страх стал притупляться. Может, оттого, что его вытеснило другое…

И СНОВА ССЫЛАЮТ В СИБИРЬ…

Началось это "другое" с раздавшегося поздним вечером стука в окно. Вообще-то я к таким неурочным визитам привыкла. Дело в том, что трое вокалистов и один пианист совмещали работу у нас с учебой в консерватории. Вернее, учебу совмещали с работой. И когда какой-нибудь концерт, прослушивание или репетиция совпадали с занятиями, они просили кого-то заменить, что-то перенести. Если такая необходимость возникала неожиданно и срочно, они иногда приходили вечером ко мне домой. А чтобы звонком в дверь не разбудить соседских детей (тем более, что соседом был заместитель директора филармонии), стучали в окно. Благо, я жила на первом этаже. Поэтому и на сей раз знакомый стук меня не удивил. Отодвинув занавеску, увидела, что там Митя с Сережей, и только подумала: что опять? Ведь Сережа уже днем попросил заменить "Весенние воды" Рахманинова другим романсом, там очень сложный аккомпанемент, и он не успел выучить. Вошли они непривычно мрачные. Долго молчали. Наконец Митя сказал, что принес мне доверенность на свою зарплату, чтобы в случае чего я ее получила и отдала его матери. Я не поняла, зачем мне доверенность. Он же никуда не уезжает, гастролей нет. Правда, резануло это "в случае чего". И Митя рассказал. Днем к ним явился какой-то тип, и, ничего не объясняя, стал осматривать квартиру. Постоял в первой комнате, обвел взглядом вторую. Спросил, которая из них его, Митина. Был недоволен, что квартира на мансарде, что кухонька маленькая, окошко под самой крышей. И лестница крутая, без перил. Ушел, оставив всех в недоумении — кто он и зачем приходил. Митя уверен, что он — из "органов", и пришел осматривать комнату, которая, видно, ему достанется. А это значит, что его, Митю, сошлют в Сибирь, ведь опять начали ссылать… Маму, может, не тронут, иначе этот тип не спросил бы, которая комната его. Я старалась Митю успокоить, уверяла, что его не за что отправлять в Сибирь, он же только певец. И поет советские песни. Объяснил Сережа. Оказалось, что Митин отец — священник, и его забрали еще в 41-ом году. С тех пор от него нет никаких вестей. Тогда Митю с матерью оставили в покое, а теперь… Теперь это еще и хороший способ освободить жилье для кого-нибудь из своих сотрудников. Из деревень выселяют целыми семьями, считается — за связь с бандитами, которые в окрестных лесах. А поскольку Митин единственный "грех" — что он сын священника, он надеется, что мать не тронут. Поэтому он и принес доверенность на свою зарплату. Будет ей

хоть на первое время. Мои уверения, что тому человеку жилье ведь не понравилось, не помогли. Оставив на столе доверенность, Митя с Сережей ушли. После их ухода я не могла лечь спать. Сидела на диване, уставившись в темноту. А ведь могут… Могут забрать не только Митю, но и Володю, нашего солиста-баритона. Одно время его не разрешали занимать в концертах. Сперва я думала — за то, что он спел арию Игоря из оперы "Князь Игорь". Но он же тогда не знал, мы никто не знали, что исполнять ее "не рекомендуют"*. (*"Не рекомендовали" после того, как в Эстонии, во время исполнения этой арии, когда зазвучало: "О, дайте, дайте мне свободу!" зал зааплодировал. Позже, после смерти Сталина, прежний запрет был снят, и оперу "Князь Игорь" поставили в Государственном театре оперы и балета Литовской ССР.) Потом Федаравичюс намекнул, что дело в чем-то другом — Володя, кажется, до войны был офицером польской армии, и что-то о нем выясняют. Через некоторое время занимать его в концертах разрешили. Правда, только в безафишных — в клубах, концертах-лекциях и на периферии… Значит, теперь его тоже могут выслать? Могут. Любого человека могут… И Йонайтиса?! За то, что отказался вступить в партию. Вначале он согласился. Коллеги сами вызвались дать рекомендации. И действительно дали. Но несколько дней тому назад, когда парторг напомнил, что ждет его заявления, Йонайтис ответил, что в партию, которая отправляет ни в чем неповинных людей в Сибирь, он вступать не будет. Теперь его сошлют! За такие слова наверняка сошлют. Что же делать? Еле дождавшись утра, побежала к папе. Сбивчиво рассказала об отказе Йонайтиса вступить в партию, о своем страхе, что его сошлют. Спросила, что делать, куда пойти? Может, в райком, в горком. Надо же рассказать, какой он человек, как во время оккупации рисковал жизнью, чтобы нам помогать. Приносил нам к гетто хлеб. А однажды, случайно узнав, что ночью в гетто может быть акция, подкупил какого-то полицейского — потому что во время комендантского часа было запрещено находиться на улице — и простоял с ним всю ночь в темной подворотне недалеко от гетто: если нас поведут, может, удастся хоть кого-нибудь спасти. А еще обязательно расскажу, как в первые дни оккупации, когда немцы свозили на окраину города книги, которые должны были сжечь, он уговорил охранника разрешить ему покопаться в этой горе. И принес домой три тома сочинений Карла Маркса. Хорошо, что я об этом узнала только теперь. Тогда бы со страха за него с ума бы сошла. Спросила, зачем он их взял, это же было очень опасно. Йонайтис только пожал плечами: хотел сам разобраться, такое ли оно правильное, учение Маркса. Об этих его словах, конечно, говорить не надо, но

о том, что он спас от огня три тома Маркса, обязательно скажу. Все выпалив, я нетерпеливо ждала, чтобы папа посоветовал, куда мне идти, или чтобы предложил, что пойдет сам. Но он сказал, что может получиться как раз наоборот, что мы ему навредим. Я не поняла. И папа объяснил. Он немного знает того коллегу Йонайтиса, который теперь парторг, еще по 16-той литовской дивизии. Он не похож на человека, способного доносить. Поэтому вряд ли куда-то сообщил об отказе Йонайтиса и тем более о мотивах отказа. Кроме того, такой чрезвычайный случай и для него самого чреват последствиями. Наше же неожиданное заступничество за Йонайтиса только привлечет к нему внимание и может навести на мысль, что раз мы его защищаем, значит, он в чем-то виноват. Тогда выплывет и отказ вступить в партию, и то, что его сестра с мужем были депортированы еще в 41-ом году. Поэтому, как это ни трудно, лучше ничего не предпринимать. Хоть я и понимала, что папа прав, но сохранить спокойствие было трудно. Я каждое утро до работы бежала в переулок напротив школы, в которой Йонайтис теперь работал, и стояла там пока он не появлялся. Только после этого отправлялась в филармонию. А чтобы убедиться, что Митю с Володей тоже не вывезли, попросила, чтобы в те дни, когда у них нет репетиции, они обязательно звонили. Сослалась на то, что может "выплыть" неожиданный концерт или замена. К счастью, Йонайтиса не тронули. И Митю с Володей тоже. Митя горько шутил: его спасла плохая квартира, видно, тот энкаведешник подобрал себе получше. Теперь я больше не стояла по утрам в переулке напротив школы, перестала беспокоиться — звонили или не звонили Митя с Володей. Было просто хорошо торопиться на работу, а там быть, как меня называли, "BARB* DEVYNDARB*" — Барбе, которая делает сразу девять работ: согласовывает программы концертов, оповещает исполнителей, сдает тексты афиш, составляет расписания репетиций, печатает на машинке, переводит.

СУД НАД МУРЕРОМ

Неожиданно вернулось *то* время: прибежала наша певица Таня и выпалила новость: в Вильнюс привезли бывшего заместителя гебитскомиссара Франца Мурера! Оказывается, он спокойно жил в своей Австрии, где его и узнал бывший геттовец. Тот рассказал английским военным, кто такой Мурер, они его арестовали и передали советским властям, чтобы судить его здесь, где он пролил столько невинной крови. Выговорившись, Таня поспешила еще кому-то сообщить эту новость. Я осталась одна. Та же висела на стене доска объявлений с расписанием концертов и репетиций. И тот же стоял в углу шкаф с афишами. Но теперь все казалось каким-то другим. Да и сама я… Сама я словно снова вернулась в гетто… …Мы сидим, двадцать восемь человек, затаив дыхание, за забитой снаружи дверью, — может, солдаты решат, что за нею — не жилище. С улицы доносятся их выкрики, команды строиться. Время от времени раздаются выстрелы. Значит, еще кто-то пытался сопротивляться, не дать себя увести. Судя по звукам шагов, увели большую партию людей. Но мы все равно сидим так же тихо, — солдаты могут вернуться. Неизвестно, сколько тысяч Мурер распорядился на этот раз расстрелять… …Ждем с работы маму. Очень волнуемся: поставили ли на ее удостоверение штампик, что она — ремесленник. Мурер приказал всех, у кого такого штампика не будет, перевести во второе гетто. Что на его языке значит "перевести"" мы уже знаем… …Объявлен новый приказ Мурера: эти удостоверения больше недействительны. Вводятся новые, желтые. Их получат только очень хорошие ремесленники. В течение одной ночи эти удостоверения необходимо зарегистрировать в Юденрате. На следующее утро обладатели желтых удостоверений выходят на работу вместе с зарегистрированными членами семьи и должны там находиться в течение трех суток. Все остальные остаются в гетто. Что их ждет, мы понимаем… …Рассвело. Приближаемся к воротам. Там Мурер со своей свитой. Он лично проверяет документы. Молодая девушка хочет вывести с собой отца и мать. Мурер их толкает к "забракованным". Но она все равно их тащит. Мурер швыряет ее к стене, достает пистолет… Мы проходим мимо нее, уже мертвой… …По распоряжению Мурера в городе повесили нескольких литовцев и поляков, нарушивших его запрет прятать у себя евреев. …Мурер, как всегда неожиданно, появился у ворот. Следит, достаточно ли усердно полицейские обыскивают возвращающихся с работы. Те со страху еще больше усердствуют.

Нарушителям его запрета вносить в гетто "продукты питания", то есть краюху хлеба или несколько картофелин, сам определяет меру наказания: отправить в тюрьму (откуда, набрав еще несколько десятков или сотню таких же "преступников", их увезут в Панары и расстреляют) или всего лишь проучить двадцатью пятью ударами палкой. Немедленно, при нем. Если ему кажется, что полицейский недостаточно сильно бьет, велит начать счет с начала. Или сам берет палку в руки… Внезапно я очнулась: кто-то заиграл за стеной. На валторне. Я здесь, в Филармонии. Сегодня концерт, и валторнист, видно, пришел пораньше, разыграться. Я в филармонии. Сижу в своей комнате за столом. Приходила Таня. Рассказала, что в Вильнюс привезли Мурера. Что после войны он спокойно жил в Австрии… Мурер жил спокойно. В Австрии. И вдруг меня пронзило: а остальные? Хингст, Нойгебоер, Швайнбергер, Вайс, который лично руководил в Панеряй расстрелами. А ликвидировавший наше гетто Китель? А Штуттгофский садист Макс и все это множество охранников, конвоиров, надзирателей? И те, кто открывали кран с газом? Мне стало страшно. Очень страшно. Я быстро засунула в ящик свои бумаги и выбежала из комнаты. По лестнице тоже бежала. И только оказавшись на улице, среди спокойно идущих прохожих, постаралась идти как все. Но сердце продолжало колотиться. Оттого, что они есть — Хингст, Нойгебоер, Швайнбергер, Вайс, Китель, лагерные охранники, надзиратели. Они есть! Они живы! Но нет! Они не вернуться! На суд папа меня не пустил. Мурера судит военный трибунал. Свидетелей достаточно. К тому же их показания будут более весомыми, потому что, в отличие от меня, они в то время уже были вполне взрослыми людьми. А просто сидеть в зале и смотреть на Мурера мне ни к чему. Я понимала, что папа прав. И самой было страшно опять увидеть Мурера. Хотя теперь он не может махнуть солдатам, чтобы меня схватили. И сам не может в меня выстрелить, как в ту девушку. Но это ведь*тот*же Мурер! Я все равно продолжала твердить, что должна туда пойти, — может, кто-то из свидетелей чего-то не упомянет или забудет, упустит. Не помогло. Сам папа на суде был. Но рассказывал очень неохотно. Только о том, что Мурер вел себя вызывающе: не без ехидства заявил, что его узнал "Jude", который "сбежал от вас, коммунистов". Зато с гордостью говорил о своем вступлении в национал-социалистическую партию, о том, что окончил специальную годичную нацистскую школу, после чего был назначен помощником начальника лагеря для прибалтийских немцев в Познани, а в 1941-ом году направлен в Вильнюс на должность гебитс-референта и адъютанта гебитскомиссара Хингста. Виновным в расстреле в Панеряй более ста тысяч

человек, из них семидесяти тысяч евреев себя не признал. Твердил, что этим занималось гестапо. Сам же он всего лишь по поручению гебитскомиссара Хингста вместе с бургомистром города Дабулявичюсом выбрал место для гетто. Единственное, что прокурору — кстати, он тоже занимается во ВЮЗИ — удалось добиться — это подтверждения, что созданием гетто проводилась в жизнь узаконенная в Германии расовая теория. Свои частые появления в гетто Мурер объяснял тем, что как референт гебитскомиссара, осуществлял, среди прочего, контроль за ценами. Кроме того, он запретил вносить в гетто продукты питания, и проверял, не нарушается ли его запрет. Нарушителей, естественно, наказывал — подвергал избиению. На вопрос прокурора, избивал ли лично, подтвердил, как вполне закономерное, что да, разумеется. Показания свидетелей о проводившихся по его указанию акциях и его личном участии в них, о его садизме и жестокости, слушал подчеркнуто равнодушно. Иногда на лице даже появлялась гримаса презрения к этим "людишкам низшей расы". Приговор трибунала — двадцать пять лет лагеря строгого режима — тоже воспринял хладнокровно, с нескрываемой уверенностью, что вскоре немцы возьмут реванш. Знал бы папа, как последние его слова меня встревожили. Ведь я до сих пор боюсь, что вся теперешняя жизнь — ненадолго, хотя здесь мне ничто не грозит. Уже целых три года не грозит. И все же какая-то тревога, чувство, что все это временно, не проходило. В дождливые осенние дни я думала, что хорошо бы дожить до весны, увидеть все в цвету. Весной, глядя на цветущую под окнами сирень, хотела дожить до скрипа снега под ногами. Зимой хотела дожить до лета, до своего дня рождения. А в день рождения желала себе дожить до следующего. Ведь это так хорошо — *жить*!

У ПАПЫ БУДЕТ РЕБЕНОК

Случилось то, чего я совсем не ожидала. Папа с Кирой Александровной возвращались из отпуска, я их встречала на вокзале, и когда Кира Александровна выходила из вагона, я сразу увидела… что она беременна! В автобусе я старалась не смотреть на ее выступающий из-под плаща живот. Папа, кажется, это заметил. Смущенно заговорил о том, что мне тоже надо попросить в месткоме путевку в Палангу. Я бы там хорошо отдохнула. Ведь в детстве я очень любила купаться в море. Повторил, что я бы там хорошо отдохнула, что мне необходимо окрепнуть. А местком, наверно, путевки получает. Я согласно кивала. Как только довела их до двери и поставила чемодан, промямлила, что у меня срочная работа, и убежала. Я действительно почему-то торопилась, хотя вовсе не на работу — было воскресенье. Я шла, а в голове вертелось: у папы будет ребенок. У папы будет другой маленький ребенок. Папа забудет Раечку с Рувиком. Нет! Не забудет! Он не может забыть, какая Раечка была ласковая, послушная, как Рувик гордился, что оба они — "мальчики". Как торопился скорей вырасти, чтобы тоже носить, как папа, длинные брюки с подтяжками и настоящими карманами. Как хотел, чтобы у него были такие же, как у папы, усы. Однажды, видно, решив не дожидаться, пока они вырастут, нарисовал их себе углем. И до слез обиделся, что мы над этим смеялись. А как он любил расчесывать папе волосы. Просто погладить его стеснялся — они же "мальчики" — а проведя расческой по седым его волосам, второй ручкой старательно их приглаживал… Нет, папа не может забыть, как малыши по воскресеньям прибегали в своих пижамках в спальню, забирались к нему под одеяло, один ложился с одной стороны, другой — с другой, и они втроем пели. Напрасно мама звала завтракать — пока не пропоют всех своих песенок, не вставали… А мама только улыбалась и терпеливо ждала. Папа их не забудет. Но все-таки… все-таки теперь у него будет другой ребенок. Я завернула к Мире — поделиться новостью с нею. Оказалось — для нее это не новость, она еще до их отъезда заметила, что Кира Александровна "поправилась". И ничуть не удивлена, — этого можно было ожидать. Я ей явно мешала готовиться к зачету, и ушла. Больше не к кому было идти с такой новостью, и я побрела домой. Вдруг меня окликнули. Это была Гита, с которой мы работали на огородах Палевича. Теперь Гита совсем не такая, какой была в гетто. Тогда она мне казалась сильной, решительной. Никому не позволяла жаловаться, твердить, что

всех нас убьют. Уверяла, что обязательно доживем до освобождения. Теперь она не только очень располнела, отчего как бы стала ниже ростом, но и была всем недовольна. Говорила, что не такую жизнь мы заслужили после всего, что с нами было. Я не знала, какую именно мы заслужили и выслушивала ее сетования молча. Не хотела я с нею делиться своими переживаниями, но не удержалась. — Что?! — Она так крикнула, что проходивший мимо мужчина оглянулся. — Евреи опять рожают детей?! Чтобы какому-нибудь новому Гитлеру было кого убивать?! Я пыталась возразить — больше убивать не будут. Но она не слушала. Продолжала возмущаться: после таких несчастий только сумасшедшие могут рожать! Одни только ненормальные, которые не понимают, что мы многострадальный, богом забытый народ, и поэтому не должны рожать заранее обреченных на мучения и гибель детей. Я терпеливо ждала, пока она остановится. Чтобы ее успокоить, я сказала, что если бы все считали, что может появиться новый Гитлер, то не собрали бы в единый детский дом всех спасенных еврейских детей, которых родители вынесли из гетто к знакомым литовцам и полякам. А их собрали. Рассказали, кто они на самом деле. Тем, кто помнил свое настоящее имя, или знал от своих спасателей, вернули его. Учат родному языку. Наконец Гита успокоилась. Сама рассказала, что какой-то ее знакомый, вернувшись с фронта, и узнав, что жена и дети погибли, оплакав их, женился на нашей бывшей лагернице. У нее тоже вся семья погибла. Что ж, если они смогли… Трудно жить одному, очень трудно… Это она, наверно, уже говорила о себе, — ведь тоже одна, из всей большой семьи осталась одна. Мне стало ее жалко, — у меня же есть папа и Мира. Но дома я мысленно продолжала спорить с нею. И с самой собой… Пусть дети рождаются. Это Гитлер запретил евреям рожать детей. А надо, обязательно надо, чтобы они рождались, чтобы росли. Ведь должно быть не только это страшное прошлое, но и будущее. А Раечку с Рувиком папа не забудет…

В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ

С приближением осени папа снова стал заговаривать о том, как важно получить образование, иметь специальность. Опять рассказывал, как сам учился, как дядя Михель уехал в Париж почти не зная французского языка. Уже в который раз ставил мне в пример Миру: она скоро окончит университет, а у меня нет даже среднего образования. А работа в филармонии, которая мне так нравится, ненадолго: пока еще, видно, не хватает специалистов с музыкальным образованием. Но что будет, когда туда направят окончившего консерваторию музыковеда? Могут уволить или предложить сидеть в кассе и продавать билеты. И я, как человек, не имеющий даже среднего образования, ни на что больше претендовать не смогу. Того, что меня уволят или предложат сидеть в кассе, я не боялась. Билеты продает не знающая литовского языка Маргарита, а я, кроме своей работы, еще помогаю Федаравичюсу и всем, кто просит, составлять разные письма, заявления, докладные, печатаю на обеих — литовской и русской — машинках, уже перевела на литовский шесть песен, а недавно главный дирижер хора Кавяцкас попросил перевести текст оратории Гайдна "Времена года". Нет, о том, что меня могут уволить, я не думала. Но было другое… Когда при мне делились впечатлениями о прошедшем накануне концерте, его дирижере или солисте, я всякий раз боялась, чтобы не спросили моего мнения. Потому что я не понимала, чем один дирижер или солист отличается от другого — они же играют то, что написано в нотах. К тому же плохо читаю ноты, эти песни переводила по подписанным под нотами словам. Старалась как можно больше узнать о композиторах. Я очень старалась, но все равно постоянно чувствовала, что знаю меньше других. Оправдывала себя — они же не были ни в гетто, ни в Штрасденгофе, ни в Штуттгофе. Но тут же возражала себе — Сережа был на фронте, руки за эти четыре года огрубели, он уже не сможет стать концертирующим пианистом, и все же сразу после демобилизации поступил в консерваторию. Будет аккомпаниатором, но все же музыкантом. Мира тоже была в гетто, потом пряталась, а учится в университете, хочет стать адвокатом. А я… Я хочу писать, только уже не пьесу, как ту, что готовила на конкурс, а что-то другое. Правда, переводить мне тоже нравится. И если бы я, как Мира, Сережа, другие до войны успела окончить школу… А снова стать ученицей, сидеть за партой, выходить к доске отвечать… Да и как отвечать, если ничего не знаю! Я же пробовала, несколько раз пробовала

заниматься по учебникам, которые Йонайтис принес еще тогда, в первое лето, и ничего не понимала. Правда, это учебники за восьмой класс, а я окончила семь. Но и то, что учила в седьмом, забыла. Я продолжала оправдываться перед собой, приводить все те же доводы, но от частого повторения они теряли свою убедительность. И все явственнее их оттесняло понимание, что пойти в школу придется… А все равно оттягивала: сперва надо узнать, где они, эти вечерние школы, примут ли меня? Наверно, попросят подтверждения, что я окончила семь классов. Пока я тянула, начался учебный год. Даже самой себе стесняясь в этом признаться, почувствовала облегчение: теперь уже поздно. Правда, упрекала себя в нерешительности, обещала себе, что уж в будущем году… Только было очень стыдно перед папой. Приходя к нему, я каждый раз боялась, чтобы он не напомнил, что теряю еще один год. И была довольна, что не напоминает. Но однажды он неожиданно сказал, что был в одной из вечерних школ — Республиканской заочной средней школе. Говорил с директором. Он не возражает, чтобы я поступила с опозданием, и, главное, разрешил прямо в девятый класс: поскольку у многих поступающих большой перерыв в учебе, то сначала повторяют — конечно, в сжатом виде — программу предыдущего года. Так, что, даже опоздав, я смогу вместе со всеми пройти программу восьмого класса. Поэтому, сказал папа, не следует больше откладывать ни на один день и пойти туда прямо завтра. Хотя эта школа называется заочной, занятия там проводятся четыре раза в неделю. Пока я должна принести только заявление. Анкету заполню на месте. Находится эта школа на площади Черняховского. На работе я о том, что вечером должна пойти в школу, никому не сказала. Но сама об этом все время помнила. И от волнения все путала. Вернее, боялась напутать. По нескольку раз проверяла, нет ли опечаток в тексте афиши, дважды уточняла начало выездного концерта, по каждому пустяку лезла в словарь. Переживала, что время бежит слишком быстро. Оно и на самом деле пробежало быстрее обычного. И пришлось идти. Туда, к площади Черняховского. Директор школы спросил, в какой группе — литовской или русской — хочу учиться. Отметил в углу заявления, что в литовской и подал бланк анкеты. Но заполнить ее велел на перемене, а сейчас — подняться на второй этаж, скоро будет звонок. В коридоре возле каждого окна стояли солидные — один даже в форме железнодорожника — мужчины и курили. Я вошла в приоткрытую дверь пугающе чужого *девятого* класса. Там, за обыкновенными школьными партами уже сидели несколько таких же взрослых мужчин и женщин. Я спросила, за какой партой есть свободное место. Сидевшая за четвертой

партой женщина с кудряшками свежей завивки подвинулась и сказала, что будем соседками. Задребезжал звонок, и в класс стали входить курильщики. Самый крупный, железнодорожник, еле втиснулся за парту и сразу принялся вытаскивать из авоськи завернутые в газеты учебники, тетради. Его сосед, единственный тут в нарядном, наверно, выходном, костюме (моя соседка шепнула, что он — инструктор ЦК партии) достал из красивого портфеля всего один блокнот. Вошел учитель. Я по привычке встала, но увидев, что все здороваются сидя, тоже села. Начался урок. Учитель выстраивал на доске, одновременно объясняя, ряды иксов, игреков, возводил их в квадраты, в кубы. Что-то на что-то умножал, делил. Но я ничего не понимала, и только беспомощно переписывала все это в свою тетрадь. Наконец опять задребезжал звонок. Учитель вышел, оставив эту череду иксов и игреков, плюсов и минусов на доске. Я напряжено смотрела на них, силясь хоть что-то понять. Но тщетно. Эти белеющие на черной доске знаки оставались всего лишь знаками. Вторым был урок истории. Учительницей оказалась женщина, и, как меня опять "просветила" соседка — преподаватель университета, которая у нас работает по совместительству. Наверно, поэтому, то-есть потому что привыкла читать лекции студентам, нам тоже излагала суть правления каких-то царей и цариц очень научно. Я опять только записывала. После урока физики я решила уходить, — все равно ничего не понимаю. Но соседка сказала, что два последних будут уроки литературы, и я осталась. Назавтра побрела в школу только потому, что неудобно было не пойти, — я же подала заявление. Пыталась утешать себя тем, что и другие не все понимали, хотя учатся уже почти целый месяц, и переспрашивали. Но они только не все понимали, а я *ничего* не понимала. На четвертый или пятый день на уроке геометрии учитель, к моему великому ужасу, вызвал меня к доске. Попросил начертить треугольник. От волнения он у меня получился кривобокий. Я хотела его стереть и начертить другой, но учитель только улыбнулся — не надо, всем понятно, что это треугольник. Предложил обозначить каждый угол буквами. Провести пунктирную линию. Еще одну. Объяснил зачем. И оттого, что он, казалось, говорит это мне одной, я стала понимать! Постепенно и другие предметы перестали пугать. Возвращалось и то, что я учила в прежней школе. Мне опять нравилось учиться. Нравилось, что я уже в *девятом* классе, что эти солидные тети и дяди часто списывают у меня домашние задания. Я даже старалась приходить немного раньше, может, кому-нибудь понадоблюсь. Единственное, что омрачало хождение в школу — это ночное возвращение домой. Последний урок кончался без пяти двенадцать. В мою сторону никто не шел, и я

спешила по пустому городу одна. Мимо руин бежала. Пугали фонарные столбы. Мерещилось, что за каждым, в его тени, кто-то притаился. Особенно, если фонарь от ветра покачивался, и тень двигалась. Чем ближе к дому, тем нетерпеливее я считала шаги. И только юркнув наконец в дверь и повернув ключ, с бьющимся сердцем прислонялась в передней к стене немного отдышаться.

ЗНАКОМАЯ КЛЯКСА, ЗНАКОМЫЙ ДИВАН…

Когда муж нашей секретарши, Рашкаускене, позвонил, что она заболела, и он просит кого-нибудь принести ей зарплату, это поручили мне. Я ушла с работы пораньше, чтобы не опоздать на первый урок. Будет немецкий, а в прежней школе я учила французский. Теперь я уже к урокам немецкого привыкла. А в начале их еле выдерживала. С первой минуты хотела, чтобы урок скорее прошел, или чтобы учительница объясняла очередное правило грамматики только по-литовски, не приводя примеров на немецком. Боялась, чтобы она случайно не произнесла какое-нибудь слово из лагерных окриков. Убеждала себя, что не произнесет, — она ж не немка! И голос у нее тихий. Да и говорит в основном об артиклях, склонениях, перфектах и плюсквамперфектах. Однажды наш аккомпаниатор, Ефим Борисович, увидев у меня на столе учебник немецкой грамматики, сказал, что язык мне, наверно, дается легко, — я ж его должна знать со времен лагеря. Не стала я ему объяснять, что в лагере я на немецком слышала только "Judische Schweine"*(*"Еврейская свинья") да несколько команд. В Штрасденгофе нас еще заставляли, маршируя, повторять специально для нас придуманную песню о том, что мы были господами мира, а теперь мы — вши мира. Нет, не стала я Ефиму Борисовичу ничего говорить. А в классе о том, что была в гетто и лагерях вообще никому не говорила. Только в анкете на вопрос была ли на временно оккупированной территории ответила, что была. Указала, где и с какого по какое время. Увлекшись своими мыслями, я и не заметила, как оказалась на улице Тилто, у дома Рашкаускене. Еще раз заглянула в бумажку с адресом, и свернула во двор. Дверь открыл высокий парень. Наверно, сын. Когда я вошла в комнату, где лежала больная, лишь мелькнуло в голове, что у папы в приемной тоже стояла плетеная мебель. Я отдала Рашкаускене зарплату. Выложила купленное на месткомовские деньги печенье. И только когда села в одно из двух кресел, а оно как-то знакомо скрипнуло, и на столике увидела огромную чернильную кляксу, я их узнала — и столик, и оба кресла… … Когда нам с Мирой становилось "тесно" готовить уроки в одной комнате, меня, как младшую, отправляли в пустовавшую вечером папину приемную, за этот столик, что мне, естественно, казалось несправедливым. И однажды, во время очередного такого "изгнания", я нечаянно, а может, желая показать, что мне тут

неудобно, задела краем учебника чернильницу. Она опрокинулась, чернила быстро потекли, я испуганно бросила промокашку, стала тереть, но только больше размазала. И на столике осталась уродливая, похожая на синюю жабу, клякса. Я ее узнала, свою кляксу… Чтобы не выдать себя, быстро отвернулась. Но… из-под простыни, на которой Рашкаускене лежала, виднелась знакомая обивка. Тахта тоже наша. Она стояла в столовой. И Раечка с Рувиком очень любили на нее забираться, особенно когда папа ложился после обеда отдохнуть. Теперь на ней лежит эта чужая женщина. А Раечка с Рувиком последние два года своей короткой жизни спали на полу…

РОЖДЕНИЕ СЕСТРЕНКИ

В декабре Кира Александровна родила дочку. Когда ее привезли из больницы, и я увидела эту завернутую в одеяльце крохотулю, мне захотелось взять ее на руки, приласкать, — ведь эта малышка — моя сестра. Совсем-совсем маленькая сестренка. Папа и Кира Александровна, вместо того, чтобы радоваться новорожденной, были грустны: девочка больна. Кира Александровна обвиняла больницу, в которой рожала, — девочку простудили, пеленали в сырые пеленки. Но врач папе объяснил, что дело не в простуде, а в том, что у ребенка врожденная болезнь, которая называется болезнью Дауна. Она неизлечима. Спросил, не было ли в нашей семье даунят. А папа даже названия такого не знал. Бабушка родила семерых, ее сестра — четверых, в его семье, и в семьях его братьев и сестры дети рождались здоровыми. Были ли в семье Киры Александровны больные дети, он не знает, и, конечно, никогда ее не спросит об этом. Назвали малышку Ганной — в память о папиной матери, бабушке Хане. Папа утешал Киру Александровну, что девочку вылечат. Медицина развивается такими темпами, что вскоре, наверно, изобретут лекарство и от этой болезни. Но мне знакомая врач сказала, что надежды напрасны. От этого стало еще более жалко новорожденную, папу, Киру Александровну. Я обещала, что в свободное от школы время — по средам вечерами и по воскресеньям буду приходить им помогать.

ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕРЕВОД

Теперь я не только работала и училась, но еще переводила на литовский язык роман Виссариона Саянова "Небо и земля". Папа был очень удивлен, что мне, непрофессиональной переводчице, и не так уж хорошо знающей русский язык, издательство доверило сразу такую большую и серьезную работу. А я стеснялась признаться, что не издательство мне ее "доверило", а предложил один знакомый. Когда я работала в Управлении по делам искусств, мы вместе ездили в Москву, каждый защищать свою смету. Я тогда даже не знала, что в его ведении — финансирование издательств. А недавно он меня остановил на улице. Сказал, что собирался мне позвонить и договориться о встрече, потому что хочет предложить перевод на литовский язык какого-нибудь романа русского автора. От неожиданности я растерялась и бросила, что не смогу, я же не переводчица. Но он продолжал настаивать. Сказал, что уже договорился с издательством, ему назвали две книги — "Люди из захолустья" Малышкина или "Небо и земля" Саянова. Но предпочтителен перевод Саянова, — книга выдвинута на Сталинскую премию. Даже если автор ее не получит — уже одно то, что роман был выдвинут на премию, очень важно. Так что надо срочно взять в библиотеке роман, и сесть за работу. Книга большая. Он скажет, чтобы подготовили договор и позвонили, когда мне прийти его подписать. Ну, а гонорар — пополам. Последнее меня так огорошило, что я пробормотала: — Что вы! Пусть переводит кто-нибудь другой. — Почему другой? Ты же знаешь литовский язык. (Раньше он мне никогда не говорил "ты".) А если что будет не так, редакторы поправят… Они за это зарплату получают. Я как раз недавно выхлопотал им в Москве, в Государственной штатной комиссии, новое штатное расписание, и всем им повысили оклады. Так что они мне обязаны. — Но одного знания языка мало. Это же художественная литература! Пусть переводит кто-нибудь другой. Потом я себя укоряла, что не сказала это более решительно. А повторить не успела: он вдруг увидел, что подходит его автобус и заторопился к остановке. На ходу бросив: "тебе позвонят", вскочил на подножку. Дверца затворилась, и автобус уехал. Весь вечер — и в школе, и потом, дома, у меня не выходило из головы его "гонорар — пополам" и "они мне обязаны". Возмущалась — как можно такое говорить? Сердилась на себя, что не отказалась более твердо. Решила завтра утром, придя на работу, первым делом разыскать его телефон и позвонить. Отказаться. Правда, немного соблазняла мысль, что

это ведь перевод целого романа. Но и было страшновато, я же никогда большого произведения не переводила. Песни не в счет. К тому же он мне этот перевод предложил для того, чтобы я поделилась с ним гонораром. Было стыдно даже представить себе, что я ему даю деньги. И он их будет пересчитывать. Положит в карман. Нет, нет! С таким человеком не хочу иметь никакого дела. Завтра позвоню и откажусь. Но утром я, как нарочно, ни на минуту не оставалась в комнате одна. А в конце дня позвонила незнакомая женщина и очень приятным голосом пригласила завтра прийти в издательство подписать договор на перевод романа Саянова. Договор уже подготовлен. А чтобы мне не надо было ходить к ним дважды — сразу получить и небольшой аванс. Я не знала что делать. Не могла же я этой приветливой женщине сразу сказать, что не приду, и тем более объяснить почему. А договор она уже подготовила, даже аванс выписала. Что делать? С папой посоветоваться нельзя. Он ужаснется, что я вожу знакомство с таким непорядочным человеком. А я никакого знакомства с ним не вожу, и от одной поездки в Москву до другой мы всего лишь здоровались. Может, рассказать на работе моим подругам Риде с Яниной, они еще не ушли. Но беззаботная Янина махнет рукой: нашла из-за чего переживать. А Рида просто скажет, чтобы я бросила свои "интеллигентские штучки" и немедленно согласилась. Я же люблю заниматься писательством. Пусть половину отдам, но вторая же останется. По крайней мере куплю себе какую-нибудь обувь и не буду ходить с мокрыми ногами. Нет, советоваться с ними не имеет смысла. Не поймут. В издательство я пошла… У звонившей мне женщины не только голос был приятный, она и сама оказалась очень приветливой. Предложила предварительно ознакомиться с договором. Но я хотела скорей уйти отсюда, и не стала его читать, а сразу подписала. В бухгалтерии и вовсе стыдно было смотреть, как кассирша отсчитывает двести рублей. Казалось, все понимают, *почему* со мной подписали договор. ОН мне позвонил почти сразу, назначил встречу, и я, смущаясь, отдала ему заранее завернутые в бумажку сто рублей. Он их спокойно положил в карман, и сказал, что следующая выплата будет, когда представлю перевод. Я обрадовалась, что это еще нескоро, и поспешила в школу. Вначале перевод у меня не получался. То есть слова я переводила правильно, некоторые еще и перепроверяла по словарю, но фразы были какие-то нескладные, корявые. И только на пятую или шестую ночь — я же переводила только по ночам, после школы — уже в который раз переписывая первую страницу, неожиданно поняла, что не надо переводить чересчур дословно, а тем более оставлять слова в том

же порядке, в каком они написаны по-русски, а надо излагать текст свободно, чтобы звучало органично по-литовски. И стало получаться! Я в ту ночь перевела почти три страницы. Теперь я переводила медленно, дотошно. Чиркала, переписывала. И установила себе норму: ночью, после школы — одна или полторы страницы, по воскресеньям три, а если есть прямая речь и строки короткие — то четыре. Мои приятельницы — Майя, Фрида, ее муж Боря такого образа жизни не одобряли: во время войны четыре года не было жизни, так еще сама лишаю себя ее радостей. Вместо того, чтобы ходить на танцы, свидания, в кино — света белого не вижу: днем — на работе, вечером — в школе, а ночью и по воскресеньям корплю над своим Саяновым. Так и замуж не выйду. А я о замужестве и не думала. Не хотела думать. Потому что… …В Штрасденгофе нас держали не в бараках, а на бывшей фабрике. Для этого над ее прежним каменным забором натянули еще несколько рядов колючей проволоки, установили прожектора, поставили охрану. К фонарному столбу во дворе прибили доску с надписью: "Вы живете не для того, чтобы работать, а работаете для того, чтобы жить", и повесили кусок рельса — лагерный гонг. В бывших цехах сколотили из неструганых досок трехъярусные нары. Единственное, что осталось от фабрики — это широкая, проходившая через все четыре этажа круглая печь, которую, конечно же, не топили. Наш, женский блок был на четвертом этаже, а мужской — сюда привезли мужчин после ликвидации рижского гетто — на первом. Второй и третий этажи заселили позже, женщинами из других гетто. На ночь блоки, естественно, запирались, а на лестнице стоял охранник. Кто-то из работавших на лагерной кухне рижан умудрился устроить в этой печи веревочную лесенку до четвертого этажа. И вот однажды я проснулась ночью от какой-то возни и сопения рядом. Узнала одного из поваров. Я хотела слезть с нар, убежать в тот конец блока, заткнуть уши, но лежала, боясь шевельнуться, чтобы они не поняли, что я не сплю. Когда он наконец ушел, я услышала, что моя соседка, накрывшись с головой, что-то жует… Об этом я никогда никому не рассказывала. И когда подруги меня пугали, что при такой своей жизни не выйду замуж, я отшучивалась вычитанными у Шекспира словами, что чем позже это сделаю, тем меньше времени останется жалеть. Остальное объясняла просто: не хочу остаться малограмотной. Мне нравится все время узнавать что-то новое, а танцевать не люблю. (Правда, не добавляла, что и не умею, — некогда было научиться…) И чем бессмысленно шаркать ногами, лучше в свободный от школы вечер остаться после работы на концерте. Но и это я делала редко, — надо было переводить.

Теперь даже в музей я заходила редко, и только чтобы убедиться, что там все по-прежнему.

МЫ- "БЕЗРОДНЫЕ КОСМОПОЛИТЫ"

Внешне на самом деле ничто не менялось — на столах, подоконниках и даже на полу так же громоздились кипы еще где-то обнаруженных книг, рукописей, документов, в комнатах побольше, окнами на улицу уже действовала небольшая и очень необычная выставка: картины, скульптуры и свидетельства нашего недавнего прошлого: желтые звезды, жестяные номерки, разные "аусвайзы", полосатая лагерная одежда. Музей продолжал работать, и хотя вслух никто ничего не говорил, в воздухе витала тревога. И с каждой плохой вестью из Москвы она усиливалась. А после гибели Михоэлса они стали следовать одна за другой: распущен Еврейский антифашистский комитет. Рассыпан готовый набор "Черной книги". Закрыта газета "Эйникайт"*(*"Единство" — орган еврейского Антифашистского комитета.), арестованы писатели Гофшейн, Перец Маркиш, Квитко, Добрушин, дер Нистер. Ликвидировано издательство "Дер эмес"*(*"Правда" — ОГИЗ) Закрыт Государственный еврейский театр, а назначенный вместо Михоэлса художественным руководителем театра выдающийся артист Зускин арестован. Его увезли в тюрьму прямо из больницы. Закрыты еврейские театры в Одессе и Белоруссии. Та же участь скоро постигнет еврейские театры в Киеве и Биробиджане. Ликвидирован кабинет еврейской культуры Украинской Академии наук. Закрыт издававшийся в Киеве журнал "Дер штерн"*(*"Звезда"). В газетах то и дело появлялись все новые и новые статьи и фельетоны, "разоблачающие" "безродных космополитов", которые в своем низкопоклонстве перед западом, скрывая свою истинную сущность (то есть еврейскую фамилию или имя-отчество) под псевдонимом, протаскивают в советское искусство и науку чуждые идеи. А поскольку все, что происходило в Москве, должно было быть повторено на местах, то и здесь вскоре можно ожидать того же самого. Тревога оказалась не напрасной. Однажды, придя в музей, я застала там всех очень расстроенными. На мой вопрос, что случилось, Соня Гинкайте протянула какую-то бумагу. Это было Постановление Совета Министров о реорганизации еврейского музея в краеведчесский. В первое мгновение я не поняла, почему краеведческий. Это же совсем другое! И вдруг… Вдруг меня пронзила мысль: ведь и немцы пользовались иносказаниями! Расстрелы в документах именовали "особой обработкой", а эшелоны, которые отправляли сразу на уничтожение, то есть без предварительного использования обреченных как рабочей силы, снабжали грифом "Возвращение нежелательно". Выходит, и

советское правительство пользуется иносказанием… Я почему-то села переписывать это Постановление. Прямо в школьную тетрадь, сразу за конспектом вчерашнего урока химии.

Вильнюс, 10 июня 1949 г.

О реорганизации Еврейского музея в Вильнюсе в Вильнюсский краеведческий музей" От волнения и спешки первую часть, о том, что Совет Министров обязывает провести эту реорганизацию Комитету культурно-просветительных учреждений, я упустила, и начала только с подпункта "б".

…б) оставить весь краеведческий материал Еврейского музея Вильнюсскому краеведческому музею. Экспонаты, имеющие историко-революционное значение, передать Гос. Историко-революционному музею, имеющие художественную ценность — Управлению по делам искусств. Имеющиеся книги — Книжной палате Лит. ССР. Весь остальной инвентарь оставить библиотечному техникуму.

2. Обязать исполнительный комитет Вильнюсского Городского совета депутатов трудящихся передать здание, находящееся в Вильнюсе, по ул. Страшуно, 6. Комитету культурно-просветительских учреждения согласно балансу на 1 апреля 1949 г.

3. Просить Гос. Штатную Комиссию при Совете Министров СССР утвердить штатное расписание Вильнюсского краеведческого музея. Председатель Совета Министров Лит. ССР (М.Гедвилас) Управляющий делами Совета Министров Лит. ССР (Д.Петрила)*(*Текст приводится в переводе с литовского языка.)

Когда, кончив писать, я вернула Соне это постановление, она вздохнула: — А мы надеялись, что теперь, после такой страшной трагедии, постигшей наш народ, все будет иначе. Выходит, отношение к нам не изменилось… И рассказала то, чего я тогда, тринадцатилетняя, притом учась в литовской школе, не знала… Оказывается, еще в 1940-ом году, почти сразу после того, как Литва стала советской, власти ликвидировали еврейскую общину. А все, что ей принадлежало — библиотеки, музеи, дома, кладбища — предписали передать соответствующим Народным Комиссариатам. Даже инвентарь канцелярии общины следовало передать Комсомолу Литвы. Я только и смогла сказать, что теперешнее постановление схоже с тем, давним. И услышала очень горькое: это безжалостнее, — забирают то, что при немцах спасали с риском для жизни.*(*Много лет спустя я узнала, что официальное постановление дополнило устное предписание директору Книжной палаты А.Ульпису имевшиеся в Еврейском музее книги и рукописи сдать на бумажную фабрику под Вильнюсом, как вторичное сырье. Но Ульпис, скрыв свой поступок

даже от собственной семьи, этого не сделал, а велел все "пока" свозить в Книжную палату, и сваливать в подвал. Там они нелегально пролежали до самой хрущевской "оттепели". Только когда грозившая им опасность, казалось, миновала, их оттуда извлекли, разобрали. Часть была оставлена в фондах Книжной палаты, остальное — передано Республиканской библиотеке. Но увы… Через некоторое время они, спасенные и от Гитлера и от Сталина — уже директором библиотеки и по собственной инициативе были сданы как макулатура, и библиотека получила, как полагалось за вторичное сырье, по две копейки за килограмм. Впоследствии этот директор объяснил, что сдал их из-за невостребованности, потому что они "только место занимали". А невостребованными эти книги оказались потому, что после гитлеровского нашествия возможных читателей на родном языке в Литве осталось всего четверо из ста. Да и потом, во время сталинских юдофобских кампаний проявлять интерес к книгам на языке "безродных космополитов" было чревато последствиями…) Закрыли не только музей… Уже давно по городу ходили слухи, что в еврейскую школу и детский дом зачастили какие-то комиссии. Проверяют санитарное состояние. Я там была всего один раз. Несколько лет тому назад водила знакомую Киры Александровны, которая приехала из Белоруссии искать племянника, — может, хотя бы его кто-нибудь спас. Я тоже всматривалась в лица детей, хотя понимала, что Рувика и Раечки здесь быть не может, — тут были только те дети, которых вынесли из гетто еще до его ликвидации и спрятали. А из тех — и взрослых и детей — которых там, на Субачаус, когда нас "сортировали" гнали налево, не вернулся *никто*… Больше я в этом детдоме не была. Только время от времени слышала, что у какого-то ребенка нашлись вернувшиеся из эвакуации родственники или кого-то усыновили чужие люди. А остальные продолжают там жить и учиться. Антисанитарию даже повторной комиссии обнаружить не удалось. Тогда нагрянула ревизия, — якобы поступил сигнал, что учителя и работники детдома присваивают себе государственное имущество и обворовывают детей. Но и этого ревизоры не смогли выявить, — нельзя найти того, чего нет. И все же… В школу прислали очередную комиссию. Теперь — проверить уровень учебной и воспитательной работы. И опять же не к чему было придраться: уровень оказался высоким. Комиссии были представлены доказательства того, что ученики этой школы, перешедшие в другие учебные заведения, там тоже оказывались отличниками и в учебе и в освоении ремесла. Тем не менее, повод для чудовищного акта был найден: кто-то из членов комиссии

заметил, что на переменах расшалившиеся мальчишки дергают девчонок за косички и даже дерутся. Это было расценено как проявление садизма и полового извращения (даже по прошествии стольких лет рука отказывается написать, как оно было названо более конкретно), в чем немедленно и был составлен соответствующий акт. Один из членов комиссии, установившей у детей эти страшные пороки — а чтобы придать проверкам видимость объективности, в ее состав были включены и несколько евреев — в это время лежал в больнице с инфарктом. Туда, прямо в палату, ему и принесли для подписи тот чудовищный акт, под которым уже стояло семь подписей. Ссылка на то, что он в проверке не участвовал, и что у него инфаркт, не помогли. Ему было поставлено условие: либо подпишет, либо будет отправлен к белым медведям. И он подписал… Папе я об этом не рассказала. Но очень боялась, чтобы его тоже не попросили чего-нибудь подписать. А еще было страшно, что и его могут назвать "безродным космополитом", — он же учился за границей, и не только на юридическом факультете университета, но и в институте немецкого языка и литературы. За такой "повышенный" интерес к немецкой культуре его вполне могут обвинить в низкопоклонстве перед западом. Правда, вернувшись в Литву, он экстерном за два года окончил и юридический факультет Каунасского университета. Но это вряд ли спасет, потому что те два года он был директором еврейской гимназии, что может быть истолковано еще и как проявление национализма. Я старалась надеяться, что борьба с космополитизмом его не коснется, — он же не писатель, не ученый. И нет у него псевдонима, а "разоблачают" в основном тех, кто якобы маскируется под псевдонимом. Имени и отчества он тоже не переиначил, — все его так и зовут — Гирш Абелевич. Не волноваться становилось все труднее. Нагромождалось и старое и новое: арестованы не только поэт Ошерович и переводчик Капланас. В газете "Советская Литва" появился очередной фельетон "Кацман греет руки". Начальнику Управления по делам искусств Банайтису прислали из Москвы, из Комитета по делам искусств предписание уволить уполномоченного по репертуару Циринскиса. А ведь Циринскис — старый коммунист, бывший подпольщик. Правда, Банайтис его не уволил. Только показал московское предписание. А когда Циринскис спросил, надо ли ему подать заявление, спокойно ответил, что никакого заявления писать не надо, пусть работает, как работал. Московскую же бумагу так же спокойно сунул под бювар. Но сколько таких Банайтисов?.. И, несмотря на эти волнения, я продолжала работать, ходить в школу, усердно заниматься, — подходил к

концу учебный год. А дома, на столе, хоть и медленно, росла стопка переведенных и уже перепечатанных на машинке страниц. Очень не терпелось, чтобы эта стопка росла быстрее, и я уже ждала каникул и отпуска, когда смогу целый день только переводить.

ХОЧУ ПОСТУПИТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

Весь свой филармонический отпуск я просидела дома, продолжая переводить Саянова. Чаще ходила к папе, вывозила Ганусю погулять. Правда, папа заговаривал о том, что мне надо отдохнуть. Но я твердила, что вовсе не устала, а переводить мне нравится. Не решалась только поделиться еще и тайной причиной такой поспешности: возможно, перевод книги зачтут как литературный труд при поступлении в Литературный институт. Да и в самой мысли туда поступать, пока не решалась ему признаться. Узнала я о том, что есть такой институт случайно. К Изе Кремерису приехала из Москвы на каникулы его дальняя родственница, которая училась в Литературном институте. От этого словосочетания у меня даже дух перехватило. Я попросила Изю узнать у нее, кого туда принимают, какие там факультеты, что входит в учебную программу. Ответы были неутешительны. Принимают только бесспорно одаренных и уже пишущих людей. Факультетов нет, учебная программа общая, но есть творческие семинары по жанрам: поэзии, прозы, драматургии. Требования к поступающим даже на заочное отделение очень высоки, и отнюдь не у каждого, кто считает, что умеет писать, есть шансы туда попасть. Единственное, что в ее словах утешало, это то, что в Институте есть заочное отделение. Потому что едва обрадовавшись, что существует *Литературный* институт, я тут же огорчилась: ведь это значит, что опять надо будет уехать из Вильнюса, да еще на целых пять лет. А я не хочу больше уезжать отсюда. И снова быть одной среди совсем чужих людей не хочу. Поэтому если есть заочное отделение… Но сразу вернулось главное — что с того? Туда же принимают только уже пишущих… И все-таки мысль о том, чтобы туда поступить, не оставляла. А услышав, что родственница Изи собирается обратно в Москву — скоро начинается новый учебный год — я его спросила, можно ли мне самой поговорить с нею и расспросить подробнее. Она не стала дожидаться моих вопросов. Удобно расположившись в кресле и закурив сигарету, сама выложила то, что, очевидно, считала нужным мне сообщить. Что этот институт единственный на весь Советский Союз, и желающих поступить туда очень много. К сожалению, слишком многие считают, что они могут писать. Или, может быть, надеются, что их там этому научат. А научить писать нельзя. Так что принимают только тех, кто уже как-то проявил свой литературный дар. Поэтому претендент сперва

должен пройти конкурс по творчеству, и лишь после этого его допускают к вступительным экзаменам. Но и их далеко не всем удается сдать. Едва скрывая свое огорчение, я все же спросила про заочное отделение. Она небрежно махнула рукой: это вообще несерьезно, — заочное обучение второсортное. Раздавила в пепельнице окурок, давая понять, что беседа окончена, и, уже вставая, добавила, что если даже со всем остальным у меня было бы в порядке, помешает национальность. Я хотела спросить, а как же, она ведь тоже… Но она меня опередила: когда она поступала, сразу после войны, с этим было немного проще. А теперь… Как теперь — я знала… Наступил новый, 1949/50 учебный год. Она уехала, а все, что говорила — осталось. В школу я теперь ходила безо всякой охоты. Совсем не радовало, что я уже в десятом классе. И переводила без особого удовольствия. А то, что Саянову за этот роман присудили Сталинскую премию, лишь усилило неуверенность, которую я раньше отгоняла: может, только думаю, что умею переводить? И когда писала пьесу, тоже только считала, что могу ее написать? Но я же не считала! Просто услышала про конкурс, и села сочинять. И понимаю, что в институте не учат писательству. А все равно… Однажды не выдержала, и рассказала о своем желании учиться в Литературном институте друзьям. Но они почему-то не обратили внимания на то, что надо пройти конкурс по творчеству, и что требования на приемных экзаменах очень высокие. Пупа — то есть Эстер, но давнее, детское "Пупа" так и осталось на всю жизнь — только удивилась: неужели я собираюсь закабалить себя еще на пять лет? Тогда уже наверняка останусь старой девой! А Майя спросила, где возьму денег, чтобы два раза в год ездить в Москву на экзаменационные сессии. Но скептики Фрида с Борей ее успокоили: деньги не понадобятся, — с таким "пятым пунктом" все равно не примут. Словом, они меня дружно уговаривали выкинуть из головы мысль о поступлении в институт: это нереально. Пупа еще добавила свое всегдашнее — чтобы я наконец перестала осложнять свою жизнь, а наслаждалась ею, доставляла себе побольше радостей. И хоть я отшучивалась, что если все время только наслаждаться, некогда будет еще что-то делать, мне, как и всякий раз, когда она заводила об этом речь, стало грустно. Ведь и самой себе я когда-то, в день ликвидации гетто обещала, что если останусь в живых, жить полной жизнью… …Я в то утро стояла у окна, и смотрела на дождь. Представляла себе, что весной тут будет сухо. Не только тут — везде. В садах будет белеть яблоневый цвет. И небо будет голубое-голубое. Я думала о том, как хорошо было бы на него смотреть! Просто смотреть на небо. И еще о том, что если бы осталась в живых, то уже умела бы радоваться жизни… Но я же

радуюсь! Мне нравится, когда цветут сады. Нравится, когда осенний дождь барабанит о подоконник, а я лежу укутавшись в одеяло, и мне тепло, уютно. Нравится, когда ослепительно сверкает белый-белый снег. Мне нравится работать. Люблю сидеть в Филармонии на концерте. "Болею", когда выступают свои. Радуюсь их успехам. Но нельзя же постоянно радоваться. Тем более, что кругом так много плохого! Разве я могла думать о чем-то другом, когда по утрам стояла в переулке напротив школы, в которой преподает Йонайтис, и волновалась, придет ли он на работу, не вывезли ли его. И о какой радости может идти речь, когда против нас опять… Конечно, теперешнее нельзя сравнивать с тем, что было при немцах, но ведь закрыли именно *еврейский* музей, еврейскую школу. Даже детский дом со спасенными от Гитлера детьми расформировали. А эти регулярные "разоблачения" в газетах все новых "безродных космополитов"… Да, я могу смотреть на небо, свободно ходить по улицам. И это хорошо, прекрасно. Но ведь это не все. Только в начале, после освобождения — просто радовалась, что я *есть*, что не убили, что буду жить. Теперь смерть не грозит. Правда, иногда возвращается давнее "хорошо бы дожить". До весны, до осени, до дня рождения. Но не могу я жить только этим, и если самой пока, может быть, ничто не грозит — не могу не тревожиться, если что-то грозит другим. А главное, больно, очень больно чувствовать эту непонятную злобу к нашему народу. Мысль о Литературном институте не оставляла меня. Наоборот, чем ближе к выпускным экзаменам, тем больше хотела учиться именно там. И я решила поговорить с нашим пианистом Сережей, — он собирается поступать в аспирантуру Московской Консерватории. Правда, не как пианист, — тут ему, как он сам сказал, оттого, что на фронте "руки были заняты другим", ничего не светит. Но его интересует эстетика. Может быть, он знает, как проходит конкурс по творчеству. А еще — принимают ли без вступительных экзаменов, если в аттестате одни пятерки. Об этом я подумала совсем недавно, когда учитель Тереспольский на уроке геометрии меня похвалил, и сказал, что если бы я кончала дневную школу, то, наверно, была бы кандидатом на золотую медаль, и жаль, что в вечерних их не дают. От похвалы я смутилась, и ляпнула глупость: что она мне не нужна. Но по дороге домой вспомнила, что медалисты не сдают вступительных экзаменов. А мне в Литературном институте в Москве после литовской школы сочинения на пятерку не написать. Но спросить, и даже просто поделиться с Сережей своими переживаниями и сомнениями не успела, — на него навалились большие неприятности.

ЦЕНА ПРАВДЫ

В те годы все съезды, конференции, пленумы, сессии, профсоюзные и прочие значительные мероприятия проводились в Филармонии. В такие дни нужен был не только сам зал, но и все другие помещения. Симфоническому оркестру, хору и солистам предоставлялись так называемые отгулы. Работала только администрация, которой оставляли всего одну комнату, куда сносили и ставили впритык друг к другу все письменные столы, отчего комната становилась похожей на мебельный склад. В кабинете директора размещался штаб охраны, состоящий из одетых в штатское офицеров Комитета Государственной безопасности. Бухгалтерия превращалась в отлично оборудованный медицинский пункт, а наша комната — в почтовое отделение, из которого делегаты-депутаты могли не только отправлять письма, телеграммы и бандероли, но и связаться бесплатно и вне очереди с любым городом и районом республики. Репетиционная хора становилась уютной гостиной, для чего туда привозили комплекты красивой мягкой мебели, ковры, торшеры, кадки с фикусами и олеандрами. Малый зал превращался в дополнительный буфет, уставленный, как и основной в такие дни, салатами, изысканными заливными блюдами, аппетитнейшими бутербродами, пирожными. А особенно соблазнительные пирожные, печенья и марципаны специально доставляли — каждое утро свежие — из Каунаса, из знаменитой своим кондитерским искусством "Тульпе". В углах фойе продавали недоступные простым смертным дефицитные книги, а иногда, особенно на профсоюзных мероприятиях, и промтовары. В тот раз подготовка к съезду партии началась раньше обычного. И больше обычного комиссий осматривали здание и каждое его помещение. Особенно нас удивило, что в подвал, где хранится уголь, привели солдат с миноискателями. Но оттого, что уголь лежит сплошной горой до самого потолка, а приборы не берут такую толщину, им приказали всю эту гору лопатами пересыпать с одного конца в другой. За день они, конечно, пересыпать не успели, и на ночь оставили охрану. К нам тоже пришли с миноискателями. Прежде чем вынести стол в общую комнату, каждый проверяли. Сами же и выносили. Отделу кадров было велено составить список работников, которые в дни съезда будут находиться в здании, притом включить в него только самых необходимых. Федаравичюс попросил меня напечатать этот список в самом отделе кадров, и никому заранее не говорить, кто туда включен. Несмотря на всю секретность, до нас все же донесся слух о

причине такой повышенной бдительности: ожидается приезд самого товарища Сталина. Хранить в себе такую тайну было очень трудно. Но я удержалась, не поделилась ею даже с папой. Только все время думала об этом. Никак не могла себе представить, что настоящий, живой Сталин будет совсем рядом со мной, в нашем зале. Но он не приехал. Центральный комитет компартии Советского Союза на съезде представлял один из его секретарей. К тому, что происходило в зале, у меня не было ни малейшего интереса. Наверно, то, что обычно: зачитывают состав заранее назначенного президиума. Потом долго, стоя, аплодируют предложению избрать почетный президиум во главе с товарищем Сталиным. После этого единогласно голосуют за мандатную, редакционную и прочие рабочие комиссии. Затем выступит с основным докладом Первый секретарь ЦК Снечкус. После этого начнутся выступления — делегаты будут зачитывать заранее утвержденные в ЦК доклады о достижениях, задачах с обязательными заверениями, что все они будут выполнены. И все будут ждать, что скажет московский гость. Меня, вернее, всех нас, втиснутых в одну комнату, волновало совсем другое: пропустит ли нас на сей раз охрана, пока нет перерыва, в буфет, посещение которого мы предвкушали задолго до начала съезда. Но мои ожидания прервал телефонный звонок Сережи. Хотя солисты и концертмейстеры, у которых в ближайшие дни не было концертов, не должны были "отмечаться" и по телефону, он заговорил о каких-то изменениях, которые они с Митей просят внести в программу завтрашнего концерта в клубе железнодорожников. Я принялась ему объяснять, что завтра там концерта нет, но он твердил свое, что у Мити не готов романс "Здесь хорошо", а вообще он долго говорить не может, звонит из чужого телефона, и просит меня спуститься. Он ждет меня возле музыкального училища. Я спустилась. Только успела повторить, что завтра концерта в Клубе железнодорожников нет, как он меня прервал: сам знает, что нет, и предложил пройтись, но "подальше от них". (Вокруг Филармонии и на подходах к ней по случаю съезда прогуливались работники Госбезопасности в штатском.) Заговорил он только, когда мы дошли до кинотеатра "Октябрь". С какой-то кривой усмешкой сказал, что я, небось, считала его и Жорку — так он называл старшего брата Георгия — честными людьми. А это не совсем так. Дело в том, что их отец не погиб на фронте, как они всем говорили и писали в анкетах, а в 1941-ом году осужден по 58-ой статье на десять лет. Это уже второй арест, первый раз его взяли в тридцать седьмом году, тогда же арестовали и мать. В тридцать девятом обоих выпустили, но вскоре отца снова забрали. Маму на сей раз не тронули, а отцу

дали десять лет. Сережа закурил, и я увидела, как руки у него подрагивают. Курил молча. Наконец снова заговорил: вскоре началась война, они с Жоркой ушли на фронт, а демобилизовавшись, как раз здесь, в Литве, где об аресте отца никто не знал, решили писать в анкетах, что он погиб на фронте… За все эти десять лет они от него не получили ни одной весточки, — он осужден без права переписки. А сегодня как раз истекают эти десять лет, отец может вернуться, правда все равно всплывет, поэтому они решили сами признаться. Георгий — он впервые так назвал брата — уже все рассказал своему первому секретарю*. (*Георгий Федоровцев тогда был вторым секретарем Горкома комсомола.) Завтра состоится экстренное заседание бюро, его, конечно, исключат из партии и снимут с работы. Сережа опять умолк. Я спросила, говорил ли он уже со своим парторгом, в консерватории? Да, говорил. Парторг велел изложить свое признание в письменном виде и в двух экземплярах — один для них, другой — для райкома партии. Потом, наверно, будет то же самое — выгонят из партии, вышибут из консерватории. Могут уволить и из филармонии. Поэтому он и решил меня предупредить, чтобы я по своей привычке за всех заступаться, не ринулась его спасать. Спасать не пришлось, — уволить его не потребовали. Был только "рекомендательный" телефонный звонок Федаравичюсу, чтобы фамилию такого-то аккомпаниатора на афишах не печатать, и в основном занимать его в концертах, проводимых на периферии. Зато на партийном собрании в консерватории ему пришлось выслушать обвинения во всех грехах: и в обмане партии, и в сокрытии вражеской сути отца, и в порочащем звание коммуниста двуличии, и в непорядочности по отношению к товарищам по партии. Правда, кто-то все же осмелился напомнить, что в годы студенчества он к учебе, а теперь к работе относится добросовестно. Конечно, не это напоминание сыграло роль в том, что из партии его все же не исключили. Как потом ему рассказал по большому секрету тот же защитник — это райком рекомендовал от исключения воздержаться, чтобы не портить показатели по району. Партийная организация консерватории и так малочисленна. А он воевал и этим частично искупил свою вину. Так что Сереже только объявили строгий выговор с занесением в личное дело. Возможно, для того, чтобы не было в отчетах такого чрезвычайного происшествия, как исключение из партии, Георгия в рядах коммунистической партии тоже оставили, и тоже со строгим выговором. Зато на экстренно созванном заседании бюро негодования, осуждения и обвинений было гораздо больше. И от должности отстранили в тот же день.

ОТ СВОИХ НАМЕРЕНИЙ НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ

Так я с Сережей своими волнениями не поделилась. Не только сразу после его "исповеди", но и потом: время проходило, его отец не возвращался, и они с матерью и братом поняли, что его нет в живых…*(*Только после смерти Сталина сыновья узнали, что на самом деле означает формулировка "Десять лет без права переписки". А вместе со справкой о посмертной реабилитации отца, им вернули часы, изъятые при аресте.) Поделилась я своими волнениями с папой. Ему мой выбор явно не понравился. Он сказал, что драматургия — не специальность. (Видно, он решил, что хочу быть драматургом по тому, что знал о моем участии в конкурсе на современную пьесу.) Я ему сказала, что еще не решила кем стать, что просто хочу учиться в *Литературном* институте. Папа стал мне объяснять, что в жизни надо иметь конкретную профессию — врача, инженера, преподавателя. В наше время самая перспективная — инженеры. Техника развивается и можно выбрать специальность в любой области. А заниматься литературой это не мешает. Чехов был врачом, Саломея Нерис — учительницей, Бородин — химиком. Химию я сразу отвергла. Медицину тем более: даже когда делают укол, боюсь смотреть. В учительницы не гожусь, — не хватит терпения из года в год повторять ученикам одно и то же. Я хочу писать. Учиться в Литературном институте, только на заочном отделении, — не хочу расстаться с Филармонией. И не хочу опять уезжать из Вильнюса, снова жить среди совсем чужих людей. Уж не говоря о том, что если учиться на очном отделении, значит, жить на стипендию и часто недоедать. Я уже наголодалась, хватит. Папу мои намерения, видно, серьезно беспокоили. Через некоторое время он опять завел разговор о том, что человеку в жизни необходима более определенная профессия. Что на создание пьесы, наверно, должно уйти не меньше года или даже больше, а ее могут посчитать неудачной или не принять по идейно-политическим причинам. Ведь к литературе и искусству у нас предъявляют особые требования. ЦК партии даже специальные постановления принял — о журналах "Звезда" и "Ленинград", об опере Вано Мурадели "Великая дружба". Осуждено творчество виднейших писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, то и дело появляются статьи, резко критикующие произведения других писателей. А у меня, еще неопытной, тем более могут находить недостатки, как уже нашли

в пьесе, которую я подавала на республиканский конкурс. Об этом я не думала: и не хотела, и некогда было. Я готовилась к экзаменам, кончала перевод Саянова, переписывала свою злосчастную пьесу, которую еще надо было перевести на русский язык, чтобы послать на конкурс по творчеству. В конце концов папа смирился с моим странным выбором. Будучи в Москве, зашел в Институт, и привез напечатанные на ротаторе Правила приема. Вступительная их часть, казалось, нарочно предупреждала меня, что "Литературный институт им. А.М.Горького при ССП СССР имеет своей целью дать высшее литературно-филологическое образование начинающим писателям, которые уже выявили несомненное творческое дарование в областях поэзии, прозы, критики и драматургии". Я, конечно, сникла, — ведь никакого творческого дарования я не выявила. Выходит, не преувеличивала тогда Изина родственница, в институт на самом деле принимают только хоть и начинающих, но *писателей.* Дальнейшее тоже озадачило. Там было сказано, что без экзаменов принимаются лица, окончившие среднюю школу с золотыми и серебряными медалями, а также "участники Отечественной войны, окончившие школу с аттестатом отличника, независимо от года окончания". А я ведь не участник войны. Да и медалистов и отличников принимают только "при условии, если их творческие работы соответствуют требованиям, предъявляемым к поступающим". А эти требования безусловно очень высокие… Увидев, что я приуныла, папа объяснил, что об участниках войны сказано потому, что до войны медалей не выдавали. А поскольку в вечерних школах и теперь не выдают, то я должна попросить в Министерстве просвещения справку о том, что на основании такого-то Положения или Инструкции тоже имею право быть принятой в ВУЗ без экзаменов. А еще мне следует обратиться за рекомендательным письмом в Союз писателей, и непременно получить в Издательстве подтверждение того, что я перевела на литовский язык и готовится к изданию роман Лауреата Сталинской премии Саянова "Небо и земля". Такое же подтверждение, что перевожу песни советских композиторов мне следует взять и в Филармонии. Словом, кроме перечисленных в Правилах приема документов, надо представить как можно больше свидетельств о том, что у меня есть способности к литературному труду. Этих "свидетельств" на самом деле оказалось много. Но не было среди них анкеты. Наша решительная Рида не дала ее вложить. — Хватит им автобиографии. Я пыталась возразить: в ней же все равно пишу, что была в гетто, и называю оба концлагеря. Но Рида только махнула рукой: не все знают, что такое гетто, и для кого оно

было. А в концлагеря вывозили и русских, и поляков, и некоторых неугодных литовцев. Сама же рассказывала, что писатель Балис Сруога тоже был в Штуттгофе. Отвергла она и второй мой довод: на фотографии увидят, что внешность отнюдь не арийская. А чтобы я, "честная дура", все-таки не сунула свою анкету, сама укладывала в большой самодельный конверт все остальное: пьесу, аттестат, автобиографию и все справки, которые я послушно собрала, хотя просить каждую было очень неловко. На почту Рида тоже пошла со мной. И всю дорогу я ей, как она это назвала, "нудила", что все же анкету надо было послать. В институте все равно спохватятся, что ее нет. В институт меня приняли, не заметив, что нет анкеты. Спохватились только к конце первой сессии. Заведующий заочным отделением Таран-Зайченко решил нам сделать подарок — организовать в один из последних дней сессии экскурсию на какой-то знаменитый завод. Естественно, для получения пропусков туда надо было заранее представить список. Наши фамилии и адреса у секретаря заочного отделения были — она же нам высылала разные программы и методические разработки — так что список этот она составила, и принесла в аудиторию, чтобы каждый вписал туда серию и номер паспорта, когда и кем он выдан. Но оказалось, что в списке есть и графа "национальность", и рядом с моей фамилией напечатано "литовка". Я это слово аккуратно вычеркнула, и вывела "еврейка". На следующей перемене секретарь мне принесла заполнить анкету: ее почему-то в личном деле нет. Заполняла я ее с большим облегчением: наконец перестану чувствовать какую-то постоянную неловкость, что оказалась тут обманным путем. Теперь я здесь на тех же правах, что и все. И больше прежнего радовало, что в зачетной книжке уже заполнены пять строчек. На трех, кроме названия предмета и даты стоит слово "зачет", а на двух — "отлично". Это за экзамены по языкознанию и логике. Экзамена по языкознанию я очень боялась, — дома не могла к нему готовиться, потому что в списке рекомендательной литературы были указаны только работа Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" и статьи в газетах, восхвалявшие ее. Я брошюру Сталина прочла трижды, но поняла только, что теория Марра является вульгаризаторской и немарксистской. А ведь на экзамене будет много билетов, и в каждом, наверно, по три вопроса. Да и в самой раскритикованной Сталиным теории я ничего не поняла. Как же все языки мира могут брать начало всего от четырех, да еще таких неблагозвучных элементов, как "сал", "бер", "йон", "рош"? Чтобы их запомнить, я придумала: "бери сало, и режь его". Но от этого происхождение всех языков мира не стало более понятным. И уже чего я не могла даже вообразить —

как в языке могут быть революционные взрывы. К счастью, обзорные лекции нам читал давний противник теории Марра, профессор Реформатский. Добродушный, улыбающийся, он с большим удовольствием критиковал ее. Кроме того, принес нам свою книгу, которая в свое время была изъята из всех библиотек. По этому единственному экземпляру на всех, мы и готовились к экзамену коллективно. Экзамен Реформатский принимал очень своеобразно: когда мы, первые пятеро приглашенных, сели готовиться, он вышел из аудитории! Ребята быстро извлекли свои конспекты, и стали поспешно выписывать ответы. Я в начале на такую смелость не решалась, — ведь профессор может каждую минуту вернуться. Но от волнения позабыв выученное, последовала их примеру. Вернулся он минут через пятнадцать, и почти весело спросил, кто хочет отвечать первым. Пошел Гусев из Томска. Он уже почти писатель — напечатал в разных газетах десять рассказов, и собирается в будущем году издать целый сборник. Отвечать он начал очень уверенно. Реформатский слушал с подчеркнутым вниманием, но как-то лукаво улыбаясь. И неожиданно прервал его: — Это вы безусловно знаете. Теперь поговорим о другом. — И тихо спросил, судя по выражению лица Гусева, явно не по билету. У Гусева так зарделись уши, что стали под цвет его темно-рыжых волос. Я еще больше заволновалась: значит, меня профессор тоже будет спрашивать не по билету. А я же все забыла! Сдавать я пошла последней. Но, как ни странно, и на "небилетные" вопросы ответила. С облегчением смотрела, как он выводит в зачетной книжке "отлично". Однако радоваться некогда было, — предстоял экзамен по логике, и я была в полной растерянности: уже на первой лекции профессора Асмуса поняла, какую сотворила глупость, готовясь дома по учебнику на литовском языке! Все определения, термины, названия я знала только по-литовски, и пока, слушая профессора на лекциях, силилась мысленно их переводить на русский, упускала дальнейшее. Так что вскоре я стала просто, уже и не стараясь вникнуть в смысл, механически записывать за ним. Спасали неожиданные экскурсы Асмуса в поэзию. Он прочитывал с нескрываемым восторгом наизусть стихотворения или большие отрывки из поэм. Иногда, и, казалось, вне всякой связи с тем, что объясняет, "переключался" на музыку. Напевал главную, а заодно и побочную темы из такой-то части такой-то симфонии, объяснял ее разработку. И уже совсем поражал, когда с такими же познаниями уводил нас в… астрономию. Тем более было неловко так много знающему и умному человеку признаться в своей глупости. Я честно каждую ночь готовилась к экзамену. Перечитывала то, что законспектировала на его лекциях, взяла в

библиотеке учебник на русском языке, даже составила словарик терминов, но в голове все равно все было на литовском. И я решила попросить у Асмуса, чтобы разрешил сдавать ему экзамен во время следующей, весенней сессии. Объяснила причину. Но профессор даже не удивился. Наоборот, успокоил, что в этом нет ничего страшного, могу свои знания излагать в вольном переводе, он постарается понять. Очевидно, на самом деле понял. Задал всего один дополнительный вопрос, и тоже написал "отлично". Оставалось обсуждение на творческом семинаре так называемой курсовой работы — одноактной пьесы для самодеятельности. Этого я с первых же дней боялась больше всего. Писала я ее очень неохотно, и поэтому долго ничего не получалось. А потом уже просто надо было торопиться как-то закончить, чтобы еще успеть перевести на русский язык. Дни обсуждений, даже чужих пьес, для меня были самыми трудными, — очень мне на них было не по себе. Выступать я не решалась, хотя намеченные к очередному обсуждению пьесы, как было положено, прочитывала. Но я не осмеливалась, как другие, уверенно высказывать свое мнение. Когда остальные участники семинара между собою спорили, мне то казалось, что один прав, то — что другой. А главное — я не хотела показаться ничего не смыслящей в глазах руководителя нашего семинара Ромашова. Он очень знаменитый драматург, его пьесы идут во многих театрах всего Советского Союза. Одну — "Огненный мост" — поставили и в Вильнюсе, к годовщине Октябрьской революции. И вообще он так много всего знает, так интересно и значительно говорит. Я была уверена, что такому человеку моя пьеса не понравится. И не только ему, остальным тоже. Про себя я мечтала лишь об одном — чтобы моя очередь до конца сессии не дошла. Но она дошла… Никто почему-то не хотел высказаться первым. Ромашов стал давать слово всем по очереди. И каждый как-то вяло произносил по одной-две фразы. Что в пьесе затянута экспозиция. Что не индивидуализирована речь действующих лиц. Что не совсем ясно отношение автора к своим героям. Что очень схожи имена двух действующих лиц, хорошо бы одному из них дать другое, чтобы не путать. Я не понимала, почему они говорят только об этом. Ведь на прежних обсуждениях высказывались обстоятельно. Еще и между собою спорили. А теперь едва выдавливают из себя несколько слов. И я в ужасе стала догадываться: потому ничего не говорят, что говорить о такой пьесе *нечего*. И со страхом ждала, что скажет Ромашов. А он почему-то улыбался. И начал с того, что я, по-видимому человек добрый. Я очень смутилась, — при чем тут доброта? И продолжал, так же улыбаясь: не хочу, чтобы зритель, заплатив за билет в театр, еще и волновался. И все-таки я ничего

не понимала. Пока он наконец не сказал, что только этим можно объяснить, почему в пьесе ничего не происходит, а герои только рассказывают друг другу явно уже известное собеседнику. Поэтому он бы мне посоветовал все же не забывать, что главное в драматургии — действие. Не зря ведь обозначается, что такая-то пьеса в стольких-то *действиях*, а исполнителей называют *действующими* лицами. Так что, заключил он — и, видно, чтобы меня утешить, снова улыбнулся — не надо жалеть зрителя, пусть немного поволнуется. Мне было очень стыдно: как же я сама не понимала, что в этой пьесе ничего не происходит? Зачет Ромашов все же поставил. Но я еще долго краснела, вспоминая это обсуждение. Поэтому старалась его не вспоминать и только радоваться, что первую сессию сдала. Правда, в Вильнюсе эту радость затмила одна тучка. Вернувшись из Москвы, я в первый же выходной побежала к Фриде с Борей, куда собралась вся наша компания. Восторженно рассказала об институте, профессорах, лекциях. Но мои восторги неожиданно прервал Боря, тот самый Боря, который в свое время уверял, что с моим "пятым пунктом" меня не примут. Он спросил, читали ли нам лекцию о Мандельштаме. Я растерянно спросила, кто это такой. И Боря махнул рукой: — Грош цена такому *литературному* институту, в программе которого нет Мандельштама. Я, конечно, институт защищала. Но Боря остался при своем мнении. Вскоре я его "грош цена" почти забыла. Из института стали присылать объемистые бандероли с новыми планами занятий, методическими разработками и списками обязательной литературы по каждому предмету уже на второй семестр. Теперь и предметов и тем, и списков было намного больше, нежели в первом семестре. Но фамилии Мандельштама я ни в одном не увидела. Только думать об этом некогда было. Время бежало очень быстро. Я читала, записывала, конспектировала. Больше всего времени уходило на конспектирование трудов Ленина и Сталина. Но без предъявления конспектов — об этом нас предупредили — не будем допущены к экзамену по основам маркизма-ленинизма.

НОЧНОЙ СТРАХ

Законспектировать я успела все и повезла на весеннюю сессию две толстенные тетради. Только они могли не понадобиться… Мы, заочники, сдавали экзамен на следующий день после очников. Поэтому, когда они сдавали, мы по очереди дежурили у двери аудитории, и у каждого выходящего спрашивали, какие ему достались вопросы. Потом, вечером, все вместе готовились уже конкретно по ним. Один зачитывал вопрос, кто-то, знающий ответ, излагал его. Еще кто-нибудь уточнял или дополнял. И вот, когда обладатель очередной части вопросов зачитал: "Речь товарища Сталина на ХУШ съезде партии", я неожиданно ляпнула: — Ну, тут главное — потрепаться! По наступившей тишине я поняла, что сказала. Поспешно стала исправляться: надо перечислить все поднятые в докладе вопросы — и о подборе кадров, и об укреплении мощи Красной армии, и об улучшении материальной помощи трудящимся. Но это не помогло. То, что я ляпнула, осталось. Больше я за весь вечер не проронила ни единого слова. С трудом понимала о чем говорят. В ушах стоял собственный голос: "Тут главное — потрепаться!" Я хотела только одного — скорей уйти отсюда. Наконец повторили последний билет. Быстро собрав свои книги, конспекты, я выбежала, но в садике, уже почти у самых ворот в ограде, меня догнал московский Петр (на курсе было два Петра, поэтому мы одного, столичного, называли московским), и весело спросил: — У вас в Прибалтике все так говорят? Я хотела сделать вид, что не поняла, о чем он. — Как? — Ладно, ладно, меня можешь не бояться, — он вышел за ворота и свернул налево, к улице Горького. А я свернула направо. Поплелась к Никитским воротам. Недалеко от них, в Хлебном переулке, я снимала у старушки угол. Вернее, отгороженный от небольшой комнатки шкафом закуток, куда был втиснут старенький, с вмятинами диван и тумбочка. Ночью я не спала. Как когда-то в гетто, когда ожидалась акция, не разделась. И постель не постелила. Лежала, напряженно вслушиваясь в тишину, — не останавливается ли у подъезда машина. Хоть московский Петр и сказал, что могу его не бояться, но он же работает ночным корректором в газете "Правда". Гусев член партии, был на фронте. А Божко, Окунь? Они, кажется, очень идейные. Толя Милявский, может, тоже идейный, но он не станет меня выдавать. Он не только пишет стихи, но и врач, собирается защищать диссертацию. А на книжке своих стихов, которые мне подарил, написал "дружески". И Саулэскалнс не будет доносить, хотя тем, что в 54 года поступил

в Московский Литературный институт, явно хочет доказать, что он, писатель бывшей буржуазной Латвии, приобщается к советской литературе. А Мелешин? Он ведь служит в армии. Правда, рядовым. Говорил, что его с трудом отпустили на сессию. Может, сам и не стал бы писать рапорт, но Краснов может ему приказать, — он капитан. И очень кичится своими погонами, даже на сессию приезжает в форме. Наверно, чтобы преподаватели видели с кем имеют дело. А на меня он еще, кажется, и обижен: когда на днях хвастался, как здорово написал про начало войны, что "Мы отступили триста метров, чтоб взять разбег на триста верст", и все его хвалили, я молчала. И он моим молчанием был явно недоволен. Да, Краснов наверняка напишет донесение о том, как я выразилась о докладе товарища Сталина. И Мелешину велит под ним подписаться. Я лежала, уставившись в потолок, напряженно вслушиваясь в ночную тишину. Переулок спал. Наконец стало медленно светать. Отчетливей завиднелись фотографии на стене напротив, и бумажный цветок, засунутый за портрет парня в пилотке — погибшего на войне сына моей хозяйки, и лицо ее самой, беззвучно спящей на своей кровати. Только теперь я сообразила, что сюда за мной не придут, — в институте же не знают, где именно я снимаю угол. Видно, от этой мысли я заснула, потом вдруг спохватилась, что комната залита ярким солнечным светом. Старушкина кровать пуста, и уже застелена, а самой ее нет. Сразу вернулось вчерашнее… А не забрали потому, что не знают, где я. Возьмут в институте. Я надела чистое белье. Аккуратно сложила на тумбочке книги — отдельно библиотечные, и отдельно свои. В верхнюю первой стопки сунула бумажку с надписью "библиотечные", а под вторую — деньги, которые еще должна хозяйке. В институт брела медленно. Приближаясь к нему, еще издали старалась разглядеть, стоит ли перед оградой крытая машина, в каких возят арестованных. Но там ее не было. И в садике не было. Может, Краснов еще не успел написать? Конечно, не успел. Я же это сказала вчера поздно вечером. Все здоровались со мной, как обычно. На Краснова я боялась взглянуть. Прозвенел звонок, и в аудиторию вошел, тяжело передвигаясь на костылях, профессор Тимофеев. Началась лекция. Я записывала за Тимофеевым его объяснения. Все было, как обычно. И я удивлялась этому… Назавтра страх немного притупился. Потом и вовсе стал отдаляться. Особенно после экзамена, когда Краснов меня похвалил: — А ты молодец, на одни пятерки чешешь! Я сама удивилась, что на одни пятерки. Правда, не совсем понимала, почему это называется "чесать".

"ЧИСТКА КАДРОВ"

Зря я грешила на него. Он не донес. Не только он, никто не донес. А в Вильнюсе меня ждали новые волнения. Папа к тому времени больше не работал в юридическом отделе Совета Министров, — не дожидаясь, пока его, беспартийного еврея, тоже обвинят в космополитизме и уволят, сам подал заявление об уходе. Тем более, что во ВЮЗИ работы прибавлялось — филиал расширялся, а папа был не только его директором, но и преподавал. Правда, в "ранге" всего лишь старшего преподавателя, хотя при окончании университета в Лейпциге ему было присвоено звание "Doctor juris", и большинство слушателей даже за глаза называли его "доктор Рольникас"*. (*Советские инстанции полученных заграницей званий и степеней не признавали. Вовремя узнав об этом, небольшая группа литовских ученых сразу после войны послала в Москву ходатайство о подтверждении их званий, и получили подписанное В.Молотовым разрешение считать их научную степень соответствующей званию доктора наук. Последующие ходатайства, среди них и список, в котором был папа, остались без ответа.) Но уважение слушателей и переполненные аудитории на папиных лекциях не имели никакого значения для его заместителя Огурцова, в свое время направленного сюда райкомом партии, который хотел воспользоваться обстановкой, и стать директором. Заручившись поддержкой претендовавшего на должность заместителя директора другого преподавателя, Аджалова, тесть которого работал в Центральном комитете партии, он стал открыто добиваться папиного смещения. А при таких крупных "грехах", как учеба заграницей, беспартийность и принадлежность к нации "безродных космополитов", это было очень легко. Папу от руководства филиалом отстранили, а директором, естественно, стал Огурцов. Новый директор взялся за "чистку кадров": кого-то уволил, кто-то по его настоятельному "совету", сам ушел. Папе он такого "совета" не давал, — видно, понимал его бесполезность. Зато однажды на доске объявлений появился приказ о том, что старший преподаватель Г.Рольникас систематически не укладывается в отведенное для лекции время. Правда, пример был приведен всего один — что такого-то числа он после звонка продолжал читать еще четыре минуты, за что ему объявляется выговор. Вскоре последовал второй, на сей раз за то, что старший преподаватель Г.Рольникас окончил лекцию несколькими минутами раньше. Для увольнения требовался третий. И на одной из лекций неожиданно появилась стенографистка, которой

Огурцов — конечно, не предупредив папу — поручил стенографировать папины лекции. Стенограммы были отправлены в Москву. Но, видно, Огурцов все же не решился открыто написать с какой целью их посылает, и рецензии были положительными. Тогда он пошел самым испытанным и действенным путем. 27-го июля 1951-го года в газете "Советская Литва" появилась статья за подписью того же Н.Огурцова "Филиалу необходима помощь". После нескольких вводных сообщений о том, что Вильнюсский филиал Всесоюзного юридического заочного института создан в 1945-ом году, что он — один из самых молодых высших учебных заведений Литовской ССР, и что только за два последних года филиал выпустил 150 специалистов с высшим юридическим образованием, что значительная часть педагогической работы выполняется специалистами, приезжающими из Москвы, и что в составе преподавательского коллектива имеются и местные квалифицированные силы, посетовал на то, что наряду со всеми этими положительными явлениями"…преподавание некоторых теоретических курсов до сих пор находится на низком идейно-теоретическом уровне. Лекции по такой ведущей дисциплине, как советское гражданское право, читаемые старшим преподавателем Г.Рольникасом, преподносятся студентам явно неудовлетворительно, объективистски, с позиций, которые ничего общего с наукой советского гражданского права не имеют". Для вида покритиковав двух русских преподавателей — Новикова и Кутузова — он сообщил, что "до последнего времени в институте подвизались и совершенно случайные люди — всезнающие халтурщики, рвачи, среди которых печальную известность снискал себе некий Иоффе". Не был образованнейший Йоффе ни халтурщиком, ни рвачом, и ничего, кроме хорошего, никто о нем не говорил. А еще обвинил он папу в том, что"…в течение ряда лет в институте почти не велось никакой политико-воспитательной работы среди студенчества. Прежнее руководство филиала (то есть опять же наш папа, увольнения которого он все же добился) в течение ряда лет открыто культивировало политически вредный и антипартийный тезис о том, что политико-воспитательная работа в задачи заочного института якобы не должна входить. Воспитательная работа и сейчас поставлена плохо. Правда, недавно созданная в институте парт. организация стала регулярно выпускать стенную газету, созывает студенческие собрания. Однако это лишь первые шаги". И далее: "…можно с полным основанием сказать, что в повседневной деятельности института не было и пока еще нет главного условия для успешной работы — воинствующего духа большевистской

партийности и принципиальности, непримиримости к недостаткам. В чем же причины такого положения дел в институте? Прежде всего, они кроются в том, что институт не был тесно связан с местными партийными организациями…" И так далее в том же роде. Папа свое увольнение очень переживал, и решил поехать в Москву, чтобы доказать незаконность и необоснованность этого увольнения. Не для того, чтобы продолжать работать, а чтобы, добившись восстановления, в тот же день самому уйти. Папа не привык отступать от того, что считал нужным сделать, и в Москву поехал. Рассчитывал там пробыть неделю, но задержался почти на месяц. В какие инстанции обращался, к каким начальникам добивался приема — не рассказывал. Вернулся усталый, осунувшийся, но все же с рекомендацией директору Вильнюсского филиала ВЮЗИ тов. Огурцову старшего преподавателя Г.Рольникаса на работе восстановить. Это письмо вместе с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию, конечно, относил не он, а я. Огурцов — форма его головы вполне соответствовала фамилии — сидел за тем же папиным, когда-то привезенным из дому письменным столом. Московское письмо он, ухмыляясь, пробежал глазами, а в заявление даже не заглянул. Не читая, бросил в ящик стола, и задвинул его. — Все равно твоего батю никуда на работу не примут. — И уже совсем издевательски добавил: — Придется тебе взять его на буксир. Я долго бродила по улицам, сворачивая с одной на другую, чтобы еще не сразу пойти к папе. В голове вертелось одно и то же — он *не сможет* не ходить на работу! Когда я бываю недовольна, что из-за какого-нибудь дневного концерта-лекции должна в воскресенье тащиться в филармонию, он удивляется: как можно роптать? Ведь работа — это удовольствие! Честно говоря, мне тоже нравится все время быть занятой. А ворчу я оттого, что просто неинтересно торчать за кулисами просто так, "на всякий случай". Что же папа будет делать, если его действительно никуда не примут? Кира Александровна ему давно, еще когда только началась эта огурцовско-аджаловская травля, советовала уйти из института и подыскать себе более тихую работу, к примеру, юрисконсульта в каком-нибудь неприметном тресте. Там он не так будет на виду, и они его оставят в покое. Может, она и была права, но я папу работающим в каком-то тресте не представляла себе. У него же два диплома юриста — Лейпцигского и Каунасского университетов, до войны он был известным адвокатом, после войны заведовал юридическим отделом Совета Министров, и именно Совет Министров, когда надо было организовать в Вильнюсе филиал ВЮЗИ, рекомендовал его в

директора. И вдруг — всего лишь юрисконсульт в каком-нибудь тресте. Даже Мира, лишь недавно окончившая университет, работает в Клайпеде адвокатом. И хоть я не хотела, чтобы он работал в каком-то тресте, теперь, после угрозы Огурцова, уже боялась, что его и туда не примут… Но папа, вопреки советам Киры Александровны, не стал искать места юрисконсульта, а хлопотал, чтобы его вернули в адвокатуру. На все ее доводы — что это безнадежно, что он только обрекает себя и ее на лишние переживания и унижения, что после критики в газете, где сказано, что его позиции "ничего общего с наукой советского гражданского права не имеют", коллегия адвокатов принять его не решится, тем более, что они в его возвращении не заинтересованы: еще один адвокат в консультации лишает каждого из них какой-то доли заработка. Но папа на все ее доводы отвечал, что другой работы для себя не мыслит. Я его понимала. Мне вообще все эти годы казалось, что, несмотря на такие важные должности в Совете Министров и ВЮЗИ, он тоскует по своим выступлениям в суде, вернее, по возможности *защищать*, добиваться смягчения наказания, особенно если считал, что его подзащитный только оступился. Не зря дома, в кабинете висела репродукция картины, на которой был изображен беспомощно поникший почти голый человек, запутавшийся в целой горе змеевидных параграфов. Единственной свободной рукой он взывал о помощи, и адвокат в тоге протягивает ему свою руку. О том, что он собирается обратиться к заместителю министра юстиции, я узнала только потому, что он попросил меня напечатать заявление. Оказалось, что этот заместитель министра — его бывший студент, человек, видно, порядочный, и, понимая, какая по отношению к папе допущена несправедливость, все же договорился с коллегией адвокатов, что папу туда примут, вернее, восстановят. Правда, при условии, что он не будет претендовать на работу в Вильнюсе и Каунасе, а поедет на периферию. И папа поехал в Клайпеду, — там жили Мира с мужем и маленьким Микасом. Наконец я стала заниматься. Но все чаще в эти вечерне-ночные чтения и конспектирования вторгалась уже ставшая почти неотвязной мысль: не напрасно ли все это? Ведь "борьба с космополитизмом" продолжается. Правда, по давней привычке я принималась отгонять от себя страх: "космополитами" называют только известных деятелей, а я всего лишь студентка второго курса. Но тут же появлялось другое: а если институт тоже должен обнаружить у себя "космополитов", притом не только среди преподавателей? А я в анкете указала, что знаю еврейский язык. Пьесу написала на литовском. Учусь в русском институте. Меня

вполне могут посчитать "безродной". К тому же я во время войны находилась не просто на оккупированной территории Литвы и Латвии, но и за рубежом. Ведь Штуттгоф был в Польше. Я очень старалась не поддаваться этим ночным "налетам безнадежности". Папа же в самые трудные для себя дни уверял, что это — лишь временные функциональные ошибки. Но мне казалось, что более прав Йонайтис: власти организовали всю эту шумиху, притом исказив подлинный смысл понятия "космополит", специально, чтобы направить недовольство людей на придуманных врагов. Наверно, Йонайтис прав. Только эти враги — опять мы… Я обрывала себя: нельзя говорить "опять". Это кощунственно. Ведь теперь *только* критикуют и *только* увольняют. И то не всех. В филармонии никого не уволили. И в консерватории, кажется, никого. А папу все-таки в адвокатуре восстановили. Пусть благодаря его бывшему студенту, и при условии, что уедет на периферию, но восстановили. И там, в Клайпеде, он снова работает адвокатом, выступает в суде. Но это здесь, в Литве. А в Москве все жестче. И если Литинституту велят выявить "космополитов" и среди студентов, то даже особенно искать не придется. И меня исключат… И так каждый вечер. Стоило раскрыть учебник, как эта боязнь появлялась. И все труднее становилось ее отгонять… Так же трудно, как не возвращаться воспоминаниями в гетто и лагерь… Однажды я виновато достала из нижнего ящика свои перевязанные черной ленточкой тетради. Разложила на столе тогдашние знаки нашего унижения — желтые звезды, повязки, жестяной нашейный номерок, "аусвайзы". Стала перечитывать написанные на них фамилии. Тогда эти люди еще были живы. Теперь их нет. А я осталась. Работаю. Учусь. В лагере я не думала, что именно буду делать, если доживу до освобождения. Никто, кажется, не думал. Мечтали только дожить, вернуться домой. И дом нам виделся прежним. И еще нам виделось, что на столе будет лежать целая буханка хлеба, от которой можно будет отрезать сколько хочешь… Правда, после очередной акции или селекции об освобождении и доме не говорили. Лежали на нарах молча. Не говорилось, когда место рядом опустело. И чуть дальше опустело — нет тех двух женщин, которые еще вчера тут лежали. И на углу стало пусто… Лишь иногда в этой тишине кто-нибудь вздыхал: "Господи, хоть бы счастливцы, которые будут жить после войны, узнали, что эти изверги тут творили с нами. Хоть бы узнали!" Потому я и записывала, что они творят. Еще про себя повторяла, чтобы помнить наизусть. До сих пор помню… В первое время ведь пыталась рассказывать. Когда начала работать в Управлении по делам искусств, пыталась. Но вскоре перестала. Почувствовала,

что одним, слушая, становится как-то неловко передо мной, другие мой рассказ воспринимают, как желание вызвать к себе сочувствие. К тому же возвратом в то время, когда мы были разделены "расовой теорией", я как бы снова отделяла себя от них. Но ведь и своим, от кого я неотделима, не рассказываю. Только в самом начале… Тогда возвращались демобилизованные из армии и успевшие в первый день войны эвакуироваться. Не найдя никого из своих родных, старались отыскать хоть какой-нибудь их след. Тогда многие расспрашивали, не была ли я вместе с тем-то, не слышала ли о таких-то. Но я только одному офицеру смогла рассказать о его сестре. Остальным виновато объясняла, что в гетто трудно было всех знать, потом нас, отобранных для работы, отправили в разные лагеря. А в Штуттгофе даже внутри лагеря каждые два барака были отделены друг от друга оградой. Со временем спрашивать перестали. А теперь… Теперь вообще не хотят об этом знать… Видно, обнаружить космополитов среди студентов, тем более заочников не требовали (да и кроме моего однокурсника Лиходеева и меня, кажется, евреев не было), и я сдала обе сессии — зимнюю и весеннюю. А во время весенней еще успела дважды сходить в Большой театр и дважды — в Малый. На эти походы меня подбивала Регина. Тоже виленчанка, она поступила в институт годом позже, и была еще только на первом курсе. Занималась она без особого усердия: пропускала лекции, почти не готовилась к экзаменам. Подтрунивала над моими волнениями перед каждым — неужели мне обязательно нужна пятерка? Я ей объясняла, что дело не в пятерке, а в том, что стыдно сидеть перед преподавателем и что-то беспомощно лепетать. Или оправдываться, что не успела подготовиться, потому что очень занята на работе. Есть у нас один мастер именно так сдавать экзамены: еще только садясь отвечать, он успевает "ввернуть" преподавателю о своей двойной нагрузке, так как кроме основной работы, он еще и секретарь партийной организации. И никто из преподавателей не решается секретарю партийной организации поставить меньше четверки. Лекций я не пропускала, хотя Регина меня и убеждала, что в такую жару лучше посидеть в сквере, но в театр, особенно после экзамена, отправлялась с большим удовольствием. Иногда мы по вечерам гуляли с Сережей. В аспирантуру при Московской консерватории он, несмотря на партийное взыскание, поступил. Выговор в его учетной карточке заметили уже после того, как решили и даже успели согласовать с райкомом партии избрать его секретарем партийной организации. Но замешательство было недолгим. Ухватившись за изречение Сталина, что сын за отца не отвечает, выговор быстро

сняли, и Сережа был единогласно избран секретарем партийной организации Московской Консерватории. Это ему явно льстило. Тем более он меня огорошил, когда во время последней вечерней "выгулки" — я в тот день сдала последний экзамен, и на завтра уже уезжала — на мой вопрос, правда ли, что четвертую главу Краткого курса истории партии написал лично Сталин, Сережа хмыкнул: может, и написал, он же у нас большой ученый и великий знаток всего на свете — и истории, и языкознания, и литературы. Я в страхе оглянулась, не идет ли кто-нибудь сзади, не слышит ли. А Сережа уже не мог остановиться: да будет мне известно, что наш обожаемый вождь и учитель — просто тиран. Собственная жена, поняв это, застрелилась. Даже своих так называемых соратников он держит в страхе: жену Калинина засадил в лагерь, жену Молотова — тоже. А соратнички, ничего, утерлись. Продолжают его восхвалять. Потрясенная, я никак не могла поверить, что все это — правда. Хотела спросить, откуда он это знает. Но не решалась. А Сережа вдруг с горечью сказал, что сам не лучше их. Ладно, в партию вступил, это было на фронте, да и многого тогда еще не понимал. Хотя мог бы, — знал же, что его отец ни в чем не виновен. Правда, о других думал, что, может, все-таки где-то не то сказал, не то сделал. Но теперь-то, теперь уже давно все понял! А все-таки не отказался возглавить партийную организацию Консерватории. Не только потому, что не мог отвертеться, а потому, что шкурно хотел подправить свою биографию. Наконец он умолк. А я и вовсе не знала, что говорить. Неожиданно Сережа остановился возле какой-то столовой. — Зайдем. Не зря такие столовые называли "забегаловками". Как и во всех подобных, тут пахло кислыми щами и еще чем-то казенным. Под потолком плавало облако табачного дыма. За несколькими столиками одиночки деловито хлебали эти самые щи или поглощали котлеты со слипшимися макаронами. Видно, ничего другого к вечеру не осталось. Только в одном углу четверо мужчин, предвкушая удовольствие, разливали в граненые стаканы то, ради чего сюда пришли. Мы сели в противоположном углу. Сережа извинился, что сегодня он "не при финансах", и я поспешила его успокоить — у меня они есть (хотя это было сильным преувеличением), а значит, как уже не раз бывало, каждый платит за себя. Но я удивилась, что Сережа вместо еды заказал сто граммов водки и хлеба. Я быстро прикинула, что, если оставлю себе денег только на дорогу, то могу заказать по котлете с макаронами нам обоим. Водку с хлебом принесли сразу. Один кусок Сережа густо намазал горчицей, на край другого капнул немного водки и подал его мне. — Сегодня, первого июля, годовщина ареста моего отца. Раз он не вернулся, когда кончился

срок, значит, его больше нет. Помянем… — И выпил. Я откусила свой мокрый от водки краешек.

КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА С ДЕТСТВОМ

В конце лета местком неожиданно предложил мне бесплатную "горящую" — уже просрочено три дня — путевку в Палангу на оставшиеся девять дней. Дорога тоже бесплатная, — как раз идет наш автобус. Я, конечно, поехала. После войны еще ни разу там не была. Вначале я очень удивилась — тут ничего не изменилось: тот же высится из-за деревьев островерхий шпиль костела с огромными, на все четыре стороны, часами. Те же стоят по обеим сторонам улицы Басанавичаус деревья. Так же идут на пляж — поодиночке и семьями — загорелые курортники. На мгновение даже почудилось, что они — те же самые, давние. Я свернула на аллею Бирутес. Дома здесь те же, знакомые. В том, угловом, мы жили, когда я была еще маленькой. За тем окном однажды сидела взаперти. Папа меня наказал. Меня не взяли на пляж. Хотя мама заступалась, папа сказал, что мне будет полезно посидеть тут одной и подумать, правильно ли я себя веду. Они ушли. А оттого, что папа не говорил, можно ли мне выйти во двор, или хотя бы открыть окно, я стояла у закрытого окна, смотрела на пустой двор и очень завидовала Мире, что она теперь купается, играет в мяч, строит из прибрежного мокрого песка башню, или ищет, не выбросило ли море после ночи малюсенькие янтаринки. У нее и так уже больше чем у меня — почти пол спичечной коробки. По стеклу ползла муха, и я жалела не только себя, но ее тоже — нам обеим нельзя выйти отсюда… Окно и теперь закрыто. И во дворе, как тогда, никого нет. В том, соседнем доме мы жили позже. Я окончила четвертый класс, и папа хотел, чтобы за лето подготовилась за пятый, и пошла сразу в шестой. Заниматься со мною будет Мира. А в награду каждой были обещаны часики. Чтобы их заработать, мы в этом вот саду каждое утро перед пляжем, и днем, после обеда, занимались. Правда, главным образом ссорились. Потому что Мира, всего на три года старше меня, строила из себя всамделишную учительницу, задавала уроки, требовала, чтобы я ей отвечала, норовила ставить отметки. А я не хотела ни отвечать, ни чтобы она мне ставила отметки. Пусть только объясняет. Мама нас мирила, иногда сама к нам подсаживалась, но все время со мною заниматься не могла, — Рувик еще был совсем маленький. Кончилось все это тем, что папа, приехав нас навестить, и увидев наши занятия, забрал меня в город на две недели раньше, чтобы я подготовилась с настоящей учительницей. И во дворе напротив все, как было тогда. Так же висят друг против друга два гамака. По знакомому дощатому настилу я вышла к пляжу. И чуть не

вслух поздоровалась с морем! И с пирсом! Смотрела на знакомую гладь воды. Оттого, что нет ветра, она почти неподвижна. Только к самому берегу медленно, словно лениво, подкатывают крохотные волны. Слегла кувыркнувшись, они мелкими пенистыми барашками заливают сырую от их набегов полоску пляжа и сразу откатывают назад, спешат обратно слиться с этим огромным морем. Чуть подальше в воде плещутся, барахтаются и радостно визжат дети. Взрослые плавают там, где глубже. А во всю ширь пляжа густо лежат, подставив тела солнцу, любители палангского загара. Вдруг мне послышалось, словно донесся оттуда, из Штрасденгофа, голос Маши Механик, моей соседки по нарам: "Неужели ты думаешь, что оттого, что не станет какой-то Маши Механик, в мире что-то изменится?" …После побега из лагеря девяти человек, разъяренный эсэсовский офицер несся вдоль строя и тыкал плетью, кому выйти вперед. Плеть скользнула, почти коснувшись, мимо моего плеча и ткнула в Машу. Она сделала положенных два шага вперед. Я в ужасе ей зашептала, чтобы просила ее оставить, объяснила, что о побеге ничего не знала! Но она, не оборачиваясь — в строю даже шевельнуться нельзя — только это и произнесла: неужели я думаю, что оттого, что ее не станет, в мире что-то изменится. А я не понимала, как она может, зная, что сейчас ее увезут на расстрел — черные машины уже стоят у ворот — философствовать… Кто-то рядом рассмеялся, и я словно очнулась: я в Паланге, стою на дюне. Мимо прошли парень с девушкой. Это они смеялись. Неужели Маша была права, и ничего не изменилось? Просто на пляже загорают другие люди, а в воде плещутся другие дети. Нет, изменилось. Ее нет. Не только ее… А она учительница, и теперь могла бы учить детей. Правда, ее учеников тоже нет, она же работала в еврейской школе. Может, она это сказала, чтобы успокоить меня? Или хотела, чтобы я так же думала, когда и меня будут забирать, или "отбраковывать" при очередной селекции. Наверно. Но я все равно так не думала, и каждый раз во время селекции, проходя мимо унтершарфюрера в шеренге таких же худющих и посиневших от холода и страха девушек, думала только об одном: чтобы он счел, что еще могу работать… Я продолжала бродить по Паланге. И очень вскоре поняла, что только в начале казалось, будто здесь все так же, как было. Не все… Не было раньше тут, в самом центре города этого могильного бугра и памятника с выбитыми у его подножья фамилиями советских воинов, погибших за освобождение Паланги. И не было за курзалом, теперь Домом культуры, этой полянки, густо усаженной анютиными, будто детскими, глазками, и этого приземистого камня о том, что в 1941-ом году на этом

месте был пионерский лагерь, и именно в него, на спящих детей, фашисты сбросили свои первые бомбы… А в лесу по дороге на Швентойи лежат расстрелянные немцами палангенские евреи. На этом месте растет очень крупная земляника… А в бывшей синагоге теперь универмаг… Когда я вернулась в Вильнюс, меня уже ждали обычные послания из института — программы, списки обязательной литературы, методические разработки на 1952/53 учебный год. К тому же надо было срочно кончать перевод повести В.Собко "Далекий фронт". Роман Саянова уже вышел, и мой "добродетель", опять не спросясь меня, сразу договорился с издательством о следующем переводе. Само собою — на прежних условиях. И хоть я давно решила больше с ним дела не иметь (мне и выход Саянова не доставил никакой радости), когда он позвонил, чтобы я пошла в издательство подписать договор, там уже все подготовлено, у меня опять не хватило мужества отказаться. (К тому же я еще не выплатила в кассе взаимопомощи долг за поездку в Москву на экзамены и очень хотела купить себе обувь, — уж очень зимой в туфлях мерзли ноги…) Кроме учебы и перевода, я по средам и воскресеньям ходила к Кире Александровне. Папа в Клайпеде, она целый день на работе, и старенькой няне, пани Ирене, трудно одной справляться с Ганусей. Девочка все еще не ходит, хотя Кира Александровна возила ее в Москву, устраивала в больницу. При выписке ей дали с собою какое-то новое, пока только лабораторно изготавливаемое лекарство. Обещали, что благодаря ему Гануся пойдет. Но что умственно будет развиваться нормально, не обещали… Кира Александровна, наверно, и сама это понимала. Из Москвы вернулась очень расстроенная. Как обычно, стала мне жаловаться на папу. Это он уговорил ее родить ребенка. И из-за него она тут торчит. Как она его умоляла уехать в Польшу! Когда сразу после войны еще выпускали, они могли бы уехать, — у нее же до 1939-го года было польское гражданство. Но мой отец заявил, что ему там делать нечего. А он должен был ради нас уехать. Она бы и меня вывезла. Здесь меня тоже ничего хорошего не ждет. И Ганусю бы там лучше лечили. А тут скоро и лечить некому будет, виднейших врачей сажают. Знакомая, у которой она в Москве останавливалась, в ужасном состоянии, — арестовали ее родственника, известного профессора. И его коллегу, тоже еврея. Вдруг она в ужасе осеклась. Испуганно посмотрела на потолок. (Над ними, на втором этаже жил работник КГБ Андреев и Кира Александровна была уверена, что он ее подслушивает.) Я хотела ее успокоить, но она замахала руками: молчи! И в самое ухо прошептала, чтобы я, боже упаси, никому об этом аресте не проговорилась. И потом, когда мы

купали Ганусю, под шум льющейся воды, еще раз напомнила. И когда я уходила, знаком показала, чтобы я — ни слова!

ЧУДОВИЩНОЕ ОБВИНЕНИЕ

С того злополучного вечера, когда Митя, боясь, что его вышлют, принес мне доверенность на свою зарплату, и я узнала, что его отец — священник, а потом — что и сам он иногда тайком поет в церковном хоре, я поздравляла его и со старым Новым годом. Так было и на этот раз. Нарочно поставила его в расписание репетиций первым, чтобы пришел, пока еще никого нет. Но мое веселое поздравление его почему-то удивило. Спросил, читала ли я сегодня газету. Нет, еще не успела. А что? Он достал из портфеля "Советскую Литву". — Извини, что это я тебе принес такую весть. Я не понимала, за что он извиняется. Скользнула взглядом по дате — 13 января 1953 года, и… остолбенела. "АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ". Слова эти не исчезали. А оттого, что я на них смотрела напряженно, буквы начали двоиться. И вдруг я вспомнила рассказ Киры Александровны… Но почему об этом сообщают в газете? Ведь арестовывают тайком, ночью. Даже когда целыми эшелонами отправляли в Сибирь, знать об этом не полагалось. А тут сами объявили. "АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ". Митя не уходил. Видно, ждал, чтобы я при нем прочла и остальное. Я оторвалась от заголовка. "Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза". В глаза бросались крупно выделенные фамилии. ВОВСИ. ВИНОГРАДОВ. КОГАН. Еще один КОГАН, наверно, брат. ЕГОРОВ. ФЕЛЬДМАН. ЭТИНГЕР. ГРИНШТЕЙН. МАЙОРОВ. Почти все — евреи. Значит, опять… "Документальными данными, исследованиями медицинских экспертов и признаниями арестованных…" Я обомлела: признаниями?! Перечитала."…и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье". Глаза пробегали по строчкам: "…злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних…", "…ставили им неправильные диагнозы…", "…неправильным лечением губили их. Преступники признались…" Опять — "признались". Не могли они признаться! И губить никого не могли! Они же врачи! Но надо было читать дальше: "…признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А.Жданова… назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А.Жданова…"."…Преступники

также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова…"."…Старались подорвать здоровье советских руководящих военных кадров… Маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других, однако арест расстроил их злодейские планы… Установлено, что все эти врачи-убийцы состояли в наемных агентах у иностранной разведки". Больше читать не могла. Только глянула на последнюю строчку. "Следствие будет закончено в ближайшее время". Митя вышел. А мне надо было допечатать программу концерта. Пальцы печатали, а в голове отдавало "врачи-убийцы", "вредительское лечение"… Днем позвонила Кира Александровна и попросила, чтобы я после работы сходила в поликлинику за рецептами для Гануси. Говорила она спокойно. Значит, газету еще не видела. Едва дождавшись пяти часов — очень трудно было весь день делать вид, что он обычный, что ничего не случилось — я пошла в поликлинику. Удивилась, что в коридоре толпится как никогда много народа. Даже не понять было, кому в какой кабинет. Наконец я разобралась и пристроилась за женщиной со спящим на ее плече мальчиком. Она его гладила, но он все равно вздрагивал, — видно, и во сне болело перевязанное ушко. Мать устало вздохнула: — Могли бы для собрания найти другое время. — Значит, не могли! — сердито пробасил мужчина за моей спиной — Собрание очень важное. Думаете, те врачи действовали в одиночку? Ничего подобного! Наверно, и сюда затесались такие же фельдманы. Надо как можно скорей, пока и тут не натворили бед, их выявить и вывести на чистую воду. У меня остановилось сердце. А он еще больше распалялся. — Я всегда говорил, что им нельзя верить, что все ни — враги народа. Еще хорошо, что их, наконец, разоблачили, а то посягнули бы и на здоровье товарища Сталина. Да, жаль, что Гитлер не всех… Я выбежала из очереди. Заторопилась к лестнице. Кажется, кто-то ему сказал: "Зачем вы обидели человека?" Но я бежала вниз. — Что-то случилось с вашей сестренкой? Я не сразу узнала нашего врача. Она поднималась мне навстречу. — Нет, ничего… — Только голос дрожал. — Я — за рецептами… Но приду в другой раз… завтра… у вас же собрание. Докторша мрачно бросила, что оно кончилось, и почему-то взяла меня за запястье. Стала считать пульс. Велела тут посидеть. Рецепты мне принесут. Я сидела. Но дрожь унять не могла. "Жаль, что Гитлер не всех…", "Жаль, что Гитлер не всех…" Я боялась, что этот человек сейчас спустится, было не по себе, что мимо меня проходят, что меня видят… "Жаль, что Гитлер не всех…" Тот, охвативший в поликлинике, испуг больше не возвращался. Теперь было другое. Я по утрам со страхом раскрывала газету, — боялась увидеть очередную статью, или

гневную резолюцию собрания коллектива трудящихся, или негодующее письмо в редакцию, в которых виднейших медиков страны называли убийцами в белых халатах, шпионами, вредителями, продажными тварями, прятавшими под белоснежными халатами нож и яд, искусно замаскированной шайкой, лакеями империалистической разведки. И во всех этих писаниях требуют их строжайше наказать. Зато воздается хвала Лидии Тимашук, истинно советской женщине, вступившей с ними в единоборство, истинной патриотке своей родины, героине, спасшей русскую медицину от засилья евреев и так далее. За помощь в разоблачении этих "врачей-убийц" она награждена орденом Ленина. А еще почти каждый день кто-нибудь рассказывал, что из такой-то больницы или поликлиники уволили еще одного врача-еврея. Или что больной, придя в поликлинику, отказался брать номерок к врачу-еврею и требовал направить его к другому врачу. Или что в аптеке, увидев за прилавком провизора, как немцы бы сказали "неарийской" внешности, человек ушел, при этом, громогласно объявив, по какой именно причине он предпочитает пойти в другую аптеку. Иные, сдавая рецепт, предупреждали, чтобы лекарство ни в коем случае не готовил кто-нибудь из "этих", или даже требовали, чтобы им *показали*, кто лично будет его готовить. И лишь об одном случае, как о чуде, мы рассказывали друг другу, что один литовец, ложась в больницу на операцию, попросил, чтобы его оперировал именно такой-то хирург. И назвал хирурга-еврея. Про себя я этого человека назвала вторым Йонайтисом. Но, к сожалению, больше о подобном чуде не было слышно. Рассказывали об обратном. Только об обратном… А заниматься, читать, конспектировать все равно надо было… Иногда я со своими учебниками оставалась после работы в Филармонии, — дома, в моей комнате было очень холодно. Сидеть за столом приходилось, напялив на себя обе кофты, пальто, платок, варежки. Но и укутавшись, все равно замерзала и могла только читать. А для письменных работ оставалась вечером в филармонии. Иногда, устав заниматься, спускалась в зал послушать второе отделение концерта. В тот вечер концерт был неинтересный. (Между прочим, уровень таких концертов можно было определить уже по первым словам ведущего. Чем напыщеннее и с большим апломбом он возвещал, что участники концерта нам привезли столичный, московский, горячий, братский и так далее привет, тем меньше за этой высокопарной столичностью было искусства.) А поскольку я это приветствие случайно услышала днем, когда он "пробовал" со сцены свой голос, то в зал идти не было никакого желания, и я спустилась к

Риде. Она, как директор зала, должна была находиться на работе до конца концерта. У Риды сидел администратор этой эстрадной группы, и я, войдя, почувствовала, что прервала какой-то их, видно, секретный разговор — телефон был накрыт ее меховой шапкой. Я хотела сразу, под предлогом того, что зашла только попрощаться, выйти, но Рида меня задержала. — Еще успеешь в свой ледник. Я села. По тому, что они продолжали курить молча, я окончательно поняла, что все же помешала и попыталась подняться. — Сиди, — почти приказала Рида и повернулась к нему. — При ней можешь говорить все. — А что говорить? Это ж все слухи. — Но уж больно похожие на правду. — Рида помолчала. — Видишь ли, Машута… Невеселые творятся у нас дела. Очень невеселые. Суд над врачами, наверно, начнется в самое ближайшее время. Суд?! Значит, их, этих старых профессоров, будут судить! Я так испугалась, что не сразу поняла, что Рида уже говорит о другом. Что этим дело, скорей всего, не кончится. Что могут сослать не то в Сибирь, не то на Дальний Восток вообще всех евреев. Там уже строят бараки. А министерству путей сообщений дано секретное указание готовить эшелоны. По правде говоря, она про эшелоны и раньше слышала, но не хотела меня пугать. Я, кажется, попрощалась спокойно. И у себя, наверху, аккуратно собрала все книги, тетради, блокноты. Заперла в стол обе — литовскую и русскую — машинки. Их полагалось после работы сдавать в отдел кадров, но все уже привыкли, что я держу их у себя, знали, что ничего неположенного не печатаю. Да и образцы шрифтов зарегистрированы. Домой я шла пешком. Чтобы пока еще идти одной, — там, в Сибири, наверно, опять надо будет брести в колонне. И снова будут бараки, нары… А как же папа и Кира Александровна? Если его повезут из Клайпеды, а ее с больной Ганусей отсюда, они могут оказаться в разных местах… Может, все-таки не всех вывезут? Может, хоть Мира останется? Ведь ее муж, Владас — литовец. У Риды — наоборот. Она русская, а муж еврей. И хоть дочка записана на ее фамилию, отчество все равно "Исааковна". Меня опять увезут отсюда. Уже приготовлены эшелоны. И, наверно, тоже, как тогда, когда немцы гнали в гетто, разрешат взять с собою лишь столько, сколько смогу сама унести. А в чем понесу? У меня же ничего, кроме того холщового солдатского портфельчика, с которым вернулась из лагеря, нет. Я пошла быстрее. Надо подготовиться. Дома я достала из шкафа наволочку. Когда пришли немцы, мама в самые первые дни каждому соорудила по рюкзаку. Из наволочек. Себе — большой, из папиной подушки, нам с Мирой — из наших, а детям — из маленьких, диванных подушечек. Вместо лямок пришила

полотенца. Я тоже взяла два полотенца. Там их отпорю, будет чем вытираться. То ли от того, что в комнате было холодно, и мерзли руки, то ли от волнения, рюкзак получился какой-то перекошенный. Все равно я уложила в него почти все свое имущество: две простыни, вторую наволочку, еще одно полотенце. Между простынями засунула свои тетради с давними записями и самодельный конверт, в котором держала немецкие "аусвайзы", желтые звезды и жестяной нашейный номерок. Белье и чулки положила сверху. Вторую юбку и летнее платье надену на себя. Еду — хлеб, макароны и крупы, которые на кухне, повезу в холщовом портфельчике. Уложу все туда в последний момент. Не надо, чтобы соседи видели, что я заранее собираюсь. А обувь уже теперь можно к нему привязать. Одеяло и подушку заверну в покрывало и свяжу. Так что в одной руке будет узел с постелью, а в другой — портфельчик, а на спине — рюкзак. Может, обувь привязать к нему, а к портфельчику пришить мешочек с еще одной буханкой хлеба? Да, хлеба обязательно надо взять побольше, может, две-три буханки, — везти, наверно, будут долго. Уложив рюкзак и привязав к нему туфли, я засунула его в шкаф, и замаскировала постелью. Дверь комнаты без ключа, и когда я на работе, соседка явно заходит полюбопытствовать, что у меня на столе, что на этажерке. Наверно, и шкаф открывает. Пусть там будет все, как обычно, ведь я всегда на день складываю постель в шкаф.

СМЕРТЬ СТАЛИНА

Вскоре это уже перестало быть секретом, что нас собираются сослать, и что под Вильнюсом тоже стоят наготове эшелоны. Но теперь никто не искал, как при немцах, знакомых литовцев или поляков, которые бы нас спрятали. Тогда надо было спасаться от расстрела и найти прибежище на время, до конца войны. А теперь другое. Теперь только вышлют. Да и нельзя же всю жизнь просидеть в подвале и быть кому-то в тягость. Но однажды утром, я едва успела прийти на работу, зазвонил телефон. Взволнованный голос Шаи — как мы в быту называли нашего ведущего солиста, впоследствии профессора консерватории, народного артиста республики Александра Ливонта — выпалил: — Включи радио! Я включила. Но то, что говорил диктор, казалось невозможным. Он говорил, что в ночь на 2-ое марта 1953-го года у товарища Сталина… произошло внезапное кровоизлияние в мозг… захватившее жизненно-важные области мозга, в результате чего наступил… паралич правой ноги и правой руки с потерей сознания. Он так и сказал: "паралич", "с потерей сознания". Он продолжал читать, что принимаются соответствующие меры, а все равно было страшно. "Паралич". "Потеря сознания". Я вдруг вспомнила ту артистку русского театра, которая, читая по радио, — кроме обязательных трансляций из Москвы, были и местные передачи на русском языке — сообщение о смерти Жданова, пока перечисляла все его должности и посты, с ужасом подумала, что, не дай бог, может наступить день, когда так же придется сообщить о смерти Сталина. Потрясенная этой мыслью, она произнесла: "умер Андрей Александрович Ста…", но мгновенно поправилась: "Жданов". И все же оговорка "Ста…" была. И все это, конечно, слышали. Еле дочитав текст, она после передачи добрела до театра, написала заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности артистки театра, и с маленьким чемоданчиком в руках сразу ушла на вокзал. Куда она уехала, никто так и не узнал… А московский диктор уже второй раз читает, что у товарища Сталина кровоизлияние в мозг. У того самого Сталина, который на портретах и транспарантах, у вождя, как у обыкновенного человека — кровоизлияние, паралич. Я не знала, что делать. Лежавшие на столе программы концертов, тексты афиш, расписание репетиций вдруг стали совсем неважными. И сидеть одна в комнате я не могла. Бросилась в соседнюю, к администраторам. По их лицам поняла — они уже знают… — Пошли к Федаравичюсу! — хмуро сказал Эзик

Жабинский. — Надо подумать насчет сегодняшнего концерта, можно ли его проводить. Это мне в голову не пришло. Но Эзик же секретарь партийной организации. Федаравичюс тоже не знал, уместен ли сегодня концерт, даже серьезный, симфонический. Но исполняется шестая симфония Чайковского, а в ее финале звучит траурный марш. Так что нас могут обвинить в нагнетании нездоровых настроений. А ведь в сообщении ТАСС сказано, что принимаются соответствующие меры. Если же концерт отменить, это могут истолковать, как проявление паники. Так что же делать? Я предложила позвонить в райком и посоветоваться. Эзик это сразу отмел, — уже сам вопрос могут воспринять, как свидетельство паники. И все же ничего другого не оставалось. В конце концов, он позвонил. Но секретарь райкома ничего определенного не ответил. Даже сделал вид, что не понял вопроса. Повторил сообщение ТАСС. Призвал к еще большему сплочению партийных рядов и усилению бдительности. До самого конца дня Федаравичюс с Эзиком не знали, что делать. И все же отменить концерт не решились. Только сами на всякий случай на нем не присутствовали. Судьбу последующих концертов решили уже "наверху". Сталин умер, в стране объявили траур и отменили все спектакли, концерты, показы кинофильмов и другие зрелищные мероприятия. Только из радиоточек беспрерывно лилась траурная музыка. В Филармонии царила непривычная тишина. Репетиционные комнаты стояли запертые. На полдень был назначен траурный митинг. Костюмерный цех поспешно шил траурные нарукавные повязки. На сцену водворяли огромный портрет Сталина, который раньше вывешивали по праздникам на фасаде. Теперь рама была обтянута черным крепом. И в зале балконную решетку оплели черной лентой. Около полудня артисты хора, оркестра, ансамбля народной песни и танца, солисты, администрация стали собираться в зал на траурный митинг. Когда представитель райкома партии предложил минутой молчания почтить светлую память безвременно ушедшего от нас вождя нашей партии и государства, выдающегося деятеля международного коммунистического движения Иосифа Виссарионовича Сталина, в разных концах зала послышались всхлипы. Я тоже не удержалась. Но вдруг… Вдруг я почувствовала, что кто-то совсем рядом, через несколько пустых кресел от меня, сидит! Да, наша хористка Филомена Бернотайте — сидит! Я уже не столько слушала выступающих — они все говорили одно и то же — сколько поглядывала на Филомену. Она почти не скрывала усмешки! Особенно, когда перечисляли достижения Литвы под мудрым руководством товарища Сталина, и когда представитель райкома призывал к еще большему

сплочению вокруг Коммунистической партии и ее Центрального Комитета. Я знала, что родителей Филомены в 48-ом году сослали в Сибирь. Сама она осталась случайно — в это время гостила у тети в деревне. Домой уже не вернулась. Поехала сюда, в Вильнюс, чтобы затеряться в большом городе. Я понимала, что советскую власть она не любит. Но как же не боится почти демонстративно не почтить память Сталина! Ведь за это и ее могут сослать. К счастью, обошлось. Со сцены, наверно, не видно было, что она сидит, а свои не донесли. Может, многие и сами не встали бы… Но один оркестрант, член партии, прямо с митинга пошел на вокзал, — он решил поехать в Москву на похороны. Появился он только через неделю. Угрюмый, ничего не рассказывал. Но мы уже и без него знали, что в те дни поезда на Москву шли переполненные, и многие всю дорогу простояли в коридорах и даже тамбурах. А в самой Москве была такая давка на пути к Колонному залу, что погибли три тысячи человек. Кто-то уверял, что в два раза больше — шесть тысяч. Постепенно портреты Сталина в траурных рамах отовсюду сняли. Председателем Совета Министров стал Маленков. И оттого, что нет Сталина, ничего не изменилось. Ни в городе, ни в филармонии. Как и прежде, днем шли репетиции, вечером — концерты. Я даже не сразу заметила, что в газетах перестали писать об "убийцах в белых халатах". Пока однажды… К нам на гастроли должен был приехать Государственный ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Готовилась торжественная встреча — на вокзале будет Министр культуры Банайтис, и, конечно же, артисты нашего Ансамбля народной песни и танца в национальных костюмах и с цветами. Но неожиданно над церемонией встречи нависла опасность. Оказалось, что сам Моисеев сейчас не в Москве, и прилетит накануне самолетом, а коллектив, как и было сообщено, приедет поездом на следующий день без него. После короткой паники мы решили ничего не менять, а попросить Моисеева инсценировать свой приезд тоже поездом. Моисеев, хоть и не без улыбки, согласился. Итак, рано утром мы на филармоническом автобусе, вместе с артистами ансамбля в национальных костюмах заехали за ним в гостиницу. Садясь в автобус, и глянув на весь этот подготовленный парад, Моисеев пошутил, что теперь примерно представляет себе, как будут выглядеть его похороны. Подвезли мы его к дальнему выходу на перрон, а сами столпились в здании вокзала. Когда появился Банайтис, Федаправичюс принялся усиленно занимать его разговорами о срочных делах филармонии. А с начальником вокзала заранее договорились, что о прибытии московского поезда по радио объявят, когда состав

уже остановится. Все получилось, как было задумано. Когда Банайтис вышел на перрон, было полное впечатление, что Моисеев только что сошел со ступенек вагона. В гостиницу я поехала вместе с оркестром ансамбля, чтобы по дороге выяснить у инспектора — играют ли они что-нибудь вроде увертюры перед началом концерта и между танцами — то есть, то, что надо объявлять отдельно, или только сопровождают танцы. Но узнала я совсем другое. Вместо ответа на мой вопрос, пожилой инспектор тихо спросил, знаю ли я, что врачей выпустили. Их *выпустили!* Я не сразу поняла, почему этот чужой человек говорит о врачах, и что значит — выпустили? А он так же тихо повторил: — Они невиновны. Их освободили. Все равно казалось, что этого… не может быть. Он грустно улыбнулся: — Хорошо хоть, что вы не испугались. Теперь я не поняла, почему должна была испугаться. И он, все так же грустно улыбаясь, рассказал, как рано утром, в поезде, отправился — и, замявшись, уточнил: "куда можно рано утром отправиться?" Дверь в поездной радиоузел была приоткрыта, а проводник слушал ранние, шестичасовые последние известия. Он остановился, чтобы тоже послушать, тем более что диктор опять перечислял фамилии этих несчастных профессоров. И вдруг диктор тем же казенным голосом сказал, что выдвинутые против них обвинения — ложные, а их собственные показания добыты недопустимыми приемами. И что все они — диктор еще раз перечислил их фамилии — освобождены. — Что делает еврей, услышав такую новость? — спросил инспектор. — Бежит обратно в купе, будит другого еврея и шепчет ему на ухо, только на ухо — на верхних полках спят: "Врачей выпустили! Они невиновны!" Но бедняга-сосед так испугался, что рывком натянул на голову одеяло и отвернулся к стене: — Ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал! — Он, — и старик глазами показал на сидящего впереди скрипача, — наверно, подумал, что я сошел с ума. Ничего удивительного, жизнь иногда вытворяет такое, что на самом деле можно свихнуться… Я нетерпеливо ждала, чтобы мы скорей доехали до гостиницы — не терпелось вернуться в Филармонию. Там я, конечно, первым делом бросилась к секретарше за газетой. И уже сама прочла сообщение министерства внутренних дел СССР о том, что все эти профессора освобождены. Не только прочла, но и перепечатала. При всех, открыто, даже под копирку, еще для кого-нибудь. Нарочно медленно выстукивала, чтобы поверить в это признание, что все эти профессора "были арестованы бывшим министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований". Что "обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а

документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельны". Что "показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия". И что арестованные "и другие привлеченные по этому делу полностью реабилитированы… и из-под стражи освобождены". …Постепенно радость, что их освободили, оттеснило странное чувство. Раньше, когда их называли предателями, шпионами, убийцами в белых халатах, мне было за них страшно. Что с ними сделают? Потом, когда стали говорить, что всех нас вышлют, что уже стоят готовые эшелоны, стало страшно и за себя, и за папу, и за Миру, и за Киру Александровну с Ганусей, за всех нас, евреев. Но теперь этого же не будет! Арестованных врачей выпустили, значит, и нас не вывезут. И этих статей в газетах не будет. И этой ненависти. Так почему же я не радуюсь? Радуюсь. Конечно, радуюсь. Только… Я лишь теперь осознала, что этих пожилых людей держали в тюремных камерах, что их п ы т а л и. Их тоже пытали… Нет, нет, не надо сравнивать! Они живы. Их выпустили. Немцы никого не выпускали. Не надо сравнивать. Ведь русские меня освободили. Я здесь, в филармонии. За стеной репетирует хор. А на сцене, наверно, уже идет репетиция ансамбля Моисеева. Вечером их выступление. Я буду его смотреть. И все хорошо, и ничего плохого не случится. На следующий день в газете была мелким шрифтом напечатана крохотная заметка об отмене Указа о награждении Лидии Тимашук орденом Ленина. А еще через некоторое время поползли слухи, что она погибла, попав под машину. Значит, решили мы, избавились от нежелательного свидетеля*. (*Это были только слухи. Орден Ленина ей на самом деле пришлось вернуть. Но всего лишь год спустя, и, естественно, без официальных оповещений, она была награждена орденом Трудового Красного знамени — за заслуги перед Отечеством. А заслуги все же были. Ведь именно ее доклад (назовем его так…) в далеком 1948-ом году Управлению охраны МГБ о своем несогласии с диагнозом, который Жданову поставили профессора Егоров и Василенко был через четыре года после смерти Жданова извлечен из архива и послужил основанием — к нему присовокупили еще и взгляд на лечение Щербакова — чтобы сфабриковать "дело врачей". Замена ордена Ленина на менее престижный не помешала Лидии Тимашук еще целых 13 лет заведовать отделом функциональной диагностики Первой больницы четвертого управления, то есть лечебницы для партийной и советской элиты. Скончалась она в

1983-тьем году, уже будучи на пенсии, в весьма преклонном возрасте.) И все же сложенный в ту ночь, когда я узнала о грядущей депортации, наволочный рюкзак, еще долго не разбирала. Перед самой собой делала вид, что храню в нем свое белье.

ДЕКАДА ЛИТОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА В МОСКВЕ

О расцвете национальных культур в советских республиках призваны были свидетельствовать проводимые время от времени в Москве декады литературы и искусства одной из республик. Естественно, что столь важному политическому мероприятию придавалось очень важное значение, и подготовка к нему начиналась задолго до намеченного срока. Главной заботой был отбор репертуара, достойного представить искусство республики. В программах концертов непременно должна была отразиться нерасторжимая связь с великой русской культурой, дружба и взаимопроникновение искусств братских республик и главным образом — творческие достижения своих, национальных композиторов, поэтов и исполнителей. Поэтому намечаемые к исполнению произведения прослушивали, обсуждали, заменяли другими и снова прослушивали, и опять обсуждали. Окончательно каждую программу принимала правительственная комиссия, возглавляемая секретарем ЦК компартии Литвы по агитации и пропаганде. Празднично-нарядным должен был быть и внешний вид исполнителей. Дирижерам, артистам хора и оркестра шили новые фраки. Лучшие модельеры Дома моделей трудились над эскизами концертных платьев для каждой солистки, для артисток хора, над комплектами костюмов для ансамбля народной песни и танца и коллективов художественной самодеятельности. (А чтобы поднять исполнительский уровень последних, участниками самодеятельности временно "становились" и студенты консерватории). Все эти эскизы, а также макеты афиш, плакатов и программок концертов тоже проходили через многочисленные обсуждения, доработки, усовершенствования. Декада литовской литературы и искусства была назначена на конец февраля — начало марта 1954-го года. И никого не удивило — многие даже не вспомнили, что она совпадает с первой годовщиной со дня смерти Сталина. Мы уже успели отвыкнуть от прежних ежедневных восхвалений и даже упоминаний его имени. Чтобы подчеркнуть исключительную политическую важность этого мероприятия, Федаравичюс издал длиннющий приказ, в котором каждому сотруднику подробно были изложены его обязанности (которые, кстати, были те же, что и в каждодневной работе). Под каждым пунктом был указан ответственный за выполнение данной работы. И ничего, что им оказывался сам исполнитель. Я, например, отвечала за составление биографий и обеспечение

снимков участвующих в декаде дирижеров, солистов и коллективов для буклета, макетов афиш и программок концертов, а также за отправку в Москву подстрочных переводов на русский язык всех исполняемых на литовском языке песен. Готовить подстрочники — а этим приходилось заниматься перед каждой гастрольной поездкой наших исполнителей за пределы республики — я не любила, — это было очень скучно. Для декады же этих подстрочников надо было готовить великое множество (на случай замены, бисов, дополнительного выступления). К тому же в декадном репертуаре оказалась и самая надоевшая мне песня "Дочь ветра" композитора Ст. Шимкуса. Слов в ней было всего четырнадцать: "Добрые люди мне говорили, что я родилась из любви и ветра, и ничего больше". Достоверность этого утверждения меня не касалась, но раздражало, что, поскольку песня полифоническая, эти "и ничего больше" бесконечно повторяли, вступая друг за другом, отдельные группы голосов. И мне следовало напечатать *все* эти "и больше ничего", "и больше ничего", "и больше ничего" точно столько же раз, сколько их повторяют. Про себя чертыхаясь, я ими заполняла почти две страницы. Лишь одного пункта в этом директорском приказе не было: что заведующему отделом кадров Жабинскому поручается в кратчайший срок составить список лиц, допускаемых к участию в декаде. Вопрос, кого допускают к участию в декаде, решал курировавший Филармонию уполномоченный КГБ Мальцев. Теперь он приходил в отдел кадров каждое утро, изучал анкету каждого кандидата, что-то сверял с собственными записями и только после этого говорил, включать ли данного кандидата в список допускаемых или не включать. Не допустил он семь человек. Среди отвергнутых была и Филомена. Но, видно, не из-за того, что тогда, на траурном митинге, она не встала — этого Мальцев, похоже, не знал. У всех семерых недопущенных кто-то из родственников был в ссылке. Я очень удивилась, узнав, что тоже включена в список. Оказывается, для того, чтобы на концертах, которые поведут московские ведущие, находиться при них за кулисами и "ставить" правильное произношение литовских фамилий. Кроме того, должна на всякий случай взять с собою русскую пишущую машинку. Ехали мы все одним поездом. Встречали нас на Белорусском вокзале с оркестром, цветами, приветственными речами. На улицах, по которым нас везли в гостиницу, мы видели свои плакаты и афиши. Все концерты я просидела, как мне полагалось, репетируя с ведущими произношение литовских фамилий за кулисами Большого и Малого залов консерватории. И радовалась, что зато заключительный концерт в Большом театре буду слушать из зала.

За кулисами я была нужна только во время генеральной репетиции. Но мечта не сбылась. На сей раз мне за кулисами во время концерта была отведена совсем другая роль… Концерт открывался исполнением Государственного гимна Литовской ССР. Дирижировать должен был один из его авторов — известный композитор, дирижер и пианист Балис Дварионас. Во второй раз встать за дирижерский пульт ему предстояло уже в самом конце вечера — дирижировать финалом его концерта для скрипки с оркестром, удостоенного Сталинской премии первой степени. Мы не знали, всегда ли пропуска за кулисы Большого театра выдают отдельно на репетицию и отдельно на концерт, но на этот раз, может, оттого, что ожидалось присутствие Маленкова и других членов правительства, дневные пропуска у нас забрали, а на вечер участникам концерта выдали другие. Но жена Дварионаса, сама профессор Консерватории, сопровождавшая мужа, этот пропуск не получила. Под каким предлогом Федаравичюс получил пропуск для меня, не знаю. Он мне только сказал, что маэстро Дварионаса между началом первого отделения концерта и концом второго нельзя оставить одного, чтобы он не заглянул в буфет, и я все это время должна находиться при нем. Я очень расстроилась, что меня хотят превратить в "ангела-хранителя". Да и что я смогу сделать? Ведь меня он не послушается. Продирижировав гимном, маэстро вернулся в гримуборную, и я поплелась следом. Попытки занять его беседой были столь неуклюжи, что он явно догадался о порученной мне роли. От этого я еще больше смутилась. А он неожиданно пожаловался на духоту и предложил… составить ему компанию, и посидеть с ним в буфете. Я принялась его уверять, что здесь совсем не душно, что, наоборот, в буфете, наверно, шумно и накурено. Но он встал, поправил, как перед выходом на сцену, бабочку, одернул фалды фрака и подчеркнуто галантно предложил мне руку. Я хотела только одного — встретить кого-нибудь из наших, чтобы мне помогли, отговорили его. Но мы шли по совершенно пустому коридору. (Только позже я узнала, что всем коллективам было приказано сидеть в отведенных им гримерных, выходить только по приглашению помощника режиссера перед самым выступлением, а после него тоже всем вместе вернуться назад, якобы для того, чтобы не заблудиться.) Мои уверения, что в буфете многолюдно оказались неверными. Было пусто. Всего за двумя столиками, и то в разных углах, сидели по двое мужчин. Судя по их виду, хотя они были в штатском — из правительственной охраны, ведь в зале был Маленков. Маэстро опять подчеркнуто галантно отодвинул мне стул, и к моему ужасу предложил по-немецки: — Setz sich, bitte!*(*Садись, пожалуйста.)

Те четверо явно напряглись. Подошел официант. Маэстро, к моему облегчению, заказал три бутылки ессентуков. Только одну из них попросил подать в графинчике. Официант, видно, очень вышколенный, не удивился столь странной прихоти клиента и с серьезным видом записал все это в свой блокнот. — И еще… Я взмолилась, что больше ничего не надо, но маэстро продолжал: — …Еще тарелку разных бутербродов. А главное, двести граммов… — тут я окончательно обмерла, — пирожных для дамы. Официант удалился. От пережитого страха я не сразу сообразила, что Дварионас просто потешается надо мной, и над теми, кто меня к нему приставил. Но не успела я об этом подумать, как он заговорил… опять по-немецки, и хотя я поняла, переспросила по-литовски. Дварионас все равно повторил по-немецки. А спросил всего-то, как у меня дела в институте. Я опять специально ответила по-литовски, — в этой четверке, наверно, есть и кто-то из приехавших вместе с нами. Пусть слышит, что мы не ведем никаких антисоветских разговоров. А Дварионас с серьезным видом, будто ему необходимо узнать у меня нечто чрезвычайно важное, расспрашивал, что именно нам преподают, сколько примерно зачетов и экзаменов приходится сдавать за одну сессию, очень ли трудно совмещать учебу с работой. Затем принялся меня хвалить, что, несмотря на все, что я пережила, вернулась к нормальной жизни, учусь. Жаль только, что, наверно, не остается времени наслаждаться молодостью. Она так быстро проходит. А любовь — самое прекрасное, что есть в жизни человека, особенно первая, самая романтическая. Он свою Лорелею катал на лодке, читал ей стихи. И неожиданно, словно вернувшись в то давнее время, стал читать, тоже по-немецки: "В красавицу розу влюблен мотылек, Он долго кружит над ней, А жаркое солнце его самого Ласкает в неге лучей. Но кто ж — хотелось бы мне узнать, — Кто розой любим самой: Певец-соловей, иль пленилась она Безмолвной вечерней звездой? *(*Стихотворение Г.Гейне цитируется в переводе П.Быкова.) Неожиданно в дверях появился Федаравичюс, и Дварионас сразу умолк. А я в растерянности схватила графин, и, чтобы понятно было, что в нем не водка, поспешно стала из него булькать в свой фужер эту воду, и чуть не залпом ее выпила. Федаравичюс, видно, все понял, и, успокоившись, исчез. А Дварионас сидел поникший, будто не было только что ни светлых воспоминаний, ни стихов… Попросить, чтобы он продолжил, я не решилась. И не знала, о чем заговорить. Так мы и сидели молча. Наконец за ним пришел инспектор оркестра: скоро у маэстро выход. Я вышла вместе с ними, оставив на столе нетронутыми и эти вкусные бутерброды, и даже пирожные. Финал концерта не слушала. Даже отсюда, из-за

кулис. Мне было не только стыдно и досадно, что так унизили Дварионаса, еще было страшно, что он явно дразнил эту четверку из КГБ. Во время антракта ее сменила другая. И сели они за другие столики. И уже не по двое, а трое вместе, поближе к нам, а один отдельно. И делали вид, что ужинают. Насчет того, что эти четверо были из КГБ, я не ошиблась. Когда мы вернулись в Вильнюс, меня в первое же утро вызвали в отдел кадров. Там уже сидел Мальцев. Он едва ответил на мое "здравствуйте" и угрюмо спросил, не считаю ли я своим долгом ему кое о чем рассказать. Я сделала вид, что не понимаю, о чем он, и пожала плечами. — Например… — он помолчал, видно, давая мне время догадаться, — о твоей особой привязанности к немецкому языку. Меня покоробило, что он мне говорит "ты", и сказала, что никакой особой привязанности у меня к немецкому языку нет. — Тогда чем объяснишь, что именно во время правительственного концерта в Большом театра вы с Дварионасом разговаривали по-немецки. Я чуть не начала оправдываться, что на немецком говорил Дварионас, а я отвечала по-литовски, но спохватилась, что тогда подведу его, и быстро соврала: — Дварионас и здесь со мной часто говорит по-немецки. — Почему? — Не знаю. Он любит шутить. — Большой театр не место для шуток, и ты должна была ему сказать, чтобы говорил по-русски, он в России. — Я не могу такому человеку делать замечания. Кроме всего прочего, он вдвое старше меня. Мальцев моим ответом был недоволен. — О чем он говорил? — Расспрашивал, как у меня дела в институте. — И только? — Еще вспоминал свою первую любовь. — Что вы пили? — Минеральную воду. — Какую? — Ессентуки. — Почему из графина? — Маэстро попросил официанта одну бутылку подать в графине. — Почему ты так уверена, что это была именно минеральная? — Потому что сама из него выпила целый фужер. — Но ты могла выпить и водку. — Нет. Я водку не пью. Мальцев, кажется, не знал, о чем еще спрашивать. Помолчав, буркнул: — Знаю. Я и это о тебе знаю. Неожиданно он поднялся, надел пальто, и, конечно, не попрощавшись, вышел. А я сидела одна в отделе кадров — чужой комнате с сейфом — и думала, что еще он обо мне знает? Я же ничего плохого не делаю.

ОКОНЧАНИЕ ИНСТИТУТА

Постепенно впечатления о декаде улеглись. Иссякли и разговоры о том, кого справедливо наградили, а кого незаслуженно обошли. Все снова стало привычным — репетиции, концерты, выполнение плана. А по вечерам я наверстывала упущенное, — ведь в последний преддекадный месяц и эти две недели в Москве про занятия даже не думала. Сессия же приближалась безжалостно быстро, и надо было не только готовиться к экзаменам и зачетам, но и писать пьесу, то есть будущую дипломную работу, которую следовало привезти для предварительного обсуждения на семинаре, Может, оттого, что уж очень пугающее звучало это "дипломная работа", или оттого, что я опять писала "из жизни советской молодежи" — написанное накануне на следующий вечер не нравилось. Я переделывала, писала заново, и опять чиркала. В конце концов дотянула до благополучного финала. Как ни странно, во время сессии на семинаре ее не очень критиковали. Ребята даже кое за что хвалили. Было только жаль, что Ромашов из института ушел, вместо него нашим семинаром руководил Пименов, референт по драматургии в Союзе писателей, а он больше теоретизировал, нежели говорил по существу об обсуждаемой пьесе. Хотя в эту сессию я получила первую за все годы учебы четверку, и именно по основам марксизма-ленинизма, домой возвращалась довольная, и как всякий раз недоумевала, чего, собственно, так волновалась. А дома ждала и вовсе неожиданная радость: из Томска, правда, нелегально приехал мой двоюродный брат Шлема. Я его помнила маленьким, когда их перед самой войной вывезли в Сибирь, и ему было семь лет. Теперь это был почти незнакомый взрослый человек. Тогда семью разлучили. Дядю вместе с другими мужчинами взяли на лесоповал, а тетю с двумя детьми — семи и трех с половиной лет — оставили в какой-то глухой деревне. У дяди при рубке леса отскочил сучок, попал в глаз, и он на этот глаз ослеп. Его признали негодным для такой работы инвалидом и отправили в трудармию. Так он оказался в Томске. Но семье лишь несколько лет спустя, после долгих мытарств и хлопот позволили переехать к нему. Само собою, под надзором — каждый месяц все четверо должны были отмечаться в местном отделении КГБ. Шлема окончил машиностроительный техникум, стал работать. Первым послаблением, которое они почувствовали после смерти Сталина, было известие, что — правда, еще и из-за нехватки педагогов — семьи, в которых кто-нибудь работает преподавателем, получат паспорта. Шлема

работал учителем, и паспорта (правда, с какой-то тайной пометкой) семья получила. Но при этом их предупредили, что все равно они не имеют права жить и даже просто поехать в Москву, Ленинград, Вильнюс, Киев и ряд других городов. Все же Шлема решил нарушить запрет. Распространив слух, что отправляется в лодочный поход по рекам и озерам, он поездом — билет, в отличие от самолетного безымянный и намного дешевле — поехал в Вильнюс. Сообщением о его благополучном прибытии послужила моя телеграмма: "Экзамен сдала отлично. Маша". Но жить у меня он не мог, — сосед явно сотрудничал с КГБ. Он этого даже особенно не скрывал. Когда к нему приходили какие-то мужчины (я их про себя называла информаторами), он меня бесцеремонно просил посидеть на кухне, а их принимал в моей комнате. Поэтому Шлема ночевал у Киры Александровны, чем она, кажется, была не очень довольна. Просила его приходить попозже, а уходить пораньше, и явно почувствовала облегчение, когда он уехал в Клайпеду, к Мире и папе. Даже отдыхал с ними недельку в Паланге. Осенью я защитила диплом и распрощалась с институтом. Очень непривычным было после семи лет учебы в вечерней школе и институте чувство свободы: могу себе позволить без угрызений совести остаться после работы на концерте, могу читать то, что хочу, а не то, что обязана по программе. Не должна думать, у кого на этот раз одолжить денег, чтобы поехать на сессию, и потом, переодалживая у других и урезая из своей зарплаты, по частям отдавать. А это отдавание почти всегда растягивалось до нового долга, чтобы поехать на следующую сессию. Словом, я наслаждалась обретенной свободой. Но папа в каждый свой приезд из Клайпеды заговаривал о том, что я должна поступить в аспирантуру. Начинал с того, что диплом я должна была получить с отличием. Раз за все годы учебы всего одна четверка, и государственные экзамены сдала на "отлично", и о пьесе говорили одобрительно, мне следовало попросить, чтобы мне за защиту поставили отметку. Если бы в протоколе было не просто, что дипломная работа — пьеса "Рука друга" ("Янина") — защищена, а была бы поставлена отметка, я имела бы право на диплом с отличием, что облегчило бы поступление в аспирантуру. В начале я эти его сетования выслушивала молча. Но однажды все же решилась сказать, что мне совсем все равно, какой у меня диплом, а в аспирантуру поступать не собираюсь, потому что не гожусь ни в литературоведы, ни в критики. Да и не хочу разбирать то, что написали другие, хочу писать сама. Я действительно хотела писать. Но не только короткие заметки для "Вечерних новостей" об очередном приезжающем гастролере, и не только переводить

кому-нибудь из наших певцов новую советскую песню. Даже те несколько опубликованных юмористических рассказиков были не в счет. Я хотела писать нечто важное. Но все раздумья возвращали меня к прошлому. Пьеса исключалась. Хватит того, что я намаялась со своей дипломной "Рукой друга". На каждом семинаре при ее предварительном обсуждении Пименов требовал героям больше активности в общественной жизни, больше комсомольского задора. Но не могут же люди, хотя и на сцене, только вещать, общаться между собою одними лозунгами. И хоть на республиканском конкурсе пьеса получила поощрительную премию, больше я писать такое не хотела. Но и как Регина, писать очерки о передовиках производства не хотела. Особенно после того, как она пыталась меня научить этому. Начать следует, говорила она, со звонка директору завода. Предварительно как можно более солидно сообщить ему о своем намерении написать очерк о ком-нибудь из его рабочих. Это должно прозвучать и как готовность прославить и сам завод и его, директора. Для этого просить о встрече. Но сделав вид, что очень занята, договориться о своем приходе через несколько дней. Заранее надо знать о заводе только самое общее — что он производит и еще что-нибудь в этом роде. А уж директор все расскажет и о достижениях, и о планах, и о перспективах так подробно, что добрая половина окажется лишней. Затем он обязательно вызовет секретаря партийной организации, чтобы посоветоваться, кого из передовиков порекомендовать "товарищу из газеты", хотя понятно, что кандидатуру они обсуждали еще в день звонка. А парторг непременно добавит к рассказу директора и о воспитательной работе, которую проводит партийная организация, позовет не менее пяти передовиков, которые вполне заслуживают того, чтобы о них узнали читатели газеты, но все же они с директором остановились на таком-то. Заодно сообщит положительные факты из его биографии — из рабочей семьи, пришел на завод учеником, и тому подобное. А уж сам кандидат в герои очерка и по цехам поводит и где что делают растолкует. Наконец подведет к своему станку, запустит его и наглядно покажет, каким именно образом экономит время, чтобы перевыполнить план. Самой остается во время экскурсии и особенно когда он стоит за станком, понаблюдать за ним и отмечать какие-то частности: черты лица, манеру говорить, движения рук, словом, наметить портрет. Потом, дома, все это скомпоновать, разбавить какими-то своими раздумьями, и очерк готов. Когда она их наберет десятка полтора-два уже читанных по радио и напечатанных в газетах, понесет в издательство, и предложит издать отдельной книжкой. Назовет "Начало пути" —

по одному из очерков о выпускнице ремесленного училища. Такое название и для нее самой символично — это же начало и ее пути в литературе. Она и мне советовала последовать ее примеру. Очерки в редакциях берут, даже заказывают. И платят за них неплохо. Всем нужен актуальный материал. Я и сама понимала, что писать надо о теперешней жизни. Но все эти заводы и фабрики были какими-то чужими. И в производстве я ничего не смыслила. А компоновать, как Регина это называет, какой-то казенный рассказ о рабочем, перемешав с увиденным в цеху, я не могла. И не хотела. Я хотела писать нечто совсем другое, важное. И в голове возникали какие-то мысли, идеи. Но как только я начинала их конкретизировать, расширять, сразу появлялось "не пойдет". Я даже знала, что в каком случае скажут: мелкотемье, не представляет общественного интереса, нетипично, или, того хуже, искажение советской действительности. Я переживала, что время проходит впустую, что ничего не делаю. На собраниях молодых писателей чувствовала себя "незаконной". Но все равно писать очерки не могла. Даже подумывала, может, снова начать вести дневник? Но и это отвергала. Зачем? Тогда, при немцах я записывала, что они с нами творят, чтобы, если меня убьют, хоть остались эти записи, правда о том, что они вовсе не рыцари XX века, какими себе провозглашают, не сверхчеловеки, а злодеи, ненавистники и убийцы. И что с того? Она осталась, эта правда. Только не нужна она, даже упоминанию "не подлежит". А зачем теперь вести дневник? Для себя одной, чтобы излить на бумагу душу? Не имеет смысла.

"О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ"

Вскоре произошло событие, оттеснившее мои раздумья о чем писать. Обычно рассказ о чем-то неожиданном предваряют словами "как гром с ясного неба". То, что случилось в конце февраля 1956-го года, хоть и было неожиданным, до нас доносилось постепенно, доверительным шепотом, и всего лишь как слухи. Первой мне эту невероятную новость шепнула Рида: говорят, Хрущев на съезде партии очень плохо отозвался о Сталине. С тех пор, как я окончила институт, и не надо было для грядущего экзамена или зачета знать подробности об очередном пленуме, конференции, съезде, я о них ничего не читала. Поэтому и теперь знала только, что 14-го февраля открылся очередной XX съезд партии, что доклад делал Первый секретарь ЦК Хрущев, и что каждый день на утренних и вечерних заседаниях выступают разные делегаты. Но эти речи всегда так похожи одна на другую, и все выступающие так одинаково заверяют родную партию и Советское Правительство, что с честью выполнят взятые на себя обязательства, что я в газеты даже не заглядывала. И хоть в Ридин секрет не поверила, все же кинулась искать в докладе Хрущева что-нибудь о Сталине. Однако ничего не нашла. Но назавтра Рида уточнила, что Хрущев не просто плохо отозвался о Сталине, а сделал специальный доклад, притом в последний день съезда, на закрытом заседании, куда не были допущены даже руководители зарубежных, то есть братских компартий. Чем невероятнее это казалось, тем больше хотелось узнать какие-нибудь подробности. Но они, невесть какими путями доходившие, казались и вовсе неправдоподобными: что Хрущев назвал Сталина болезненно подозрительным человеком, и что это Сталин приказал ссылать в Сибирь, и что он вовсе не был выдающимся полководцем. Но как проверить, правда ли, что он это и еще многое другое — говорят, доклад был большой — сказал? Единственным человеком, который мог бы еще что-нибудь знать, была наша певица Таня. Ее муж, Евгений, работал в НКВД. Правда, он занимался дактилоскопией, но там они знают все… И однажды, когда в комнате никого, кроме нас обеих не было, я, накрыв телефон шарфом, решилась ее спросить, правда ли то, о чем говорят. Таня ничего не ответила и лишь едва заметно кивнула головой. Я поняла, что это правда, но больше ничего она сказать не может. Однако несколько дней спустя — хотя мы обе делали вид, что и того вопроса не было — она мне неожиданно шепнула, что один

экземпляр доклада Хрущева привезен в Вильнюс, находится в ЦК, и его там зачитывали только самим ответственным своим работникам. Через несколько дней кто-то узнал, что его зачитывали, конечно, строго предупредив, что его содержание не должно быть разглашено, в горкоме партии. Однажды Федаравичюс пришел на работу в выходном костюме, хотя концерта в тот вечер не было. Оказывается, он идет в райком, где секретарям, инструкторам и членам бюро будут зачитывать доклад Хрущева. Но на следующий день он, видно, чтобы избежать вопросов, с самого утра созвал явно ненужное производственное совещание. Два часа мы мусолили предварительные планы коллективов на следующее полугодие, приблизительный гастрольный маршрут хора, приблизительный график летних отпусков. Под конец, видно, заметив наши вопрошающие взгляды, сказал, что вчера в райкоме их предупредили, чтобы ничего не записывали, и услышанное не пересказывали. Что текст доклада секретарь райкома получил под расписку, вынести его из здания не имел права, и сразу после чтения доклад забрали опять в ЦК. Постепенно первоначальный интерес к докладу, по крайней мере, у меня, прошел. Но оживили его слухи, что доклад переводят на литовский язык, и вскоре его будут зачитывать всем членам партии. Потом стали говорить, что не только партийцам, но вообще в крупных трудовых коллективах. Слухи подтвердились. Правда, о том, что этот доклад будут читать у нас, мы узнали только в день собрания. Да и о самом собрании узнали только в тот самый день утром. В отличие от других, даже закрытых партийных собраний, объявления о нем не было вывешено. Коллективы оповестили устно, чтобы после репетиции не расходились, а солистов должна была обзвонить я, однако, по телефону не сообщая, какая будет повестка дня. (Но я намекала…) Перед самим началом секретарь партийной организации Жабинский позвал меня в отдел кадров, по дороге предупредив, что там сидит представитель райкома. Этот представитель держал в руках две одинаковые, в красных глянцевых обложках, брошюры. Пока Жабинский называл ему мою фамилию, должность и почему-то образование, я успела разглядеть, что брошюры не совсем одинаковые — на одной черный гриф "Совершенно секретно" и название "О культе личности и его последствиях" напечатаны по-русски, на другой — по-литовски. Но таким же жирным шрифтом. Выслушав мои краткие анкетные данные, представитель райкома с важным видом объявил, что райком партии мне поручает ознакомить обслуживающий персонал филармонии с докладом товарища Никиты Сергеевича Хрущева на закрытом заседании XX съезда

КПСС. Что читать его буду здесь, в его присутствии. Второй, литовский экземпляр брошюры, он вручил Жабинскому, также выспренно уполномочив его представлять Райком Партии во время чтения доклада на параллельном собрании — хору, оркестру, ансамблю и солистам. Напомнил о необходимости проследить, чтобы там не было посторонних, и чтобы никто из присутствующих ничего не записывал. Затем, глянув на часы, разрешил: — Пусть народ заходит. Я хотела попросить брошюру, чтобы, пока заносят стулья и рассаживаются, просмотреть хотя бы начало текста, но не решалась. А мои будущие слушатели — билетерши, гардеробщицы, оба рабочих сцены, наш осветитель старый пан Корженевский, Надя из бухгалтерии, словом, все, кто не знает литовского языка — уже уселись, и представитель райкома объявил собрание открытым. Начал он с сообщения о том, что с 14-го по 26-ое февраля в Москве проходил XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Перечислил, каких успехов добился советский народ под руководством Коммунистической партии, и какие задачи еще предстоит выполнить всем, на каком бы поприще они ни трудились. Затем объяснил значение доклада товарища Никиты Сергеевича Хрущева в восстановлении ленинских норм партийного руководства. Слушали его внимательно. Старик Корженевский даже приложил к уху ладонь, чтобы ничего не упустить. И женщины сосредоточенно старались его понять. (Для них, кроме одной Нади, родным языком был польский. Русский, и то лишь самый обиходный, они усвоили только после войны.) Наконец представитель райкома закончил свою речь, и объявил, что ознакомить их с текстом доклада Никиты Сергеевича Хрущева поручено мне. И лишь тогда протянул мне брошюру. От охватившего меня вдруг волнения я начала читать каким-то хриплым, дрожащим голосом. Силилась эту дрожь унять, но она не проходила. Наверно, оттого, что вслух, при представителе райкома произношу такие кощунственные слова — что Ленин указывал на необходимость *устранения* Сталина от должности Генерального секретаря партии, потому что Сталин чрезвычайно жестокий человек и недостойно относится к своим товарищам. Вдруг я вспомнила… Хотя продолжала читать напечатанное, вспомнила, что давно, еще в вечерней школе, моя соседка по парте, народный судья, однажды мне рассказала… …Был свободный урок — заболел учитель химии, и мы с нею вышли посидеть в скверике Черняховского перед школой. Решили в этот теплый сентябрьский вечер позаниматься, — следующим должен был быть урок Конституции, а преподаватель требовал, чтобы самые главные статьи — хотя при этом непременно добавлял, что

в Конституции все статьи одинаково важны — мы знали дословно, наизусть. Поэтому соседка и предложила воспользоваться свободным уроком, чтобы их подзубрить. Я читала, она слушала. И вдруг, вне всякой связи с тем, что в тексте, она спросила, знаю ли я, что есть завещание Ленина, и что в этом завещании Ленин возражает против того, чтобы Сталин оставался генеральным секретарем партии. И что вообще отношения между ними были не очень хорошие. Однажды Сталин даже оскорбил Крупскую, и Ленин потребовал, чтобы он извинился. Я так удивилась и испугалась, что ляпнула: "Этого никто не может знать". Она не стала спорить. А я принялась повторять очередной раздел Конституции. Пока, не прерывая чтения, вспоминала тот давний вечер в скверике, немного успокоилась. Голос больше не дрожал. Хотя я произносила такое!.. Что из 1.956 делегатов ХУП съезда партии 1.108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. А мы, когда в Институте учили историю партии, этого не знали. Ведь этот съезд назывался "съездом победителей". Я, кажется, в своих институтских конспектах даже подчеркнула слова о том, что его делегатами были избраны самые активные участники строительства социалистического государства. Так почему же их, самых активных, арестовали? Я очень внимательно и напряженно смотрела на строчки, чтобы не произнести вслух того, о чем думаю. А когда зачитывала, что в 1937-ом году число арестов по сравнению с 1936-ым годом возросло больше чем в десять раз, вдруг испугалась: меня же тоже могут… за то, что читаю такое… Обвинят в антисоветской пропаганде, представитель райкома не признается, что это он велел мне читать… Но все равно продолжала вслух зачитывать, что, оказывается, уверения Сталина, будто трагедия, которую перенес наш народ в первый период войны, был результатом неожиданного нападения немцев — неправда. Его предупреждали. Хоть бы этот райкомовец вышел. Хоть бы он не слушал, как я произношу, что политика репрессий против военных привела к подрыву дисциплины. Что в начале войны Сталин вообще не руководил военными действиями. Да и потом разрабатывал операции по глобусу. Но это же неправда! Я сама видела в кино, как он стоит у огромной, на всю стену, карты, и показывает генералам куда направлять удары. И внезапно… Только теперь я внезапно поняла, что это же было в*кино!* Что у карты стоял не*сам*Сталин, а артист! Даже вспомнила, что когда в нашем драмтеатре Рудзинскас играл Ленина, то фотографию артиста "в образе", то есть в черном костюме, галстуке в крапинку и загримированного под Ленина посылали на утверждение в Москву. И Москва несколько раз забраковывала. А вслух я уже

читала про массовые высылки. Их тоже проводили по указанию Сталина. В углу кто-то вздохнул. Кажется, Ринкевичова. В сорок восьмом, когда вывезли ее брата, она хотела писать Сталину. Вроде даже писала. Верила, что он ничего не знает… Выходит, он не только знал… И вывозили не из одной лишь Литвы. А Ринкевичова, да и все остальные, наверно, понятия не имели, кто такие карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы. Когда я дошла до "дела врачей", вдруг остановилась. Об этом не могу читать. Но представитель райкома, явно не поняв причины, заторопил, — через час он должен вернуть доклад в райком. И я читала. О том, что Сталин пригрозил бывшему Министру Государственной безопасности, что если он не добьется признания врачей, самого "укоротят на голову". И что рекомендовал следователю методы, которые надо применять при ведении следствия: бить, бить и еще раз бить. И что когда эти методы возымели свое воздействие и обвиняемые "сознались", он с гордостью заявил членам Политбюро, что они слепы, как новорожденные котята, и не умеют распознавать врагов. Все остальное — что он собственноручно дополнил свою биографию, что словам "Сталин — это Ленин сегодня", он предпослал, что "Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии: Сталин — это Ленин сегодня", и что военные заслуги сам себе приписал, и что сам подписал резолюцию о сооружении на канале Волго-Дон внушительного памятника Сталину, и что лично отдал распоряжение отлить 33 тонны меди для сооружения этого памятника — уже казалось совсем неважным… Едва я закончила чтение, представитель райкома забрал брошюру, еще раз предупредил, что этот доклад не подлежит обсуждению, и сказал, что все свободны. Сам остался ждать литовского текста.

НЕ ВСЕ РАДЫ ВОЗВРАЩЕНИЮ ССЫЛЬНЫХ…

С нашей певицей Таней в последнее время происходило что-то непонятное. Она пропускала занятия с концертмейстером, отказывалась от концертов, — муж, Евгений, допоздна на работе, она не может дочку, Анечку, оставлять одну. (Хотя раньше, когда Анечка была меньше, оставляла.) Однажды, видно, устав держать свои переживания в себе, она по секрету поделилась со мной: и она, и Евгений теперь живут в постоянном страхе, что за Анечкой могут явиться ее настоящие родители. О том, что они Анечку взяли из детского дома, когда ей еще не было и года, мы знали. И радовались за малышку: не все настоящие родители так возятся со своим ребенком, как эти двое с приемным. Не знали мы только того, что знал Евгений, а, следовательно, и Таня и что она мне теперь рассказала: родители Анечки сосланы. Когда за ними пришли, мать успела передать спящего младенца соседям, чтобы те отнесли ее в детский дом. Там все же будет лучше, чем в Сибири, да и довезут ли такую малышку… Теперь многие ссыльные возвращаются. И хоть без права жить в Вильнюсе, они прописываются в Новой-Вильне или еще где-нибудь поблизости, и работают, а некоторые даже нелегально живут в городе. Если родители Анечки вернутся, соседи им, конечно, скажут, в какой детский дом ее отнесли. А там могут из сочувствия нарушить запрет и сказать, кто ее удочерил. Недавно, зайдя в магазин, оставила Анечку на улице одну. Когда вышла, то увидела, что возле Анечки стоит какая-то женщина, и спрашивает: "Кто твоя мама?" Со страха даже показалось, что эта женщина похожа на Анечку. Я пыталась Таню успокоить. Часто, видя, что ребенок стоит один, к нему подходят, спрашивают, где его мама, то-есть, не потерялся ли. Но мои доводы не помогли. Теперь Таня боится Анечку даже дома оставить одну. Я понимала, какая для нее и Евгения будет трагедия, если девочку отберут. Да и как сама Анечка такое перенесет? Она так привыкла к отцу и матери, а ее уводят чужие тетя и дядя, и теперь они будут ее мамой и папой. К тому же они ей скажут, что зовут ее вовсе не Анечка, а Тереза. (Между прочим, в первое время, когда Таня с Евгением ее взяли, я часто думала о том, имели ли они право польского ребенка превратить в еврейку? Но видя, как Анечке у них хорошо, старалась не помнить об этом.) Однако при всем сочувствии к Тане, я все равно не могла желать, чтобы Анечкины родители не вернулись. Может быть, они, видя, что дочке у Тани с Евгением

хорошо, не станут ее травмировать, и согласятся играть роль тети и дяди. Однако сразу обрывала себя: не согласятся. Кроме всего прочего, не захотят, чтобы их дочь стала еврейкой. Ведь это может сломать ее жизнь.*(*Анечкина судьба решилась сама собою: эти люди из Сибири не вернулись…) Вскоре эту мою раздвоенность чувств оттеснила радостная весть о том, что дядя Берель с семьей тоже возвращаются. Правда, написал он папе об этом не прямо, а обиняком — что у сына черной Ханы (так в их родном городке Плунге называли нашу бабушку) дела идут на лад, а вскоре, как он надеется, и вовсе поправятся. Мира тоже получила обнадеживающее письмо от Савицкаса, в доме которого она при немцах, когда убежала из лагеря Х.К.П., нашла первое, временное прибежище. Савицкас тоже писал не впрямую, он просто настоятельно просил в ближайшее время посылок ему не высылать. Зная, что ему в Вильнюсе жить нельзя будет, Мира ответила, что очень ждет дорогого гостя у себя в Клайпеде. Но раньше чем дядя Берель и Савицкас, вернулся Майин знакомый, Бэба. Между прочим, я долго не могла привыкнуть к такому уменьшительному имени такого серьезного, даже мрачноватого мужчины. Хотя ничего удивительного в его облике, и в том, что у него, как у старика, дрожат руки не было: после Каунасского гетто и немецкого концлагеря Дахау, он еще более десяти лет провел в "своих", советских лагерях и на спецпоселении. В конце войны, освобожденный из Дахау, он вернулся в Литву. Надежды, что жена, может быть, тоже уцелела, не сбылись. Не только ее, никого из родных не осталось. Жить в Каунасе он не мог, — слишком все напоминало о прошлом. Поселился в Вильнюсе, стал работать. Но однажды ему кто-то сказал, что видел его жену уже после освобождения в каком-то польском городке. И он решил поехать в Польшу, разыскать ее. (Не знаю, правда ли это, или правдоподобная версия для следователей Госбезопасности.) Но выпускали только тех, кто до 1939-го года был польским подданным. Оставался нелегальный путь. И Бэба присоединился к группе, нанявшей самолет. Страх перед большевиками, перед тем, что они снова начнут депортировать в Сибирь, был настолько велик, что многие стремились любым способом вырваться из-под их власти. Первым, самым решительным, удалось договориться с какими-то летчиками, которые, конечно, за немалую плату, брали в свой транспортный самолет до девяти пассажиров. Но вскоре об этих перелетах узнали органы Госбезопасности, и следующими "сговорчивыми" летчиками уже оказывались их сотрудники. Такой самолет, немного покружив над окрестностями города, садился на тот же аэродром, с которого взлетел. А несчастных пассажиров прямо у трапа уже ждали тюремные машины… Так Бэба попал на

Колыму. Теперь он вернулся. Без права жить в Вильнюсе, прописался в пригороде, поступил на работу. Об отъезде больше не заговаривал, хотя бывших польских граждан снова стали выпускать в Польшу. Поэтому стремившиеся оказаться там — хотя тоже в социалистической стране, но оттуда все же со временем, может, возможно будет выбраться — заключали фиктивные браки с польками или поляками. За этот брак приходилось не только платить, но и разыгрывать перед соседями и сотрудниками подлинность семейных отношений. Бэба всего этого предпринять не мог, — понимал, что с его судимостью, хоть и отсидел десять лет, все равно не выпустят. И он обречен оставаться здесь…

ВСЕНОЩНАЯ

В остальном жизнь оставалась прежней. Разве что в программах, так называемых правительственных концертов, которые раньше традиционно хор начинал песней о Ленине, за которой непременно следовала песня о Сталине, теперь исполнялась песня о партии. Когда я однажды при составлении программы такого "дежурного" концерта в присутствии представителя ЦК неосторожно сказала: — Давайте для разнообразия серой жизни вставим балетный номер, — услышала гневное: — Разве наша жизнь серая? Федаравичюс кинулся меня защищать. Объяснял, что я вовсе так не думаю, что просто иногда сыплю неуместные шуточки. Все равно представитель ЦК продолжал хмуриться. А уходя, даже не кивнул в мою сторону. Было неприятно, но я уже не боялась, как тогда, в институте, когда непочтительно отозвалась о речи Сталина на съезде партии. Однажды, это было накануне Пасхи, я оказалась невольной свидетельницей телефонного разговора Федаравичюса с райкомом партии. Райком просил выделить восемь человек — желательно членов партии и комсомольцев — для участия сегодня ночью, во время Всенощной, в рейде по церквам района. Необходимо выявить, кто из молодых работников Филармонии и студентов Консерватории ходят в церковь. Я всполошилась. Ведь Лёня с Митей во время церковных праздников поют в хоре, а Виктор, кажется, даже дирижирует. Они делают вид, что этим подрабатывают, но мне казалось, что в глубине души они верующие люди, — ведь Лёнин отец церковный регент, а Митя — сын священника. Его отец так и не вернулся. В первое время они с матерью еще надеялись на его возвращение. Но не дождавшись даже письма, поняли — его нет… Кем были родители Виктора, не знаю. Впрочем, какая разница? Если выяснится, что они поют в церкви, их уволят, и не видать им больше сцены. А Леня как раз готовится к прослушиванию в оперном театре, Виктор уже послал документы в Москву — собирается поступить в аспирантуру при Московской Консерватории. Я не стала ждать конца рабочего дня — может оказаться поздно — предупредила Федаравичюса, что мне надо уйти, и побежала к Лёне. Он живет тут рядом, при церкви. За нею стоит небольшой жилой дом для служителей. Лёни не было дома, я передала отцу, и заспешила к Мите. Он, к счастью, был дома, и вызвался сам предупредить Виктора. Тем не менее, все трое во время Всенощной в церкви были. Лёня с Митей пели, стоя за спинами других хористов, а для Виктора успели соорудить укрытие — драпировку между двумя колоннами. Хор

его видел, а от взоров непрошеных гостей он был укрыт. Но все равно они рисковали. И, наверно, боялись. Не могли не бояться. Значит, преодолели свой страх. И хорошо, что преодолели. Иначе потом было бы стыдно перед самими собою. Я в лагере тоже старалась не давать страху захватить себя. Правда, там он был совсем другой — что отправят в газовую камеру, что конвоир или охранник выстрелит в меня. Но я старалась, чтобы они не видели, что я их боюсь. В лагере нельзя было выглядеть испуганной. А главное — и самой не думать о смерти, не представлять себе, как меня заталкивают в газовую камеру, как я задыхаюсь, как, уже мертвую, бросают на тачку и подвозят к печам крематория. Правда, эти мысли, даже видения возникали сами, но я их обрывала и обязательно сразу начинала думать о другом: как выйдем отсюда, как я пойду по огромному, до самого горизонта, полю. Кругом простор, я свободна. Иду одна, не в колонне, и без конвоира с автоматом, не в полосатом лагерном платье. Теперь я тоже оборвала себя. Нельзя сравнивать того, что тогда мне грозило, с тем, что теперь — ребятам.

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Одним весенним днем мне позвонил заместитель директора Музея Революции Э.Шварцас и попросил прийти по очень важному делу. Я пришла. Разговор он почему-то начал с того, что они с папой однополчане, что все его очень уважали. Рассказал, как папа спас от расстрела немолодого солдата, отца пятерых детей, который во время ночного перехода, усталый, положил свою винтовку на телегу, а потом не мог ее найти. Командир полка расценил это как намерение дезертировать, хотел его расстрелять, но папа сумел горемыку защитить. Еще Шварцас рассказал, как трогательно папа отмечал дни рождения каждого из нас, своих детей. Если не было боя, он приглашал в землянку, или просто на опушку леса несколько человек, угощал заранее собранными папиросами и рассказывал о том из детей, чей сегодня день рождения. Если из-за боя "празднование" приходилось перенести, он, хоть с опозданием, этот день отмечал. Так что с моим детством он, Шварцас, заочно знаком. А об остальном узнал совсем недавно, когда в Вильнюс должна была приехать какая-то американская делегация. Гости заранее предупредили, что хотят побывать на месте расстрела евреев, то есть в Понарах, и начальство поручило ему их сопровождать. В экспозиции музея годы немецкой оккупации представлены в основном материалом о сопротивлении. О гетто и массовых расстрелах евреев почти ничего нет. Только полосатое лагерное платье и желтая шестиконечная звезда. Сам он о том, что тут творилось знает только в общих чертах, а этого для рассказа иностранцам недостаточно. Но, к счастью, вспомнил, что в свое время, при ликвидации Еврейского музея, им передали больше ста папок с какими-то документами. Может, в них он найдет подробности о гетто и расстрелах. Кинулся в фонды. И вот, в одной из папок обнаружил мои перепечатанные на машинке записи. Только там явно не все. Они обрываются буквально на середине слова. Почему нет продолжения? Я ему объяснила, что давала музею для перепечатки первую тетрадь, но они успели перепечатать только часть. Когда приезжал Михоэлс и заинтересовался ими, я ее забрала. Да так и не вернула, а потом музей закрыли. Шварцас спросил, сколько их у меня, таких тетрадей. Сказал, что мне следует их отдать им, в музей. Я испугалась. И хоть неловко было отказать человеку, который намного старше меня, да еще папин однополчанин, все же я ответила, что для меня важно, чтобы эти тетради были у меня. Шварцас принялся доказывать, что нельзя такой материал

держать дома, — мало ли что может случиться — пожар или еще что-то. А в музее они будут в сохранности. Но я отвечала, что ничего не случился, что когда уезжаю в отпуск, тетради уношу к папе, там старушка-няня все время дома. Шварцас продолжал уговаривать: они составят акт, что я сдала, а музей принял на хранение такие-то записи о злодеяниях гитлеровских оккупантов. Один экземпляр этого акта, заверенный подписью директора и гербовой печатью музея, будет у меня. Когда и это не помогло, он предложил все перепечатать и дать мне машинописную копию. Но я не сдавалась и продолжала смущенно повторять, что хочу, чтобы они были у меня. В конце концов, Шварцас перестал уговаривать. Сказал, что, собственно, попросил меня прийти по другому поводу. Как он уже упоминал, у них в фондах хранятся более ста — не то сто тридцать, не то сто сорок — папок, которые к ним поступили при ликвидации еврейского музея. Но документы в этих папках не систематизированы, нет описей, нет картотеки. А на каждый документ, даже самую, казалось бы, незначительную бумажку должен был заведен формуляр. Никто из работников музея этого сделать не может. Во-первых, потому, что всё на еврейском языке, а в музее, кроме него и заведующей фондом Виницкене, работают литовцы. Во-вторых, надо уметь не только прочесть, а в формуляре изложить содержание на литовском языке. Сделать это может только человек, который был в гетто и знает о чем речь. Правда, тут Шварцас виновато улыбнулся, — средств на оплату этой работы в смете нет. В этих папках — история, а история не остается невостребованной. Наконец он закончил, и я смогла сказать, что заниматься этим сумею только вечерами, после работы. А поскольку сейчас уже конец рабочего дня, то могу сразу остаться. Шварцас повел меня к заведующей фондом С.Виницкене. Она вынесла из задней, запираемой на висячий замок, комнаты плотно набитую папку, дала пачку чистых карточек и продолговатый деревянный ящичек, куда я должна складывать заполненные карточки. Объяснила, как заполнять. Сверху, в правом углу, указать раздел. Например, административно-хозяйственный, управленческий, здравоохранение, культура и т. п. Затем кратко изложить содержание и, где буду считать нужным, дополнить разъяснением. Вахтера она предупредит, что тут остался работать приглашенный человек. А когда я закончу и буду уходить, комнату следует запереть и сдать ему ключ. Или, лучше всего, попросить, чтобы он сам запер ее за мной. Я осталась одна. В чужой комнате, за чужим письменным столом. А в этой папке какие-то бумаги оттуда, из гетто…Я сидела, уставившись в папку, не решаясь развязать тесемочки. Было очень тихо. Только на

стене тикали часы. Наконец я дернула за край тесемочки. Она развязалась, и я открыла папку. Сверху лежал приказ шефа геттовской полиции Генсаса о том, что все "Колоненфюреры" обязаны в "торвахе" утвердить список своих рабочих. По утрам сообщать, сколько их выходит, а по вечерам — сколько возвращается. Я изложила на карточке краткое содержание этого приказа и вписала пояснение: мы не имели права выходить на работу поодиночке, а только вместе, колонной. В каждой колонне был старший — "колоненфюрер". А "торвахе" — это внутренняя охрана ворот. Она состояла из нескольких геттовских полицейских и одного литовского — из участка, в который входила территория гетто. Следующей в папке была инструкция Мурера работодателям, как обращаться с еврейской рабочей силой. Она была на немецком языке. Излагать ее содержание очень не хотелось. Я просто перевела один из 12-ти пунктов, что "еврей — наш враг и единственный повинен в войне. И нет разницы между евреем и евреем, они все одинаковы. Законоположение их труда — принудительный труд. Общения с евреем, кроме служебных, а также частные и торговые отношения строжайше запрещены. Общающийся с евреем будет приравнен к еврею" и так далее в этом роде. Дальше опять приказ Генсаса, что все жители гетто обязаны регулярно ходить в баню. Такие приказы появлялись регулярно. Но этот предупреждает, что за ноябрь 1942-го хлебные карточки будут выдавать только тем, кто предъявит справку, что был в бане. Мы в баню ходили и без таких напоминаний. И не только для того, чтобы помыться, но и чтобы согреться. В первое время были проблемы с Рувиком, — приходилось просить кого-нибудь из соседей-мужчин взять его с собой. Но потом, в шесть лет, он уже стал ходить сам. Мы его только встречали, — все же надо было проверить, как он оделся, укутался, застегнулся. Однажды, едва мы с мамой и Раечкой успели выйти из бани, туда нагрянул Мурер. Женщины, в панике, что их заберут голыми, кинулись одеваться, натягивать одежду на мокрое тело. Но Мурер гаркнул, чтобы они продолжали мыться, а сам издевательски спокойно наблюдал за ними, ворча, что они еще слишком толстые. Хотя в гетто толстых не было. После его "визита" три дня не выдавали по карточкам хлеба… Об этом я в формуляре не написала. Только изложила содержание приказа. Что такое "Steuer- karte", то есть "Налоговая карта" тоже пришлось объяснить: на содержание геттовской администрации и внутренней полиции все работающие обязаны были платить налог. Как полагается, в зависимости от заработка. А заработок узника гетто номинально — потому что и этот мы не всегда получали — составлял у мужчин 15 пфенигов в час, у женщин —

12 пфенигов. Подросткам, хотя они работали наравне со взрослыми, полагалось по 10. И опять же, без записи в Налоговой карточке, что налог уплачен, хлебных карточек не выдавали. Я брала из папки бумажку за бумажкой и на каждую заводила карточку. Заявление какого-то управдома с просьбой выдать пять килограммов гвоздей на ремонт лестницы. Чья-то расписка в получении — только я не разобрала чего, листок на сгибе стерся, — для дезинфекции. Объявление, что в летнее время "полицейский час", то есть комендантский, начинается на час позже — с 22.30, и по субботам и воскресеньям — с 23.30. Прошение в комитет "Зимняя помощь" выдать мужское пальто. Таких прошений — выдать пару брюк, ботинок, одеяло, пальто была целая пачка. Тут тоже требовалось объяснение. Комитет "Зимняя помощь" призывал людей делиться с теми, на ком уже в прямом смысле слова лохмотья. Члены комитета ходили по квартирам, и им отдавали вещи угнанных на расстрел соседей. Эти вещи потом и получали самые нуждающиеся… С того вечера я три раза в неделю после работы ходила в музей и составляла картотеку нашего существования в гетто. Однажды в очередной папке я обнаружила регистрационный журнал читателей геттовской библиотеки. Раскрыла его, и стала перелистывать. Читать фамилии. Искала свою… Нашла. Рольник Маша. (В гетто не признавали литовского окончания "-айте") Порядковый номер 1682. И адрес — Рудницкая 6, кв. 36. Мы тогда жили в первом доме от ворот. Я продолжала листать, снова и снова прочитывала фамилии и имена людей, которых уже давно нет. И вдруг увидела… Рольник Рувим. Я вперилась в эти два слова. Рольник Рувим. Наш маленький Рувеле…*(*Позже, когда мои записи готовились к печати, редактор переиначил на более благозвучное с его точки зрения — Рувик.) Когда нас загнали в гетто, я очень переживала, что не могу учиться. Что все по-прежнему сидят в классе, а я должна быть здесь. Узнав, что есть библиотека, сразу записалась в нее. Но читать можно было только по воскресеньям, когда нас приводили с работы еще засветло. Рувеле подсаживался ко мне и, стараясь не мешать, все же время от времени спрашивал, что это за буква, немного подождав, спрашивал о другой. Вскоре уже пытался шепотом, почти про себя, читать по слогам. Однажды я ему принесла из библиотеки детскую книжку. Обрадовавшись, он сразу принялся ее читать, и теперь уже каждую минуту подбегал спрашивать о еще незнакомой букве. А через несколько дней попросил, чтобы я послушала, как он читает. И ведь читал! Правда, по слогам, водя пальчиком, но читал. В одно из ближайших воскресений мы пошли в библиотеку вместе. Я его тоже записала. С того времени он уже сам туда

бегал. В своем куцем — он из него вырос — красном пальтишке, в матерчатых, на деревянной подошве башмаках и в большой, наползающей на глаза шапке-ушанке (маме ее дали в "Зимней помощи"), он походил на гриб. Его так и называли — "Рувеле-грибок". И бегал наш "Рувеле-грибок" в библиотеку сдавать прочитанную книжку и получать другую. А в шесть лет он пошел в школу. И Раеле ходила. Эта школа существовала втайне от немецких властей, на дальней улочке гетто. Хоть очень убогая, но все же школа. Детям там нравилось. К тому же во время большой перемены им давали некое жидкое подобие теплого супа. Когда мы вечером возвращались усталые с работы, Рувеле старался нас развлечь рассказом о том, что учительница им сегодня объясняла, кого вызывала, кто чего не знал. Не говорил только, что учительница опять ставила его в пример другим детям. Зато перед родительским собранием каждый день напоминал о нем, спрашивал, сможет ли кто-нибудь из нас пойти. Он очень хотел, чтобы мы пошли, — видно, знал, что его там будут хвалить. Но главным было предвкушение того, как папа обрадуется, узнав, что он уже умеет читать. Придумывал, как это будет. Он тихонько зайдет к папе в кабинет, попросит его закрыть глаза и начнет читать свою книжку. Или лучше по-другому: он подойдет прямо к книжному шкафу и примется прочитывать названия на корешках папиных книг. Или так: когда папа раскроет газету, он на цыпочках подберется сзади и будет ему в ухо шептать, что там написано. А еще он любил повторять, что, когда выйдет отсюда и вырастет, то будет строить большие красивые мосты. В тесном гетто, среди высоких каменных оград, он мечтал строить мосты… Я еще долго смотрела на эту строчку в библиотечном журнале. Рольник Рувим. Единственное место, где осталась его фамилия и имя. Единственный след, что был на свете такой мальчик, который мечтал вырасти и строить мосты. Но вырасти ему не дали… Больше я в тот вечер работать не могла. И домой возвращалась не как обычно, по проспекту, а плелась вдоль набережной, то и дело останавливаясь и подолгу глядя на быстрое течение воды, на виднеющийся впереди мост… С того вечера я каждую новую папку раскрывала с опаской. Неожиданно в одной оказались документы не нашего гетто, а терезинского. Я удивилась: каким образом она из Чехословакии, из далекого Терезина попала к нам? Кто-нибудь из освобождавших Чехословакию нашел ее и привез в Вильнюс? Я вспомнила рассказ о том, что гетто в Терезине считалось образцовым. Оно должно было продемонстрировать Красному Кресту — если тот заинтересуется — что евреи живут в гетто вполне благополучно, что они всего лишь изолированы от остальной части общества.

Как подобная ложь стряпалась, я недавно увидела в кинофильме "Эшелон из рая". …Сидит группа благообразных, хорошо одетых, только с шестиконечной звездой на груди, пожилых людей. Некая рука подносит к каждому микрофон, и голос за кадром задает, чередуя, примерно одни и те же вопросы: довольны ли они жизнью здесь, не обижают ли их, нет ли каких-нибудь просьб или пожеланий. И все одинаково отвечают, что довольны, что не обижают, и просьб никаких нет. Но постепенно камера отъезжает, и видно, что вокруг отвечающих стоят эсэсовские солдаты с автоматами наготове. Дальнейшие события в фильме отражают уже не показное, а подлинное положение в гетто, и завершается он отправкой очередного эшелона из этого "рая" в Освенцим. Но это, как считалось, Международному Красному Кресту неизвестно… Гетто в Терезине, как видно, на самом деле отличалось от всех остальных: в папке лежали, очевидно, курсировавшие внутри гетто деньги, на которых изображен Моисей с десятью заповедями, и, конечно же, неизменная шестиконечная звезда. Лежали аттестаты зрелости. Но судьба этих выпускников школы, их родителей и всех остальных обитателей столь образцового гетто была та же, что и узников остальных гетто — газовая камера и печь крематория… Потом опять следовали папки с обычными бумагами: многочисленными обращениями в "Юденрат"*(*"Совет евреев" — местный орган самоуправления.) с просьбой освободить от уплаты налога, разрешить поселиться в другую комнату, где меньше жильцов (вернее, стало меньше после очередной акции…), выдать хлебную карточку вместо утерянной. Были объявления об очередных запретах и ограничениях. Были разные списки — и отправляемых в лес на заготовку дров мужчин, и трубочистов, для которых Генсас просит городской "Арбейтсамт" выдать "Пассир-шайны"*и множество других свидетельств нашего тогдашнего существования и быта. (*Удостоверение, что его обладателю, в отличие от всех остальных обитателей гетто, позволено ходить по городу в одиночку, и заходить в арийские дома. Разумеется, только в те, в которые их направляют вычистить трубы.) Однажды Виницкене оставила очень толстую — тесемочки на ней еле сходились, и поэтому она еще была перевязана веревкой — папку. Я развязала узелок, папка раскрылась и из нее высыпались на стол фотографии. В первое мгновение я удивилась, что их так много. Но потом сообразила, что тут, наверно, собраны фотографии многих семей, что эти снимки, видно, оставались в вещах и одежде угнанных на расстрел, и кто-то их собирал. Я стала внимательно в них всматриваться. …Свадебное застолье. Фата невесты очень пышная, отчего голова кажется маленькой. А

жених почему-то во фраке и цилиндре. По одну сторону стола сидят только пожилые мужчины. Они в шляпах, значит, верующие. А по другую сторону — молодежь. Лица повернуты к фотографу. Чубатый парень даже немного высунулся вперед, чтобы соседка его не заслоняла. На женщинах нарядные платья. А у девчушки, которая примостилась в углу, на голове большой бант. Мне мама в детстве тоже завязывала бант… …А этот снимок сделан на пляже. Трое рослых парней в плавках, но "при галстуках" на голом теле, чокаются бокалами с шампанским. Четвертый держит над ними и бутылку. Они чему-то смеются. Наверно, радуются солнцу, своей молодости, просто жизни. Когда, в какую акцию их забрали?.. …Пухленький малыш делает явно первые в своей жизни шаги. Он очень сосредоточен, — видно, непросто удержаться на ножках, не шлепнуться. Над ним простерты руки матери, готовые в любое мгновение его подхватить. А на обороте снимка надпись: "Любимому дедушке от внучонка Янкеле". Сколько ему было, этому маленькому Янкеле, когда в него выстрелили?… Еще снимки. Семейные. Одиночные. Опять семейные. Серьезные, сосредоточенные лица. Глаза. И внезапно… Внезапно мне показалось, что не я их разглядываю, а они, все эти люди смотрят на меня. Словно о чем-то просят. Они просят, чтобы о них не забыли. Я не забыла! Я все помню. Каждый угон на расстрел помню. И очень хочу, чтобы все о них знали. Ведь для этого, только для этого тогда все записывала. А они, с фотографий, продолжали смотреть на меня… Внизу стукнула дверь, и я словно очнулась: я здесь, в музее. Вахтер делает вечерний обход. На столе лежат россыпью фотографии. Я стала бережно их собирать и укладывать в папку. Перевязала ее, как и было, веревочкой. Заполнила карточку. Одну на все фотографии… Нет ни этих людей, ни их могил, ни надгробий. Есть только эта папка со снимками…

НЕ МОГУ БОЛЬШЕ МОЛЧАТЬ

Мольба, увиденная на лицах этих убитых людей, преследовала меня. И чем дальше, тем она становилась более настоятельной. Вернулось то давнее желание, чтобы люди, которые будут жить после войны, знали, чт* немцы тут творили. И еще… Еще в их глазах я видела укор. Я осталась. Жива. Так почему я же молчу? Но ведь я пыталась рассказывать! В первое время пыталась. Только оказалось — не нужен мой рассказ никому. Есть новые беды. Пусть не такие, как тогда, но то, что происходит с человеком сейчас, для него важнее того, что происходило с другими раньше. Да и сам Михоэлс сказал, что мы не должны предаваться оплакиванию прошлого, а строить новую жизнь. Правда, тогда он должен был так говорить, или, может, уже знал, что "сгущаются тучи" и над Еврейским антифашистским комитетом, и над еврейскими театрами, газетами, школами. Но теперь ведь другое время. Правда, еврейских газет, школ и театров не открыли. Но наша солистка Нехама Лифшицайте поет еврейские песни. И на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве заняла первое место. А Шварцас попросил меня составить картотеку геттовских документов. Может, и с моими записями можно что-то сделать. Первым делом их надо перевести на литовский язык. Как это я раньше не додумалась? Переводить я принялась в тот же вечер. Теперь уже ходила в музей только два раза в неделю. В остальное послерабочее время, как и раньше, когда училась, сидела до полуночи за письменным столом. А однажды — я как раз пришла из музея — и ставила в воду большой букет свежей сирени (она росла под самим мои окном, и, чтобы ветки не скреблись в стекло, я их обрывала) — услышала по радио — шли вечерние "Последние известия" — что в Австрии арестован гитлеровский военный преступник Франц Мурер*. (*Я уже писала, что бывшего адъютанта Гебитскомиссара Вильнюса и фактического палача вильнюсского гетто Франца Мурера после войны опознал оказавшийся в Австрии бывший узник гетто. Мурера арестовали, препроводили в Вильнюс и осудили на 25 лет лагеря строго режима. Однако сидел он недолго. Н.С.Хрущев перед своим визитом в Австрию распорядился передать австрийским властям осужденных советским судом австрийцев для продолжения отбывания наказания на родине. Среди них был и Франц Мурер. В Австрии его сразу освободили, он вел весьма активную жизнь в Союзе бывших эсэсовцев, и был одним из создателей некоей "Народной партии". В 1961-ом году в Израиле проходил процесс над Адольфом Эйхманом, который в аппарате

Гитлера возглавлял так называемый еврейский отдел, то есть непосредственно занимался "окончательным решением еврейского вопроса". На этом процессе выступил бывший узник вильнюсского гетто доктор Маркус Двожецкий, который рассказал не только о злодеяниях одного из многочисленных сподручных Эйхмана — Мурере, но и о том, что этот палач на свободе. Поскольку процесс и свидетельские показания вызвали широкий резонанс в мире, австрийским властям пришлось Мурера арестовать. Не смогло обойти этот арест молчанием и советское радио.) Я сразу села писать письмо Генеральному прокурору Советского Союза Р.Руденко. Сообщила, что находясь в вильнюсском гетто, была свидетельницей зверств и злодеяний Мурера. Что он не только давал указания истреблять десятки тысяч людей, но и лично расстреливал. Что на моих глазах он застрелил девушку только за то, что она хотела спасти от него стариков-родителей. Что над Мурером, вероятно, будет суд, и я готова выступить на нем свидетельницей. Отправив письмо, я с еще большим рвением продолжала переводить свои записи. На время перестала ходить в музей. Только… не совсем представляла себе, что буду делать, когда кончу перевод. Я знала, что моя приятельница по Литературному институту Регина свои очерки сама предлагает редакциям газет, журналов и на радио. Чаще всего — даже еще ненаписанные. Называет только тему, и, если надо ехать на периферию, получает командировочные. А я предлагать не умею. Пьесу на конкурс подавала под псевдонимом, и то не сама относила. Переводы обеих книг мне предложили (до сих пор стыдно за эту сделку). Перевести какую-нибудь песню или романс просят солисты. Написать заметку о приезжающем гастролере просят "Вечерние новости". А как самой предлагать? Получится, что навязываюсь. И главное, я ж не очерки или что-нибудь другое из современной советской жизни принесу, а рассказ о гетто и концлагерях. Хоть борьба с "безродными космополитами" и "дело врачей" формально осуждены, на самом деле столь широко провозглашаемая дружба народов к нам по-прежнему не относится… Как раз в это время Регина похвалилась, что уже собрала, как намеревалась, самые подходящие для сборника очерки, дала их перепечатать и собирается отнести в издательство политической и научной литературы. И как бы между прочим спросила, нет ли у меня чего-нибудь, не собираюсь ли последовать ее примеру. Я поделилась своими волнениями. То, что самой предлагать неловко, она отмела сразу и добавила, что при такой щепетильности и неумении жить (она это называла "крутиться"), я никогда не стану писательницей. Нести рукопись надо в

издательство политической и научной литературы, в издательстве художественной литературы, раз вещь документальная, ее наверняка не возьмут. Если хочу, можем пойти вместе. Мы пошли. По дороге Регина меня просвещала. Издательство свой предварительный, тематический план составляет осенью. Поэтому надо, чтобы к тому времени наши рукописи уже были отрецензированы. И главное — чтобы с нами заключили договор и выплатили аванс, — тогда больше шансов, что книжку издадут. Заведующую редакцией, в которую мы идем, зовут Шамарина. Она литовка, но вышла за русского и взяла его фамилию. "Могла бы оставить свою, литовскую", проворчала Регина. И еще добавила, что Шамарина не только заведующая редакцией, но и секретарь партийной организации издательства. Миловидная женщина встретила нас довольно приветливо. Регина протянула ей свою рукопись, объяснила, что тут собраны очерки, которые уже получили положительные отзывы. Назвала журналы и газеты, в которых они опубликованы. Добавила, что некоторые к тому же были прочитаны по радио. Шамарину это явно устраивало. В рукопись она даже не заглянула и сразу положила ее поверх уже лежащей на столе стопки похожих, и даже более объемистых папок. Я протянула свою молча. Таких козырей, как у Регины, у меня не было. Шамарина ее раскрыла. Не дочитав первую страницу до конца, перевернула сразу несколько. Пробежала глазами, и опять перевернула, теперь уже целую кипу. Еще полистала. Заглянула в конец. Я ждала, что сейчас она скажет: "издательству это не подходит". Не сказала. Спросила, документально ли все это, что тут написано. Я ответила. — А фамилии настоящие или вымышленные? — Настоящие. Шамарина кивнула: — Оставьте, посмотрим. — И положила мою папку туда же, поверх Регининой. С Региной подписали договор сразу. Со мною подписали позже и безавансовый. Аванс, объяснила Шамарина, мне смогут выплатить только после того, как они получат из Института истории партии при Центральном комитете компартии Литвы положительную рецензию. Меня так сразило, что рукопись отправлена в Институт истории партии, что я еле выдавила из себя — не в авансе дело. Пыталась объяснить, что наш палач, Франц Мурер до недавнего времени был на свободе, что на западе бывшие эсэсовцы вновь объединяются, а в странах Латинской Америки вообще скрывается много военных преступников. Но она меня слушала не очень внимательно. Повторила, что, несмотря на актуальность темы, на то, что материал изложен очень живо, и она мне сочувствует, вопрос публикации будет решать Институт истории партии. А в ответ на письмо Генеральному прокурору СССР я

получила стандартную открытку с готово напечатанным текстом (только дата — 26-го июня 1961-го года, тройной номер и куда направлено — вписано от руки), что мое заявление направлено на рассмотрение в Прокуратуру Литовской ССР, откуда мне будет сообщено о результатах рассмотрения. Эта казенная отписка вызвала опасение, что такая же участь может постигнуть мои свидетельские показания о злодействах не одного только Мурера. Не только его…*(*Опасения оказались не напрасными. Хотя спустя два года после его ареста, в 1963-тьем году, суд над Мурером все же состоялся, и семнадцать бывших узников Вильнюсского гетто свидетельствовали, что он не только руководил массовыми отправлениями на расстрел, но и *лично* расстреливал, суд присяжных в Австрии Мурера оправдал.)

ПРИЕЗД ИЗРАИЛЬСКОГО ДЯДИ

А вскоре появился новый повод для волнений. В начале они были приятные: мы ждали приезда из Израиля папиного брата, дяди Меера. Уехал он туда, в тогдашнюю еще Палестину, за год до моего рождения и приезжал всего один раз, в 1939-том году, в самый канун войны. Папа его очень ждал. Из всей когда-то большой семьи их осталось всего три брата: сосланный в Сибирь и лишь недавно вернувшийся оттуда дядя Берель, папа, и он, израильский дядя. Кира Александровна приездом зарубежного родственника была не очень довольна. Боялась последствий. Папа ее успокаивал. О том, что у него в Израиле есть брат, он и раньше указывал во всех анкетах. Переписку с ним после смерти Сталина возобновил открыто. Приезжает дядя по индивидуальному туризму и будет жить, как предписано, в гостинице. Так что никаких последствий не должно быть. Не отправят же его, папу, после того, как наконец вернули в Вильнюс, обратно в Клайпеду. Меня приезд почти незнакомого дяди немного будоражил, но я тоже считала, что бояться этого не надо. Однако как раз накануне дядиного приезда наша певица Таня, придя на репетицию, позвала меня в пустующую пока комнату и сказала, что ее муж, Евгений, просил мне передать, чтобы я завтра встречать дядю в аэропорт не ехала. Я опешила: откуда он знает? Он же занимается дактилоскопией в Министерстве внутренних дел, а не Госбезопасности. В растерянности промямлила, что ведь у папы дома мы все равно встретимся. Но Таня сказала: — Дома — одно, а в аэропорту — совсем другое. Вошел концертмейстер, Таня достала свои ноты, и мне не оставалось ничего другого, как вернуться к себе. Я была в полной растерянности. Папа будет встречать. И Мира с Владасом будут. Они специально приезжают из Клайпеды, хотя Кира Александровна считает, что Владасу, директору фабрики и члену Бюро горкома партии, литовцу, нечего демонстрировать родство с иностранцем, да еще из Израиля. Но Владас сказал, что на таком семейном празднике должны быть все. Правда, сам он приезжает всего на один день, — на дольше не может отлучиться с фабрики, но Мира с маленьким Микасом останутся. Единственная конспирация, которую он допускает — чтобы Микас в детском садике не хвастался, ему сказали, что приезжает дядя из Воронежа. Папу совет Евгения заметно огорчил. Но он молчал. Это значило, что я сама должна решать, последовать ли этому совету. Зато Кира Александровна мгновенно распорядилась: — Никуда не поедешь! И Владасу нечего делать в аэропорту. Папа скажет, что у него

сломалась машина (они должны были приехать на машине), и он ее ремонтирует. А ты в командировке в Каунасе. Папа этого, конечно, не скажет. Он не умеет говорить неправду. Но я тоже не хочу врать! Не разъезжаю я по командировкам. За все годы работы в филармонии я в Каунасе была всего дважды. Один раз на прослушивании новой программы эстрадного оркестра, когда ее принимать приехал художественный совет, а я, как секретарь совета, должна была вести протокол обсуждения. А во второй раз, когда к нам приезжал Китайский театр, и начинал свои гастроли в Каунасе. Перед первым спектаклем гостей должен был приветствовать Министр культуры Ю.Банайтис. Поскольку переводчика с литовского на китайский не было, то я должна была переводить его приветствие на русский, а приехавший с театром из Москвы переводчик — с русского на китайский. Таким же образом был сделан перевод ответного слова руководителя театра с китайского на литовский. А чтобы оба выступающих и зачитывающие перевод знали, где останавливаться, я предложила и в оригиналах и в переводах красным карандашом пометить паузы, за что московский переводчик прозвал меня заведующей паузами. Пока я предавалась воспоминаниям, Кира Александровна разработала целый сценарий. Я должна под каким-нибудь предлогом отпроситься с работы, сидеть дома, благо соседка с детьми на даче, не подходить к телефону до пяти часов. Она позвонит в это время, то есть когда дядя уже будет у них. Но говорить будет якобы с соседкой. Спросит, не вернулась ли я еще из Каунаса и попросит, когда вернусь, передать мне, чтобы пришла к отцу. Я не хотела, ни за что не хотела ее послушаться, но и пренебречь советом Евгения не решалась. Вечером приехали Мира с Владасом и Микасом. Кира Александровна им, конечно, сразу все передала. Оказалось, что Владас и не мог поехать в аэропорт, — у него были какие-то важные дела в Министерстве легкой промышленности и каком-то тресте. Я осталась в одиночестве. Всю ночь терзалась, не зная, что делать. Ведь *они* все равно знают, что дядя приезжает. И мы все равно встретимся. Почему Таня сказала, что дома — одно, а в аэропорту — другое? То есть там могут меня с ним сфотографировать? Ну и что? Им нужно доказательство, что я общалась с иностранцем? Так я же не какой-нибудь начальник, которому это может повредить. Но если это не может повредить, Евгений не стал бы предупреждать. И опять — в который раз — я удивилась, откуда он знает? Выходит, Министерство внутренних дел и Госбезопасности — почти одно и то же?.. Но я все равно не смогу сидеть дома, как мышь, и потом делать вид, что была в Каунасе. Может, на самом деле поехать в Каунас, бродить там

целый день по улицам и к вечеру вернуться. По крайней мере, будет меньше неправды. Но в Каунас я не поехала. Сидела дома действительно как мышь. Ничего не могла делать. И телефон молчал. И я никому не звонила. То и дело смотрела на часы. Но стрелка, как назло, еле двигалась. Я укоряла себя, что испугалась, струсила. Наконец не выдержала. Хоть понимала, что еще рано, что самолет, может, еще и не приземлился, и что они сперва поедут в гостиницу, все равно заспешила к папе домой. Во дворе недалеко от входа какие-то на вид работяги играли в карты. Раньше я их тут никогда не видела, и этих ящиков, на которых они сидят, тут не было. Значит, только видимая она, игра в карты. А на самом деле они будут следить, кто к нам входит. Это нетрудно, дом всего четырехэтажный. Мстя себе за трусливое сидение дома, я нарочно прошла совсем близко от них. Но эта запоздалая смелость ничуть не помогла. Мне все равно было стыдно. Перед папой, Мирой. Особенно перед дядей. Когда он меня обнял, и сказал: "Как ты выросла!" и все рассмеялись, я чуть не расплакалась. Потом я поняла, почему он так сказал: он запомнил меня тем ребенком, каким видел, когда приезжал на свадьбу тети перед самой войной. Все были рады встрече. Вспоминали бабушку, которая "догадалась" умереть до прихода немцев, дедушку, которого они расстреляли. Вспоминали маму, Раечку, Рувика. И мамину маму. Она жила в Тельшяй, и мы ее называли "тельшяйской бабушкой". И дядю Михеля, отказавшегося перед расстрелом от повязки на глаза. И тетю, и двух ее маленьких детей, которые умерли в Рижском гетто от голода. Ее мужа расстреляли одним из первых. Дядя привез фотографию их свадьбы. Из пятидесяти двух сидевших за столом родственников и гостей в живых остались только трое — мы с Мирой и папа… Разглядывая эти снимки, я вспомнила другие, лежащие в музейной папке. Их даже разглядывать некому… А мы до поздней ночи продолжали вспоминать. На следующее утро, едва я пришла на работу, зазвонил телефон. Звонивший представился работником Комитета государственной безопасности. Сердце, конечно, екнуло. Но тот, в трубке, заговорил совсем о другом. Он сейчас знакомится с записями, которые в годы гитлеровской оккупации тайком вел житель Понар, фиксируя расстрелы мирных граждан. В этих записях не все понятно. Например, если он не ошибается, то так называемый "Судный день" по еврейской религии вроде осенью, а автор, описывая расстрел прямо на железнодорожных путях, пишет про "Судный день". Хотя указана дата — апрель. Я сразу догадалась, что речь идет о "Каунасской акции". Начала объяснять, почему тот человек мог назвать творившийся кошмар судным днем, но мой

собеседник попросил все же прийти, и помочь ему разобраться на месте. Сказал, что ждет меня через час, что пропуск уже заказан. Если надо позвонить директору, чтобы отпустил с работы, он позвонит. Я поспешила его уверить, что звонить не надо; Федаравичюсу, отпрашиваясь, не уточнила, куда именно меня попросили придти. О том, что живший в Панеряй, недалеко от места расстрела поляк почти с первых дней оккупации записывал, когда и примерно сколько человек провели или провезли мимо его дома к огороженным в лесу ямам, откуда вскоре доносилась стрельба, я давно знала. Знала и о том, что сам он погиб в канун освобождения от случайной пули, и что его записи, в свое время зарытые в землю, жена нашла случайно, вскапывая огород. Говорили, что должны быть и снимки — иногда он тайком еще и снимал. Но их найти не удалось. Сотрудник Госбезопасности меня уже ждал, и я сразу принялась ему повторять, что "Судным днем" этот поляк мог назвать "Каунасскую акцию" в переносном смысле, настолько все, что происходило, было ужасным. Весной 1943-го года немцы принялись одно за другим ликвидировать гетто в окрестных маленьких городках — якобы из-за того, что в округе орудуют партизаны, и жители этих гетто могут поддерживать с ними связь и даже присоединиться к ним. Несколько тысяч человек, которых председатель вильнюсского гетто Генсас, ссылаясь на необходимость расширить какие-то мастерские в самом гетто, "выторговал" у немцев, привезли в вильнюсское гетто. Остальным сказали, что их везут в каунасское. Но когда эшелон остановился на краю леса и раздалась команда выходить, люди, поняв обман, кинулись бежать. Охрана открыла огонь. На подмогу прибежали остальные солдаты, ожидавшие своих жертв у ямы. Автоматные очереди косили разбегающихся мужчин, женщин, детей. Вскоре все железнодорожные пути, овраги, поле были усеяны телами. Солдаты приканчивали раненых. Пришлось задержать движение поездов, пока хотя бы с рельсов не были скинуты тела убитых. Свидетель акции старый поляк и назвал весь этот ужас "Судным днем". Я замолчала. А гебист неожиданно произнес: — К вам вчера приехал родственник из заграницы. Внутри опять все вздрогнуло, но ответила я, кажется, довольно спокойно: — Приехал. Папин брат. Из Израиля. Он мрачно смотрел в пол. Видно, выжидал, чтобы я заволновалась, боясь дальнейших расспросов. А я вдруг рассердилась. Именно рассердилась за обман, за придуманный повод вызвать меня. — Конечно, привез подарки? — Привез. Он уточнил: — Я имею в виду печатную продукцию. Литературу. Насколько нам известно, у него в Иерусалиме книжный магазин. Он и это знает! Но я пожала плечами. — Возможно. Я не успела

его спросить. — Весь вечер провели вместе и не поинтересовались? — Мы говорили о погибших. — И тем не менее, какую он привез литературу? Религиозную? — Никакой. — Он при вас разбирал свой чемодан? — Нет. Чемодан остался в гостинице. — Тогда откуда такая уверенность? — Он приехал только повидаться с нами. С теми немногими, кто остался в живых из нашей большой семьи. Следователь был явно недоволен. — Скоро суббота, ваш дядя наверное пойдет в синагогу. — Не знаю. Он, кажется, неверующий. — В Израиле нельзя быть неверующим. А в синагоге часто пользуются появлением иностранца. Не все туда ходят молиться. У иных совсем другие цели, например, клеветать на Советский Союз. А вам нежелательные контакты вашего дяди могут навредить. Поэтому посоветуйте ему ни в какие разговоры не вступать. Вам еще предстоит издать книжку. Тут я, кажется, выдала свое удивление. Он знает и про то, что я сдала в издательство рукопись! А он, все так же глядя в пол, говорил, что от поведения дяди во многом зависит моя дальнейшая жизнь. Добавил, что о нашем разговоре никто не должен знать. Кажется, хотел еще что-то добавить, но, видно, решил, что хватит. Расписался в моем пропуске и проводил до выхода, вернее, до дежурного у дверей. А я была занята одной мыслью — чтобы никто меня не увидел выходящей *отсюда.* Папе я о своем "визите", конечно же, рассказала в тот же вечер. Но дядю ни о чем не предупредила. Он и сам ничего не нарушал. Ночевал, как и было положено, в гостинице. Общался только с нами. Долгими были наши разговоры по вечерам. Пределы города не покидал. Поехал только в Понары, но это всего в 8-ми километрах от города. Правда, перед субботой, я с чувством некоторой опаски ждала, что он попросит отвести его в синагогу. Не попросил. И вообще не проявлял ни малейших признаков религиозности. Я не удержалась и спросила, можно ли в Израиле быть неверующим. Он удивился и ответил, что, конечно, можно. Тогда я полюбопытствовала, что же он делает по субботам, когда ничего нельзя делать, и не ходит городской транспорт. — Отдыхаю. Иду к другу, который живет рядом, и мы играем в шахматы. Больше я вопросов не задавала. А когда он улетал, проводить его в аэропорт — поехала.

ПОЕЗДКА К И.Г.ЭРЕНБУРГУ

Перед каждым звонком в издательство я "собиралась с духом", чувствуя, что и на этот раз ответ будет прежним — рецензии еще нет. Чем дольше институт истории партии не давал своего заключения, тем более это меня тревожило. Не помогали и уверения Шамариной, что сотрудники института никогда не торопятся с ответами. Но это меня не успокаивало. Наоборот. Зависимость от их решения пугала. Они могут считать, что советскому человеку не обязательно знать, да еще в подробностях, как и сколько евреев уничтожили немцы. Им нет дела до того, что обреченные на гибель и понимавшие свою обреченность узники жаждали не только остаться в живых. Они надеялись, что когда-нибудь люди узнают, как издевательски методично немцы истребляли ни в чем неповинный народ. Это нужно и ради мертвых, и ради живых. *В один из погожих дней второй половины октября 1961-го года в Кисловодском курорте сидели на скамеечке московский пенсионер Артур Моисеевич Хавкин с женой и недавний виленчанин, бывший военный прокурор Лев Федорович Филимонов, который, выйдя в отставку, переехал жить в Кисловодск. Они разговорились о зверствах гитлеровцев и Филимонов рассказал им то немногое, что знал о преступлениях немцев в Литве. И еще о том, что он знаком с дочерью бывшего директора Вильнюсского филиала ВЮЗИ, который он, Филимонов, в свое время окончил. Что эта дочь была в гетто и в двух концентрационных лагерях, и вела там дневник. Что она осталась жива и работает в филармонии. Хавкин проявил горячее желание узнать о дневнике подробнее и попросил Филимонова написать в Вильнюс и заочно нас познакомить, после чего он сам напишет.* Однажды, придя на работу, я нашла на столе не только "привычное" ежедневное письмо из Ленинграда, от мужа (я к тому времени уже была замужем за ленинградцем), но еще одно, из Москвы. Почерк был незнакомый. И фамилия отправителя — Хавкин А.М. - ничего не говорила. Я вскрыла письмо. Тем же почерком, что и на конверте, было написано: "К Вам обращается человек, о котором Вы могли узнать из недавнего письма Розы Марковны и Льва Федоровича Филимоновых из Кисловодска". От Филимоновых я никакого письма не получила, тем более было любопытно, что же он пишет, и я продолжала читать. "Поскольку я поставил себе задачу всеми доступными мне силами и средствами не давать людям забыть о фашистских зверствах, то я живо заинтересовался рассказом Филимоновых о Вас. Лично я прошел всю недавнюю войну с начала до конца в армии". Дальше

он просил хотя бы в кратком виде написать ему о дневниках (почему-то во множественном числе), и сообщил, что, "располагая некоторыми связями в кругах, интересующихся возможностью познакомиться с новыми материалами о фашистских зверствах, я бы смог предпринять некоторые шаги к тому, чтобы Ваши дневники не остались втуне". Я дала письмо прочесть Изе и Риде. Но они посоветовали не торопиться с ответом, пока не будет письма от Филимонова, и не выяснится, что этот Хавкин за человек. Только ли желание не давать людям забыть о зверствах фашистов им руководит. Я удивилась: какие еще чувства могут им руководить? Оказывается — и тут они были едины — корыстные цели. За помощь он может потребовать поделиться гонораром или даже напроситься в соавторы. Я сникла. Это "поделиться гонораром" напомнило историю с переводами. Но все же я возразила: рукопись уже сдана в Издательство, и никто не может претендовать на соавторство. Я ему ответила в тот же вечер. Вскоре получила второе письмо. Хавкин спрашивал, не намереваюсь ли я перевести рукопись на русский язык, и поразил неожиданной просьбой разрешить ему показать мое письмо И.Г.Эренбургу и "попросить его совета или участия в той или иной форме". Я опять ответила сразу. Написала, что перевести на русский язык, по крайней мере предварительно, я готова. А что касается разговора о дневнике с И.Г.Эренбургом, то, если только есть такая возможность или хотя бы надежда, я была бы ему очень благодарна. Оказалось, что, упомянув в письме о некоторых связях "в кругах, интересующихся возможностью познакомиться с новыми материалами о фашистских зверствах", он имел в виду именно И.Г.Эренбурга, к которому намеревался обратиться через своего друга П.И.Лавута.*(*Павел Ильич Лавут много лет работал в Союзе писателей СССР, где организовывал выступления писателей и сопровождал их в поездках по Советскому Союзу. Особенно много разъезжал с В.В.Маяковским, который упомянул его в своей поэме "Хорошо": "Мне/ рассказывал/ тихий еврей/ Павел Ильич Лавут:/ "Только что/ вышел я/ из дверей,/ вижу — / они плывут…") Получив это, второе письмо, он пошел к Павлу Ильичу, тот сразу позвонил И.Г.Эренбургу и, сославшись "на одно интересное дело", попросил разрешения зайти к нему. Уже на следующий день оба были у него. Я об этом посещении — это было 12-го декабря 1961-го года — узнала из письма Хавкина, написанного в тот же день. Он писал: "Илья Григорьевич внимательно прочитал оба ваших письма и, как говорится, благословил на задуманное — предложил мне тотчас написать Вам, чтобы Вы приступили к предварительному переводу с литовского. То обстоятельство, что книга на первых порах выйдет

именно на литовском языке, значительно упрощает положение, являясь как бы неким трамплином к последующему изданию для широкого круга советских читателей. Конечно, чем раньше вы закончите и пришлете свой перевод, тем для дела будет лучше. Эренбург еще высказал суждение о том, что немаловажное значение будет иметь литературная сторона изложения, и тут же заметил, что Вы ведь занимаетесь литературным трудом вообще, и, следовательно, для такого рода опасения нет основания. Вернее, их не должно быть. Он интересовался, когда, примерно, можно ожидать выхода книги, очевидно, имея в виду степень готовности предварительного перевода. И еще, конечно, как он выразился (что и без того понятно), самым лучшим было бы повидаться с Вами. На прощание он еще раз подтвердил свой интерес ко всему этому и посильную помощь в осуществлении всем нам дорогой и понятной цели — получения еще одного свидетельства пережитого. Тут же он просил меня держать его в курсе дальнейшего, т. е. во всем, связанном с переводом, выходом книги в свет и возможности Вашего приезда сюда". Интерес такого всемирно известного и, казалось, недосягаемого человека, как И.Г.Эренбург, конечно, очень обрадовал. Я решила сразу же взяться за перевод, хотя в издательстве рецензии по-прежнему не было. Шамариной я о письмах из Москвы и о переводе на русский ничего не сказала. Только попросила, если Институт, наконец, пришлет свое заключение, позвонить папе, так как ненадолго уезжаю к мужу в Ленинград. Я на самом деле взяла отпуск и поехала совмещать работу с семейной жизнью. (Я была замужем за ленинградцем, но окончательно переехать в Ленинград все еще не могла решиться…) Я не просто переводила с одного языка на другой. Лишь раскрыв рукопись, я с первых же строк оказывалась *там, в том* времени. Снова проживала каждый описанный день. Когда становилось совсем невмоготу, я, как первое время, когда особенно часто снился лагерь, с усилием возвращала себя в действительность. Оглядывала комнату. Твердила себе, что я в Ленинграде, что с того времени уже прошло много лет. На кухне свекровь спорит с соседкой. Сёма на работе. Скоро, в обеденный перерыв, он позвонит. Подходила к окну, смотрела на школу, что напротив, на проезжающие по улице машины. Ждала, когда проедет маршрутный автобус. Тогда я снова сяду за работу. Автобус проезжал, сворачивал за угол, и я возвращалась к столу. Опять окуналась в прошлое… Полностью за эти несколько недель перевести свои записи я не успела, и вернулась в Вильнюс. Рецензии все еще не было… Ожидание становилось все более тягостным, надежды, что решение будет положительным, как я ни старалась их удержать, таяли, и это меня очень угнетало.

Особенно после того, как я прочла в "Вечерних новостях", что западногерманские власти выпустили из тюрьмы Хоппе — бывшего коменданта нашего лагеря, Штуттгофа. Тогда я его фамилии не знала. Там он был всесильный комендант лагеря, штандартенфюрер СС, перед которым трепетали даже его подчиненные эсэсовцы. При нем и унтершарфюрер, и охранники нас избивали и над нами глумились с большим остервенением, чем обычно. Особенно если он им давал свою излюбленную команду взгреть узника так, "чтобы вода в его заднице закипела". Лично избивать он считал ниже своего достоинства, зато непременно присутствовал при публичных казнях через повешение (кроме массовых уничтожений в газовой камере были и индивидуальные казни), при назидательных порках или так называемых "наказаниях авансом" — чтобы никому неповадно было что-то нарушить, не соблюдать лагерную дисциплину. Теперь он, тот же штандартенфюрер СС, на свободе. И Мурер до недавнего времени был на свободе. А его непосредственный начальник, гебитскомиссар Вильнюса Хингст? А оберштурмфюрер Нойгебоер? А Швайнбергер? А начальник тюрем Вайс, руководивший расстрелами в Панеряй? Говорят, что его теща живет где-то у Швейцарской границы. Наверно, и он там недалеко. А ликвидировавший вильнюсское гетто Китель? Я же написала об их преступлениях. Почему Институт истории Партии медлит с решением издать эту книгу? Я решила все-таки им все это объяснить. Но чтобы не подвести Шамарину, попросила ее согласия. Она его не дала. В очередной раз посоветовала набраться терпения. Правда, обещала, что в ближайшее время найдет повод и сама позвонит, поинтересуется, когда примерно можно ждать рецензии на мою рукопись. Я продолжала ждать. Глушила тревогу работой. Завершив перевод, по вечерам допоздна засиживалась в Филармонии и перепечатывала его. Когда работа подошла к концу, написала Хавкину. Он вскоре ответил, что Эренбург просит приехать. Честно говоря, я не понимала, какой смысл ехать до того, как Эренбург прочел. Но, тем не менее, уложила вместе с рукописью свой домашний "музей" — шестиконечные желтые звезды, которыми мы тогда были мечены, распоряжения Мурера, "аусвайзы", жестяной нашейный номерок, изданный в Париже на французском языке мемориальный сборник Давида Диаманта "Евреи — герои Сопротивления", в котором есть фотография дяди Михеля и его прощальное письмо жене. Взяла еще одну книгу, тоже на французском языке, где воспроизведено объявление об их, двенадцати заложников, расстреле, а также снимки траурной процессии, когда в 1950-том году останки казненных переносили

на кладбище Пер ля-шез. Со всем этим поехала в Москву. Лавут, узнав о моем приезде, сразу позвонил Эренбургу, и Илья Григорьевич попросил прийти через два дня, то есть 6-го марта в 9,30 утра. Другого свободного времени у него нет, в последующие дни он будет еще больше занят, а держать меня долго в Москве не хочет. К сожалению, он нам может уделить всего полчаса, в десять должен прийти шведский журналист. Вечером Лавут меня повел на спектакль студенческого театра МГУ "Дневник Анны Франк" и в антракте познакомил с исполнительницей роли Анны — Чернявской. Мы обе обрадовались этой встрече. На следующий вечер мы втроем, уже и с Хавкиным, пошли в Центральный дом литераторов на вечер памяти Семена Гудзенко. Перед началом вечера Лавут меня просвещал: тот сутулый старик — Павел Антокольский. Мне очень хотелось подойти к нему и поблагодарить за стихи, особенно за "Сына". Но я не решилась. А дама впереди нас — Лиля Брик. Старушка, которую Симонов бережно ведет под руку — мать Семена Гудзенко. Когда появился Эренбург, Лавут спросил: — Его, надеюсь, узнаете? Я его узнала по фотографиям. И Симонова узнала. И помнила его военные стихи. Вечер начался. Я слушала выступающих, старалась все запомнить. Было очень стыдно, что не знала стихов такого хорошего поэта, не знала и того, что его ранение было схожим с ранением Пушкина, но ему сделали операцию, и он еще жил до 1953-го года. Что свою смерть он предсказал в одном послевоенном стихотворении: "Мы не от старости умрем — От старых ран умрем". Меня удивило признание Эренбурга, что этот молодой человек в самом начале войны знал о ней гораздо больше того, что знал сам Эренбург. Потому что, как Эренбург выразился, это была не поэзия о войне, а с войны, с фронта. А когда зазвучал в записи голос самого Гудзенко, я чуть не расплакалась. Я была так поглощена тем, что говорили со сцены, что забыла о главном — уже завтра утром идем к Эренбургу. Дверь нам открыла немолодая, интеллигентного вида женщина. Лавут, здороваясь, назвал ее Натальей Ивановной и, знакомя нас, сказал, что она — секретарь Ильи Григорьевича. Наталья Ивановна впустила нас в большую комнату. Разглядывать висящие на стенах картины, явно заграничные сувениры и пестрый восточный коврик, я стеснялась. Только удивилась, что среди такого обилия художественных произведений на столе обыкновенная клеенка — цветастая, уже потертая в углах. Вошел Илья Эренбург. Вблизи он показался старше, чем вчера вечером на сцене. И мешки под глазами более видны, и редкие волосы торчат, словно тонюсенькие березки в редколесьи. Илья Григорьевич, видно, заметил мое волнение и, только

поздоровавшись, заговорил с Лавутом. Наконец Эренбург обратился ко мне. Спросил, какой у нас в Литве преобладает антисемитизм — государственный или народный. Он об этом спрашивал у Бориса Слуцкого, недавно побывавшего в Литве, но поскольку тот гостил у Миколаса Слуцкиса, то ответить не смог. Я сказала, что, к сожалению, у нас есть и тот, и другой. Только проявлений государственного, пожалуй, меньше. Может, оттого, что Первый секретарь ЦК партии А.Снечкус и Председатель Президиума Верховного Совета Ю.Палецкис этим не заражены. И министр культуры Ю.Банайтис очень порядочный человек. Что благодаря ему "космополитами" были объявлены всего несколько человек, которым это не могло повредить, — они уже были в лагерях. Находящихся на свободе он трогать не дал. А народный антисемитизм, к тому же усилившийся во время гитлеровской оккупации, к сожалению, ощутим. Правда, большинство литовцев настолько не любят русских, что нелюбовь к евреям, особенно "своим", а не приезжим, иногда оказывается на втором плане. Но я любой национализм не приемлю. Как бы продолжая тему, Илья Григорьевич рассказал, что недавно, года полтора тому назад, в Малаховке подожгли синагогу, а на вокзале и в других местах были расклеены листовки, которые кончались призывом Б.Ж.С.Р. ("Бей жидов, спасай Россию"). Виновников нашли по дефекту в пишущей машинке, на которой они были напечатаны. Ими оказались два комсомольца и сестра одного из них. К нему, Эренбургу, прислали следователя, который вел это дело, проконсультироваться, какое впечатление произведет на Западе открытый процесс. И хотя Эренбург его уверял, что самое благоприятное, процесс был закрытым, даже жители Малаховки о нем ничего не знали, а наказание — незначительным. Еще он рассказал, что в Дагестане, где живут горские евреи-таты, в опубликованной в местной газете антирелигиозной статье уверялось, что евреи подмешивают к питьевой воде мусульманскую кровь. Правда, через некоторое время появилось опровержение. Но это не помогло. Обстановка накалялась: кто-то "видел", как еврей заманил в сарай мусульманского мальчика. Едва не начался погром. И хотя, конечно же, оказалось, что это очередная чудовищная клевета, мусульмане еще долго угрожали расправой. Поэтому несколько человек приехали в Москву искать защиты и авторитетного опровержения в печати этой клеветы. Целый месяц они обивали пороги разных инстанций, и он, Эренбург, помогал им, чем мог, но ничего не добились. Весь результат их стараний состоял в том, что сняли редактора газеты за допущенную политическую ошибку, и, кажется, был объявлен выговор секретарю горкома партии. А за границей оба этих

события вызвали "шум". Приезжал представитель какого-то, как Эренбург выразился, "Международного альянса по защите евреев" убедиться, не режут ли здесь евреев, не врываются ли в квартиры, не сбрасывают ли их с трамваев. А в Париже и Риме события в Малаховке и на Кавказе обсуждались на каких-то специальных заседаниях. Лавут его спросил, какие есть возможности опубликовать мой дневник. Эренбург пожал плечами — пока он не представляет себе, что можно сделать. Спросил, как у меня обстоят дела в Литве, и посоветовал делать все, чтобы книжка там вышла. И повторил, что это будет хорошим трамплином для выхода за рубежом. Я удивилась этому "за рубежом". На вопрос Лавута: "а у нас " — Эренбург не ответил. И неожиданно, вне всякой связи с тем, о чем до сих пор шел разговор, Эренбург сказал, что взят крутой поворот в отношении к периоду культа личности Сталина. Только вчера Твардовский ему рассказал, что получил окончательный отказ печатать небольшую повесть об одном дне в сталинском лагере одного неизвестного автора.*(*Это был "Один день Ивана Денисовича" А.Солженицына.) Отказ последовал из ЦК. Но Твардовский намерен обратиться непосредственно к Н.С.Хрущеву. По той же причине — в нескольких главах описывался наш лагерь — не опубликовали вторую часть романа Василия Гроссмана "За правое дело"*. (*Роман "Жизнь и судьба" был опубликован много лет спустя по чудом сохраненной рукописи.) Даже изъяли саму рукопись и все материалы к ней. Причем это происходило в таком "стиле", что Гроссману осталось благодарить судьбу, что его самого не тронули. Я слушала, затаив дыхание, а Эренбург еще добавил, что и ему в работе над книгой "Люди, годы, жизнь" там, где речь шла о событиях периода культа личности пришлось нелегко. Не обошлось без "выкроек", в частности — об испанских событиях, о Смушкевиче и Штерне, погибших в годы культа. Лавут его спросил о Пастернаке, которого в те дни травили за выход на западе романа "Доктор Живаго". Эренбург сказал, что не осуждает его так, как пресса. И вообще он считает, что, если бы не такая шумиха, то эту книгу прочитали бы очень немногие, так как Пастернак не для широкого круга читателей. Что его, Илью Григорьевича, Пастернак удивляет своей религиозностью. Некоторое время они вообще были "в ссоре", так как Пастернак в разговоре сказал, что любой деревенский Иван лучше него знает русский язык, потому что унаследовал его с молоком матери, — это у него в крови. Он, Илья Григорьевич, пытался ему доказать, что он знает язык лучше очень и очень многих. И вообще непонятен его, Пастернака, комплекс неполноценности из-за своего еврейского происхождения. Еще Эренбург говорил о

разности культур — нашей и европейской. Что вообще о культуре народа судят по тому, как они чтут умерших и как содержат кладбища, памятники. Особенно могилы и памятники жертвам фашизма. Их просто, за редким исключением, почти нигде нет. Илья Григорьевич также высказался о наших толстых журналах. Их надо разбить на три группы: самую большую — "Москва", "Нева", "Звезда", "Октябрь" — официальную, казенную, куда и думать нечего сунуться с чем-нибудь, связанным с еврейством. Вторую — "Знамя", где сидят обыкновенные чиновники под сенью "Как бы чего не вышло", и "Гляди, поглядывай, оглядывайся", и, наконец, третья — "Новый мир", где еще можно кое-когда и как-нибудь разговаривать и рассчитывать на что-то. Зашла Наталья Ивановна и сообщила, что пришли шведы. Мне стало неудобно, что мы его задерживаем. Но Илья Григорьевич сказал: — Проводите их, пожалуйста, в кабинет и попросите немного подождать. Хавкин, тоже почувствовав конец визита, наконец вклинился и напомнил, что я привезла не только рукопись, но и некоторые документы. Илья Григорьевич их рассматривал не спеша и слушал мои объяснения очень внимательно. Просмотрел и обе французские книжки. Сказал, что к нему обратился Минский музей, просил прислать фотографии, связанные с белорусскими партизанами для выставки к годовщине освобождения Минска. И все же нам пора было уходить. Провожая нас, уже в передней, Илья Григорьевич мне сказал, что очень занят и рукопись прочтет не скоро. Я смутилась, что он как бы оправдывается передо мной, и поспешила его уверить, что это не к спеху и что прошу его не обращать внимания на не выверенный перевод: я его делала в спешке. Не сказала только, что переводила специально для него. Тем более радостно забилось сердце, когда однажды, недели через две после моего возвращения, Янина, наша секретарша, принесла конверт и еще в дверях объявила: — Машута, пляши: письмо от Эренбурга. Я вскрыла конверт. Посмотрела на дату: 28 марта 1962. А мы были у него 6-го, и он говорил, что очень занят и не скоро прочтет, тем не менее ответ пришел так быстро. Я стала нетерпеливо читать: "Уважаемая Мария Григорьевна, я прочитал Вашу рукопись не отрываясь, нашел ее очень интересной и надеюсь, что она будет напечатана. Для русского издания я сократил бы ее примерно на одну четверть, чтобы избежать некоторых повторений. Перевод неплохой, но все же требует некоторой — небольшой — редакторской обработки. Приведу Вам несколько примеров. На седьмой странице "Мы — "JUDEN", и для них *иные* чем все". Это литературный оборот, невозможный в устах девочки. То же касается и слова "контур" несколько страниц дальше. На стр. 59:

"Евреи должны знать, что для *них* виновных и невиновных нет…" Это просто не по-русски и непонятно к кому относится местоимение. В общем же перевод довольно хорош и детский тон рассуждений передан, но перевод нужно отредактировать. Последний мой совет — измените название, найдите другое, более спокойное.*После того, как эта книга выйдет на литовском языке, я помогу Вам в напечатании ее перевода на западные языки. (*В оригинале я свои записи назвала "В кровавой схватке". Но в еврейском языке слово, которое я употребила, означает только схватку со смертью или (и то лишь в сказках) неким многоглавым чудищем. Не найдя ни в литовском, ни в русском языке соответствующего слова, я дала рукописи рабочее название "Хочу жить".) От души желаю Вам успеха. И.Эренбург" Почти одновременно с этим письмом прибыло другое — из журнала "Советиш геймланд" ("Советская Родина"). В нем сообщили, что о публикации отрывков из дневника, которые им передала Нехама Лифшицайте пока ничего определенного сказать не могут. Они уже публикуют книгу о лагерях и приняли еще одну о гетто, так что "стоят перед опасностью, что журнал может превратиться в некую черную книгу". Спросили, не пишу ли рассказы на современные темы, и предложили, если они есть, прислать им. Я попросила вернуть рукопись, что они немедленно и с явным облегчением сделали.

НАКОНЕЦ РЕЦЕНЗИЯ ПОЛУЧЕНА

Прошли еще два месяца волнений и ожидания (в общей сложности почти год), и наконец Шамарина позвонила, что отзыв на мою рукопись получен, и я могу прийти ознакомиться с ним. Подчеркнуто официальный тон ничего хорошего не предвещал… Так оно и оказалось. В первых абзацах автор "замечаний" — как он их назвал — констатирует, что в своей книге я рассказываю*"о своих переживаниях во время гитлеровской оккупации в Литве, в Вильнюсском гетто и концлагерях Штрасденгоф (автор почему-то уточнил "Латвийская ССР", хотя при немцах Латвия не была советской социалистической республикой) и Штуттгоф", что показываю "бесчеловечные зверства гитлеровцев, трагическую судьбу тысячей безвинных советских граждан, массовое, ничем неоправданное истребление в Панеряй и других местах уничтожения". Автор признает, что я образно описываю введенный гитлеровцами режим в концентрационных лагерях, и что моя книга — "грозное обвинение фашизму, сегодня открыто поднимающему голову в США, Западной Германии, явно пользующемуся поддержкой официальных кругов этих государств", что "книга написана на актуальную и нужную нашему обществу тему". (*Текст дается в дословном переводе с литовского языка.) Но дальше следовали почти две страницы того, что он назвал "замечаниями": "Первое. В книге неправильно оценивается геттовская полиция. Нельзя ее деятельность оценивать положительно, как это фактически делает автор. В этом вопросе, как и в других подобных вопросах, всегда надо придерживаться классовых позиций. Всякие генсасы, деслеры и др. были изменниками еврейского народа, еврейские буржуазные националисты, которые по указанию гестапо собирали людей для расстрела, избивали их, производили обыски, боролись с партизанами и коммунистами. Возьмем, к примеру, Йокубаса Генсаса, начальника геттовской полиции. На страницах книги, где говорится о полиции, он по сути хвалим. Кто же он был на самом деле? Й.Генсас был офицером в армии буржуазной Литвы, затем — ответственным работником Каунасской тюрьмы. Значит, сперва он был слугой литовских фашистов, а в годы Великой Отечественной войны — слугой гитлеровцев и палачом еврейского народа. Таким же был и Деслер. Второе. В рукописи материал излагается с внеклассовых позиций теории "единого потока". Напр., на стр. 15 сказано, что геттовский "Юденрат" был создан из почтенных жителей города. На самом деле "Юденрат" создавался, как правило, из представителей буржуазии и

духовенства. В нем не было ни одного рабочего. Кроме того, известно, что геттовская полиция отдавала для уничтожения в первую очередь бедняков, рабочих, что она старалась сохранить богачей, представителей буржуазии. Третье. Недостаточно выявлен вопрос помощи жителям гетто. Упоминаемый Йонайтис, по-видимому, является символической фигурой. Но ведь известны люди и теперь живущие в Вильнюсе, которые в годы оккупации оказывали определенную помощь гражданам еврейской национальности. Кажется, и в брошюре И.Юргиниса такие факты есть. Вызывают сомнение в смысле целесообразности некоторые места в книге, напр., стр. 34, 36, 44 и др. (о появившемся в окне человеке, о крестьянине, взявшем за часы девочку, о шофере, захотевшем извлечь двойную выгоду и т. п.). В таких случаях следует говорить и упоминать конкретные, отдельные факты, потому что в противном случае у читателя может создаться впечатление, что автор о таких явлениях говорит в общей форме. Четвертое. Автор неточно говорит о советских партизанах. Упоминаемые в книге Ася Бигайте, Капланас, Хвойникас по имеющимся данным не были участниками партизанского движения. В книге не хватает подлинных борцов, коммунистов, организаторов антифашистской борьбы в гетто. Кроме Витенберга и Глезерите их в книге не видно. Нет фамилии Б.Шершневского, не отражена борьба других коммунистов (Боровская и др.), нет людей, вышедших из гетто в партизанские отряды и теперь активно работающих в разных областях. Правда, в книге упомянут И.Глазманас, но о нем писать нет надобности, может, вообще не стоит его упоминать. Пятое. Сегодня мы говорим не "немцы убивали", "немцы мучили", и т. д. Следовало бы писать "гитлеровцы", "немецкие фашисты", "фашисты" и т. п. Так будет точнее. Подобным образом (на стр. 231) автор пишет, что ее освободили русские. Лучше — Советская армия, бойцы Советской армии". Дальше следовали замечания по так называемым частностям, и опровергающие изначальное утверждение, что я образно описываю введенный гитлеровцами режим в концлагерях: "Места в книге, где описывается жизнь в Штрасденгофе и Штуттгофе интересны, но после прочтения "Леса богов" Б.Сруоги особого впечатления не производят. Выводы. Книгу следует серьезно подправить. Надо шире изучить материал, больше советоваться с геттовскими подпольщиками — коммунистами, партизанами. Необязательно писать только о том, что автор помнит. Нужно и можно писать о том, чего автор не помнит. Ведь представленная автором рукопись не является произведением, написанным в грозные годы фашизма, как дневник Анны Франк. Оно написано в наши дни, значит, и должно быть написано по-

современному, правильно, с марксистских позиций. Кандидат исторических наук Б.Вайткявичюс Вильнюс, 1962 г." Уже с первых пугающих упреков, что книга написана с внеклассовых позиций и в ней не хватает коммунистов, я поняла, что Институт истории партии против ее публикации. И каждое последующее замечание, даже неверное — что Йонайтис, по-видимому, символическая фигура, что факт сожжения в Кене, на торфоразработках работавших там евреев сомнителен, и другие в том же роде — только подтверждали это. А главное требование — серьезно подправить, то есть фактически переписать книгу с неких марксистских позиций, и вовсе повергло меня в уныние. Шамарина мне протянула рукопись вместе с рецензией. — Когда доработаете — приносите. Я, кажется, поблагодарила, хотя понимала, что доработать, то есть переписать не смогу. Домой брела, про себя повторяя это "не смогу". Потому что нельзя переиначить то, что *было*. И при чем тут марксистские позиции? Да и будет неправдой, если напишу о коммунистах, которых я тогда не знала. А насчет лагеря этот Вайткявичюс сам себе противоречит. То отмечает, что описание жизни (он это называет жизнью…) в Штрасденгофе и Штуттгофе интересно, то — что после "Леса богов" Сруоги оно особого впечатления не производит. Сруога — известный писатель, он, конечно, написал лучше. Но его же вывезли в лагерь не для того, чтобы уничтожить (разве что сам не умрет), а вместе с еще несколькими профессорами для того, чтобы запугать литовскую интеллигенцию. Правда, называлось это цинично "шуцхафт-политиш". Это должно было означать, что арест политический и всего лишь в целых обеспечения его, узника, безопасности, чтобы спасти его от гнева общества за преступные действия, хотя никаких действий не было. Да и написал Сруога об одном только Штуттгофе. А надо, чтобы люди знали и о вильнюсском гетто, и о Штрасденгофе. Не могу я все переписать так, как надо сегодня. Рецензент не прав. Я не оцениваю положительно деятельность геттовской полиции. Наоборот. Пишу, что порядочные люди туда не шли. Только объясняю, что полицейские надеялись таким образом спастись: пока гетто существует, их не тронут, а тем временем, может, приблизится фронт, придут русские. И говорили мы тогда именно русские, а не Красная и не Советская армия. И немцев называли немцами, а не фашистами или гитлеровцами. И неправда, что именно геттовские полицейские отправляли людей для уничтожения. Акции проводили, то есть выгоняли из домов, конвоировали в Панеряй и там расстреливали специальные отряды (их называли особыми) из литовцев, служивших немцам. Как это ни горько, именно литовцы были

исполнителями, а немцы ими руководили. Геттовские полицейские всего дважды участвовали в акциях. Когда шеф геттовской полиции Генсас выторговал у немцев согласие перевести из ликвидируемых в близлежащих городках гетто три тысячи молодых мужчин и женщин в вильнюсское гетто для работы в расширяющихся мастерских, он посоветовал своим полицейским "ошибиться" при подсчете, и привести больше. Но все равно я их не оправдывала. Писала, что не понимаю, как они это могут — сортировать своих, решать, кому погибнуть, а кому остаться в живых. Рецензент нарочно не обратил на это внимания. И уж вовсе бездоказательны его уверения, что геттовская полиция "старалась сохранить богачей, представителей буржуазии". У меня же ясно сказано, что с самых первых акций в гетто немцы — именно немцы, а не геттовская полиция — временно оставляли в живых только нужных им ремесленников. А тех, кто из именуемых рецензентом "представителями буржуазии" не догадался зарегистрироваться маляром, электромонтером, стекольщиком, столяром и не работал по этой новой специальности, а значит, не получил нужного "аусвайза", уводили в Панеряй еще во время осенних акций 1941-го года. И не хвалила я Генсаса. Знала, что он был офицером довоенной — как теперь ее называют "буржуазной" — литовской армии. И что работал в тюрьме знала. И что он единственный имеет право ходить по городу без желтых звезд и по тротуару — знала. И что жена у него литовка, а дочь, хотя полуеврейка, продолжает жить с матерью в городе. Я все это знала, но просто хотела разобраться, что он за человек. И перечисляла, что о нем говорят, — за что хвалят, а за что ругают. Хвалят за то, что он умеет доказывать немцам какая им от нас польза: почти бесплатная рабочая сила, производственные мастерские в самом гетто. (Кстати, ни одна инспектировавшая гетто комиссия не уходила с пустыми руками, — он каждому ее члену преподносил образец изделий, особенно туфли из манильской пеньки — "сувенир для супруги".) Он умело поддерживает дисциплину и чистоту — даже создал специальную санитарную полицию. А ругают за то, что морочит людям головы, уверяя, будто гетто будет существовать только если немцам от нас будет польза. Но если они даже всего лишь заподозрят, что кто-то призывает к неповиновению, или, того хуже, к сопротивлению, нас немедленно ликвидируют. Поэтому не надо слушаться "горячих голов", призывающих к сопротивлению, не надо связываться с ними, а только работать. Добросовестно работать. Это единственное, что может нас спасти. Какая же во всем этом похвала Генсасу? Да и о сопротивлении все, что узнавала, записывала. Есть у меня и о первых листовках,

и о том, что в гетто создана тайная партизанская организация, и о гибели члена этой организации Тиктина, и об уходе молодежи в лес. Описывала все события той страшной ночи: как после ультиматума гестапо — выдать руководителя партизанской организации Витенберга, иначе ликвидируют гетто — охотились за ним. И первый, еще догеттовский "юденрат", о котором пишу, состоял именно из известных и уважаемых в городе врачей, педагогов, инженеров. Тогда, в начале, еще была надежда, что с такими людьми немецкие власти, возможно, будут считаться. К Мурeру с просьбой отменить или хотя бы смягчить некоторые его распоряжения делегировали доктора Якова Выгодского, известного общественного деятеля, многолетнего главу вильнюсской еврейской общины, Министра по еврейским делам в первом правительстве независимой Литвы, а затем, когда Вильнюс был присоединен к Польше — депутата польского сейма. И ему, которого в городе называли "отцом виленских евреев", 28-летний Мурер дал пощечину и сбросил с лестницы. А вскоре почти весь этот "Юденрат" был расстрелян. И вовсе не символическая фигура Генрикас Йонайтис, а наш бывший школьный учитель, теперь доцент и заведующий кафедрой общей физики и спектроскопии Вильнюсского государственного университета. И нет у меня, что 22.У.41 г. была учебная тревога. Ведь текст начинается со слов: "Воскресенье, 22 июня 1941 года". А чуть дальше ясно сказано: "Оказывается, тревога вовсе не учебная, а самая настоящая! Уже бомбили Каунас". Откуда он взял это 22-ое мая? А Глазмана, наверно, потому, как он считает, не стоит упоминать, что тот не был коммунистом, а принадлежал к "Бейтару"*. (*"Бейтар" — молодежная сионистская организация, созданная в 1923-тьем году. Она провозглашала идею необходимости армии для самообороны — защиты еврейского населения в подмандатной Англии Палестине.) Но ведь потому партизанская организация называлась объединенной, что для борьбы с гитлеровцами объединились все партии, оставив свои разногласия "на потом, после войны". И погиб он во время боя, уже в лесу, в отряде. Всю ночь я спорила с Вайткявичюсом, опровергая его доводы. И по дороге на работу опровергала, и в Филармонии. Я привычно печатала очередные программы концертов, что-то отвечала по телефону, разговаривала с приходившими репетировать солистами. Но все это — сквозь тягостное понимание, что Институт истории партии фактически запретил "в таком виде" публиковать книжку, хоть рецензент и облек этот запрет в завуалированную форму. Дома я снова стала перечитывать отзыв. Пыталась отыскать крупицу надежды в первых абзацах — что образно описываю введенный

гитлеровцами режим в концентрационных лагерях, что книга — грозное обвинение поднимающему в США, Франции, Западной Германии голову фашизму, что книга написана на нужную нашему обществу тему. Но это изначально положительное вытеснило перечисление серьезнейших идеологических ошибок, и как вывод — требование все переписать заново. И я опять, как вчера ночью, твердила себе, что не смогу. Что нельзя переделать, переиначить то, что*было*, то, что я тогда чувствовала, о чем думала. И не могу придать себе тогдашней какие-то марксистско-ленинские позиции. Я о них даже понятия не имела. (Да и теперь, после пятерки на экзамене в Литинституте, с этим у меня неважно…) Но чем больше я повторяла, что не могу ничего переделать, тем невыносимей становилась мысль, что, значит, никто так и не узнает, что с нами было — в гетто, в лагерях. Даже те, кто тогда жили в городе, проходили мимо кирпичных оград гетто, видели, как нас, меченых желтыми звездами, ведут на работу, всего-то и знали, что за этой стеной — еврейское гетто, и что оттуда время от времени по ночам гонят в Панеряй и расстреливают. А те, кто в те годы были на фронте или в эвакуации, и тем более тогдашние дети, даже и этих кирпичных оград не помнят, совсем ничего не знают! И Эренбург ведь советовал делать все, чтобы книжка вышла. И все равно я не могу, не могу ее переделать! Чувство безысходности не проходило. После работы я не сразу шла домой: там лежала на столе рукопись. А упрятать ее в нижний ящик к тому, что там уже лежит — тем трем тетрадям, "аусвайзам", жестяному номерку и желтым звездам не могла, — это значило бы обречь ее на молчание. И в музей составлять картотеку тоже не ходила. Забредала то к одной подруге, то к другой. Тянула время… Однажды я у Фриды с Борей встретила Диму Гельпернаса. Неизменно спокойного и ироничного Диму. В Каунасском гетто он был одним из руководителей подпольного комитета сопротивления. Потом попал в концлагерь Дахау. Его жена — всегда улыбающаяся энергичная Саля тоже была в Каунасском гетто. Пятнадцатилетней девчонкой внесла через ворота спрятанную в метле винтовку. Я знала, что теперь Дима — заместитель директора по производству издательства политической и научной литературы. Но почему-то раньше, когда относила туда рукопись, не вспомнила о нем, и когда томительно ждала рецензии, не вспомнила. А Дима, оказывается, знал, что такая рукопись в издательство поступила. Естественно, спросил, как у меня дела. Мой пересказ рецензии его не удивил. — А вы ожидали чего-нибудь другого? Я не могла определить, чего именно ждала и ответила: — По крайней мере не таких упреков.

Дима молчал. Потом спросил, что собираюсь делать. Я ответила, что ничего. Он удивился. — Надеюсь, Шамариной вы еще не успели об этом сообщить? — Нет. — И о своем несогласии с этим великим знатоком марксизма-ленинизма тоже не доложили? — Пока нет. Но, наверно, придется… — А вы никогда не замечали, что начальство не любит прямых возражений? Тем более, когда некоторые замечания можно учесть. — Учесть?! — Раз партии это так необходимо, — продолжал он спокойно, — можно ей пойти навстречу, и немцев переименовать в гитлеровцев. Тем более, что они на самом деле таковыми были. Русских назвать советскими и того проще. А если хорошенько подумать, можно еще в чем-нибудь таком уступить. Что Йонайтис фигура отнюдь не символическая легко доказать. Кстати, до войны мы вместе учились в Университете, только на разных факультетах. Попросите его нанести мадам Шамариной визит и лично засвидетельствовать свое реальное существование. Я так удивилась, — как это мне самой не приходило в голову, что едва не упустила дальнейшего. А Дима советовал найти еще несколько таких неверных утверждений, это немного подточит у Шамариной, а затем и у редактора веру в безошибочность и некоторых других его утверждений. Но тем не менее — продолжал он — кое-чем, к сожалению, придется пожертвовать. Ни одна книга не выходит без жертвоприношений. Мне не терпелось скорей оказаться дома, и взяться за работу. Взялась я сразу. Старательно, хотя все помнила наизусть, перечитывала фразу за фразой, боясь пропустить слово "немцы". Обнаружив, аккуратно перечеркивала и сверху вписывала то "гитлеровцы", то "эсэсовцы", то "палачи". Хорошо, что фактических исполнителей их приказов — литовцев — я еще раньше, при переводе на литовский язык, не назвала, как тогда, литовцами, а солдатами, убийцами, злодеями. За два вечера я немцев переименовала в гитлеровцев, а русских — в советских. Еще я спросила Йонайтиса, сможет ли он, в случае необходимости, пойти к Шамариной, или, прочтя рукопись, подтвердить, что все, касающееся его, — правда. Он, конечно, согласился. Но на этом моя доработка рукописи кончилась. А Дима говорил, что придется еще кое-чем пожертвовать. Чем именно? Я выписала все претензии рецензента на отдельный лист бумаги, отметила галочкой две учтенные. Третью поставила у фамилии Йонайтиса. А что еще учесть? Писать о коммунистах не могу. Я же их тогда не знала! Да и какая это была бы конспирация, если всякая девчонка знала бы тех, кто готовится к сопротивлению и выходит в леса. Но как добавить в текст то, что я узнала уже после войны — что секретарем партийной организации был Б.Шершневский, а усач, который в

ночь охоты за И.Витебергом отбивал его у геттовских полицейских (его, только безымянного, я упомянула) — Ш.Каплинский. Что в день ликвидации он вывел из гетто через канализационные трубы большую группу, что он был командиром партизанского отряда "За победу", а его жена, Х.Боровская, была комиссаром этого отряда. Тогда я же этого не знала. И не могла знать. Однако назвать их на самом деле надо. Не только потому, что рецензент требует, а потому, что они этого заслуживают. И они, и братья Гордон, и Дубчанский, и Мицкевич. Но как это сделать? Вклинить фамилии партизан в текст нельзя, будет искусственно. Написать послесловие? И я решила сделать сноски! Может, благодаря этому и Глазман останется. Я поставила еще одну галочку. А что делать с Генсасом? Не могу я его назвать буржуазным националистом. Тогда я и слов таких не знала. И ведь только перечислила, что о нем говорят — и хорошее, и плохое. Я перечитала этот кусок и… добавила, что его уговоры хорошо работать, приносить немцам пользу и не слушать тех, кто призывает к сопротивлению, его сторонники объясняли тем, что он хочет любой ценой сохранить гетто до прихода Красной Армии, и хоть сколько-нибудь евреев вывести из гетто. Об этом своем намерении он кому-то сказал. Доверился, что если увидит, что сохранить гетто не удается, сам откроет ворота, и скажет: "Бегите! Спасайтесь!" Но что с того? Выловят на первых же улицах, в первых дворах. Кто из литовцев или поляков за эти годы решился рискнуть жизнью и спрятать у себя еврея, уже давно это сделал. Не могу я быть ему судьей. И защитницей не могу, хотя немцы его тоже расстреляли, убрали перед полной ликвидацией гетто. Но если не учту обвинений рецензента, Шамарина это воспримет, как нежелание считаться с мнением партийных органов и вообще откажется издать книжку. А надо, чтобы она вышла. Обязательно надо, чтобы люди прочли, узнали, как страшно было в гетто, когда озверевшие солдаты под дулами автоматов выгоняли из домов целые семьи, уводили их в лес и там расстреливали. Как жутко было понимать, что следующим можешь быть ты, твои родные. Как мы леденели от ужаса в Штуттгофе, когда унтершарфюрер, шагая вдоль строя, хладнокровно тыкал плетью в самых исхудавших — отбирал для газовой камеры. И каждая молила Бога, чтобы плеть скользнула мимо нее. И как надзиратели и конвоиры изощрялись в издевательствах над нами. Я должна об этом рассказать. Должна. Поздно ночью я вычеркнула все свои раздумья о Генсасе. И строчку, что "Юденрат" был создан из почтенных жителей города, вычеркнула. Оставила только, что он был создан. Рукопись не перепечатала, чтобы Шамарина видела, что я ее "доработала" и

отнесла в издательство. С Димой мы договорились, что при встрече будем делать вид, что не знакомы. Так ему будет легче интересоваться прохождением рукописи. Он меня частично успокоил тем, что, как правило, на повторное рецензирование не отправляют, — рассчитывают на вынужденное послушание автора и, главное, на исполнительность редактора. Но тут же огорчил, что редактор мне достался ретивый. Его фамилия Пагирис. Он молодой, метит на должность главного редактора, поэтому старается доказать свою бдительность. Опять началось тревожное ожидание: ведь не все замечания я учла и, вопреки рекомендации рецензента, не переписала рукопись заново.

ОПЯТЬ ЧУДОВИЩНОЕ ОБВИНЕНИЕ

Вскоре собственная тревога померкла перед страшной, потрясшей весь город трагедией: в подвале одного из домов в самом центре найдена мертвая шестилетняя девочка, задушенная при попытке изнасилования. Молниеносно разнесся слух, что про изнасилование говорят нарочно. На самом же деле ее убили евреи, — скоро пасха, им для мацы нужна кровь христианского ребенка. Я побежала к Фриде с Борей, — они живут в том же доме, где и несчастная семья девочки, и узнала, что накануне вечером отец девочки ее и младшего сына забрал из детского сада и оставил во дворе поиграть, пока мать приготовит ужин. Когда их позвали, пришел только мальчик. Где сестренка, он объяснить не мог. Сказал только, что она каталась с горки с дядей, который часто приходит играть с ними. Как этого дядю зовут, ни он, ни другие дети не знали. Все твердили одно и то же — что он хороший, играет с ними. Как он выглядит, тоже не могли описать. Повторяли, что пальто у него зеленое. (Незадолго до этого в город завезли большую партию китайских серовато-зеленоватых пальто, и в них ходил чуть ли не каждый двадцатый мужчина.) Милиция искала девочку всю ночь, но безуспешно. А утром кто-то из жильцов дома, спустившись в подвал, обнаружил мертвое тельце в разодранной насильником одежде. Слухи о том, что ее убили евреи, обрастали "достоверными" подробностями: какая-то женщина сама видела на щечках бедняжки следы уколов, — ведь кровь высасывали. Кто-то "доподлинно" знал, что евреи заплатили родителям за нее сорок тысяч рублей. Не обошлось и без громогласных сожалений, что Гитлер не всех "их" уничтожил. Я, конечно, знала о давнем процессе над Бейлисом, обвиненном в ритуальном убийстве. Но что этот дикий вымысел про христианскую кровь для мацы может воскреснуть в наше время, да еще в таком городе, как Вильнюс, представить себе не могла. Однако так было. И ко мне вернулось старое ощущение, что меня ненавидят. Я стала ходить на работу пешком, чтобы в троллейбусе не поймать на себе враждебного взгляда. Не смотрела на прохожих. Страшилась, услышав за собою быстрые шаги. И лишь в филармонии немного успокаивалась. В день похорон девочки дотемна осталась на работе. Фрида с Борей потом рассказали, что в их дворе и на улице перед домом собралась огромная толпа. На грузовике с постаментом для гробика была водворена увеличенная фотография ребенка, и сидевшая в кузове женщина поворачивала ее во все стороны, чтобы всем было видно. А на второй или третий день после

похорон я прочитала в "Вечерних новостях" напечатанное мелким шрифтом на последней странице коротенькое сообщение о том, что накануне покончил с собою гр-н П., который в своем предсмертном письме матери признался, что является половым извращенцем, и что это он задушил девочку. Испугался, что она очень кричала. Но и после этого сообщения слухи о причине ее смерти еще долго не улеглись… Еще через несколько дней всезнающая Таня мне по большому секрету рассказала, как все было на самом деле. Когда девочку нашли, МВД приказало отделам кадров всех предприятий и учреждений представить списки мужчин, которые на следующий после убийства день не вышли на работу, с указанием, если известны, причин невыхода (командировка, болезнь и т. п.). П. тоже оказался в этом списке, но его начальник сказал, что парень тихий, интеллигентный, комсомолец, учится на заочном отделении института, и его из списка для дальнейшей проверки вычеркнули. Неожиданно в милицию позвонила его мать, и сообщила, что сын покончил с собою, перерезав вены, и оставил письмо, в котором признался в содеянном. Хоронили его тайком, ночью. Но одному из приехавших после звонка матери работнику милиции показалось подозрительным, что пол у дивана, на котором лежал окровавленный самоубийца, недавно вымыт. А в ванной висит явно только что выстиранное платье. И он усомнился, было ли это самоубийством. По его настоянию произвели эксгумацию тела, и экспертиза по направлению надрезов установила, что их сделал не сам он. Стали допрашивать мать. И она рассказала правду… …Сын ей признался почти сразу. Ошеломленная, она вызвала отца. (Тот в свое время оставил семью и женился на своей молоденькой студентке.) Оба они стали уговаривать сына самому явиться в милицию. Если ему трудно в милицию — то в райком комсомола. Но он упорно отказывался. А ночью, оставшись с матерью наедине, стал ее упрашивать помочь ему покончить с собою, чтобы избежать позора суда, встречи с родителями девочки. Уверял, что на фронте смертельно раненный солдат просил именно своего лучшего друга прикончить его, и этим избавить от лишних страданий. Двое суток он ее уговаривал, умолял, пока она наконец не сдалась. Прощальное письмо-признание они составляли вместе. И предварительно напоив его водкой, она это сделала… Ее судили. В городе о случившемся перестали говорить. Но у меня вернувшееся ощущение, что нас ненавидят, и достаточно любой искры, чтобы эта ненависть вновь вспыхнула, не проходило…

РЕДАКТУРА РУКОПИСИ

Наконец Пагирис позвонил, что рукопись отредактирована, и я могу прийти ознакомиться с его правкой. Хоть Дима и предупредил, что редактор мне достался ретивый, я все же не ожидала, что он станет *собственноручно* вносить в рукопись недостающую идейность. Над вычеркнутыми мною словами о том, что "Юденрат" ("Еврейский совет") был создан из почтенных жителей города, он вписал, что "Юденрат" был создан "из еврейской городской знати, ее представителям гитлеровцы доверяют. Никто этот совет не выбирал, ненастоящий он. Только называется "советом". Я пыталась объяснить, что не гитлеровцы его создали, а сами, именно вильнюсцы выдвинули из своей среды самых почтенных людей. Перечислила, кто именно входит в совет. Но Пагирис был непреклонен. Тогда я предложила вообще не давать перевода, оставить немецкое название, на что услышала, что иностранные слова публиковать без точного перевода нельзя. И явно давая понять, что оспаривать это бессмысленно, Пагирис перевернул страницу. Мелкую, чисто стилистическую правку я принимала с благодарностью. И против не очень существенных замечаний не возражала. В какое-то мгновенье мне даже показалось, что он становится не таким неприступно официальным. Но, увы, только показалось. Но когда я его спросила, почему он вычеркнул запись одного из осенних дней 1941-го года: "Скорей бы пришла зима. Взрослые говорят, что тогда Гитлеру будет конец Наполеона", он отрезал, что гитлеровская армия была разгромлена благодаря героизму советских воинов, а не морозам. А тем, что я вычеркнула свои рассуждения о Генсасе, наоборот, был очень недоволен. — Буржуазных националистов надо разоблачать и осуждать, а не делать вид, что среди ваших соплеменников их не было. Я принялась объяснять, что не делаю вида, будто их не было. Показала страницу, где, записав о создании геттовской полиции, шефом которой стал Генсас, указываю, что он был офицером сметоновской*армии и работал в Каунасской тюрьме. (*А.Сметона — до 1940-го года — президент Литвы.). И все его деяния описала подробно и объективно. Читатель сам составит о нем свое мнение. Когда я училась в Литературном институте, нам на каждом семинаре твердили, что читателю или зрителю именно не надо разъяснять происходящее, а предоставить ему возможность самому делать выводы. Не знаю, помогла ли ссылка на Литературный институт, или телефонный звонок. С первых слов поняв, что разговор сугубо личный, я вышла из комнаты. Когда он

меня позвал, то был явно доволен моей догадливостью, и к вычеркнутым страницам о Генсасе не вернулся. Все равно Пагирис был непреклонен. Раньше он, видно, не заметил, что я, вычеркнув, как того желал рецензент, фамилию Глазмана из текста, вставила его в сноску, где перечислила незнакомых мне тогда других членов партизанской организации. Теперь он это увидел и хмуро заявил, что не советует мне прибегать к таким маневрам. И не просто перечеркнул, а густо замазал фамилию Глазмана. Словно похоронил ее под чернилами. Так же хмуро спросил, откуда мне известно, что присланный вместо Мурера Бруно Китель был артистом кино. (В рецензии этого вопроса не было, тут уж Пагирис проявил собственную бдительность). Ничем, кроме того, что "все так говорили", я подтвердить этого не могла, поэтому утверждение о том, что Китель был артистом, он все-таки вычеркнул.*(*В вышедшем несколько лет спустя документальном сборнике "Массовые убийства в Литве" прежняя профессия Кителя указана.) Что Йонайтис не символическая фигура поверил. А что в маленьких городках вокруг Вильнюса в 1942-43 г. г еще были гетто и что в торфянике в Кене людей сожгли живьем, я вызвалась, если надо, добыть доказательства, съездив туда. И он согласился временно это оставить. Но когда мы дошли до описания одной июльской ночи 1943-го года, и я увиделач*то*он вычеркнул, от изумления только и смогла вымолвить: — Почему?! Пагирис не ответил. Видно, не счел нужным. А я вернулась в ту ночь… …Гестапо, узнав, что в гетто существует объединенная партизанская организация, предъявило ультиматум: если завтра до девяти утра не будет выдан ее руководитель И.Витенберг, в десять начнется тотальная ликвидация гетто. Всю ночь Генсас со своими полицейскими охотились за Витенбергом. В конце концов, его обнаружили и увели, но партизаны своего командира отбили. Однако под утро Витенберг сам решил сдаться: он не хотел быть причиной гибели еще остававшихся в гетто двадцати тысяч человек. Узнав об этом, я написала: "Не знаю, сколько сама буду жить, но за это я должна быть благодарна Витенбергу. Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей…" Именно эти мои слова Пагирис вычеркнул. Я повторила свой вопрос: — Почему нельзя писать об этом? Он равнодушно объяснил, что тогда мне, пятнадцатилетней девочке, такой поступок мог показаться исключительным. Но теперь, когда мы знаем о подвиге Александра Матросова, Марите Мельникайте, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской и многих других, это уже не звучит как из ряда вон выходящее событие, и пафос тут неуместен. Я принялась его убеждать, что это не пафос, что не только тогда, но и теперь я

считаю, что Витенберг спас меня, и не только меня одну. А оттого, что во время войны подвигов было много, каждый отдельный не перестает быть героическим. Он нахмурился. — Если бы так считали, ему бы тоже присвоили звание Героя Советского Союза. После такого аргумента еще что-нибудь объяснять было бесполезно. Оставалось утешать себя, что и без моей благодарности видно, что в тот раз Витенберг оказался нашим спасителем. Следующие поправки оказались менее существенными. С одними я соглашалась, против других возражала, и он, хоть нехотя, свои поправки смягчал. Видно, самому надоело спорить. А мне исчирканная рукопись стала казаться другой, как бы не совсем своей. Но на этом так называемая доработка рукописи не кончилась. Вскоре меня вызвала Шамарина. Оказывается, она проверила редакторскую правку и обнаружила несколько неучтенных замечаний рецензента. Она пожелала, чтобы о шофере, захотевшем извлечь двойную выгоду за то, что берется увезти обреченных в маленькие местечки, был приведен конкретный факт. А я этого сделать не могла. Я описала только общеизвестное. Вот как это было… …В первые месяцы в гетто, когда Мурер проводил одну акцию за другой, и уже были расстреляны более тридцати тысяч человек, кто-то пустил слух, что в ближайших местечках намного спокойней. И некоторые наиболее энергичные люди, продав последнее, что было взято с собою в гетто, объединившись, нанимали грузовик, который должен был тайком увезти их туда. Но в большинстве случаев шофер, потребовав плату вперед, вывозил своих нанимателей только за город и там передавал немцам, получив и от них вознаграждение. Узнали мы об этом от двух мужчин, которым удалось в темноте убежать. Но ни фамилий обманутых, ни тем более шоферов я не знала. И Шамарина настояла, чтобы все вычеркнуть. Единственное, на что она после долгих уговоров согласилась, это, чтобы я вписала: "Но пока еще очень немногие достигли цели: задерживают по дороге". Другую запись она вычеркнула сама. …В нашей комнате ютилось пять семей. Угол занимали две сестры. Родителей забрали, они остались одни. Рыжеволосой Ривке было семнадцать лет, а запуганной тихоне Двейреле — десять. Однажды, открыв дверь в уборную — крючок изнутри не был закинут — я изумилась: они там едят! У Ривки в руках большущий, в полбуханки, кусок хлеба, и она отламывает и дает Двейреле. Та испугалась, но Ривка ее успокоила: — Ешь! А ты, — она сердито глянула на меня, — держи язык за зубами. Я кивнула и быстро закрыла дверь. Вечером Двейреле мне шепнула, что Ривка ждет меня во дворе. Было очень темно, и от этого, когда Ривка заговорила, ее голос

казался еще более строгим. — На чердаке сушится белье. Сходи и принеси оттуда простыню. Выменяю ее на хлеб. Ты получишь свою долю. Я поспешно ответила, что не могу, — ведь белье чужое. — Как хочешь. Я и сама могу снять. Но скажу, что это сделала ты. И Двейреле подтвердит. Я взмолилась, чтобы она этого не делала, и со страха ляпнула, что принесу что-нибудь другое, свое. Я не знала, что делать. Маме рассказать не решалась, — она будет меня упрекать, что с ними дружу. А я не дружу, просто видела, что у них много хлеба. На следующий вечер Ривка меня опять вызвала во двор. Спросила, где обещанное. Я сказала, что не смогла взять. Она пригрозила, что если завтра тоже приду с пустыми руками, то очень пожалею. С мамой я опять не решилась поделиться своими переживаниями. А когда они с Мирой ушли на работу, я Раечку с Рувиком послала с кастрюльками во двор за водой, и вытащила из нашего мешка мамину сумочку. Она ей здесь не нужна. Ривка сумкой была недовольна, — за нее ничего не дадут. Наутро меня разбудил непривычный шум. Акция? Но никто не собирает в спешке вещи. Рыдает одна тетя Лея. Остальные ее утешают, говорят, что, может, еще найдутся. Но она не слушает, целует дочку, Липочку, и просит у нее прощения. А дядя Лазарь ругает жену, что она эти часы, наверно, выронила, когда вытряхивала на лестнице подстилку. Наконец мама мне объяснила, что у них пропали золотые часы, которые лежали под подушкой. Что за эти часы какой-то крестьянин обещал спрятать у себя на хуторе Липочку. Она через три дня должна была с работы не вернуться в гетто и встретиться с ним на условленном месте. А теперь все пропало. Украли не часы, а жизнь. Я сразу догадалась, кто их взял. Но боялась сказать — Ривка свалит вину на меня. И ей поверят. А если промолчу, Липочка не сможет спастись. Пока я раздумывала — говорить или нет — мама и остальные взрослые ушли на работу. Ривка осталась, — ей, видно, во вторую смену. И вдруг я решила… Я решила сама выманить у нее эти часы. Только как? Она же мне не признается, что взяла. Надо ее задобрить. Принесу еще что-нибудь. Но что? Свою школьную форму, в которой пришла в гетто? Скажет — кому тут нужна форма литовской школы? Да и что сама буду носить зимой? У меня же только одно летнее платье, которое на мне. Мамину блузку? Она собирается выменять ее на горох. Мирин вязаный капюшон? Нет, надо отдавать только свое. И я отдала Ривке свою форму. Она была недовольна, — за нее тоже ничего не дадут. — Дадут! — уверяла я. — Она теплая, шерстяная. — И неожиданно выпалила: — А еще я знаю, кому можно продать золотые часы. — Никаких часов у меня нет! — буркнула она сердито и, потащив за собою Двейреле,

выбежала. Я испугалась, что она заторопилась их сразу выменять. Корила себя, что утром ничего не сказала дяде Лазарю. Тогда она еще, наверно, не успела их спрятать, и их бы нашли. А теперь она их унесла… Я стояла во дворе, и повторяла мамины слова, что украли не часы, а жизнь. Ривка с Двейреле будут в уборной есть хлеб, а Липочка погибнет… Неожиданно Ривка вернулась, и сунула мне в руку что-то твердое, завернутое в тряпочку. — Спрячь. Завтра заберу. Но если посмеешь вякнуть… Найдут-то их у тебя. Кажется, еще никогда мне не было так плохо. Часы, конечно, вечером отдам дяде Лазарю. Но если он не поверит, что не я их взяла?.. Я не могу сказать, кто мне их дал. Тогда Ривка будет валить на меня. А что, если попросить маму, чтобы она вернула? Я ей все расскажу. Она поверит. Только за сумочку и форму будет ругать. Но я ей пообещаю, что зимой не буду жаловаться, что мне холодно в этом, летнем платье. Попрошу только, чтобы она из полотенца сшила рукава. Дядя Лазарь пришел с работы раньше мамы, и я ему сама отдала, — не терпелось их успокоить. Но попросила не спрашивать, у кого они были. Потому что не могу сказать. А он так обрадовался, что поцеловал меня в лоб и шепнул жене: — Нашлись! Часы нашлись! Тетя Лея опять расплакалась, снова кинулась целовать Липочку. В комнате тоже стали радоваться, расспрашивать, где они были. Но дядя Лазарь махнул рукой: — Какая разница? Нашлись — и слава Богу! В сторону Ривки я боялась взглянуть. И она, кажется, на меня не смотрела. Только назавтра, пройдя мимо меня, больно торкнула в бок, и прошипела: — Ты еще пожалеешь! Пожалела. Только о том, что ее и Двейреле вскоре забрали… А Липочка, когда часы нашлись, в гетто не вернулась. Значит, встретилась с этим крестьянином, и он увез ее в деревню… Весь этот эпизод, поскольку я не могла, как того требовал рецензент, назвать, какой конкретно крестьянин взял за спасение Липочки золотые часы, Шамарина вычеркнула. Зато против следующего исправления — изъятия фамилий трех партизан, потому что в рецензии сказано, что они "по имеющимся данным не были участниками партизанского движения" — я восстала. — Значит, в институте неполные данные. — Этот вопрос не в нашей с вами компетенции, — подчеркнуто официально изрекла Шамарина. А прочтя свои фамилии, они потребуют персональных пенсий, ведь книга документальная. У меня перехватило дыхание. — Не потребуют. Их повесили… После собственной проверки Шамарина, видно, еще не считала рукопись достаточно готовой к печати. Теперь она обязала всех своих редакторов ее прочесть и высказаться на общем обсуждении. Оно, естественно, проходило без меня. Хорошо хоть, что замечания были не очень

существенными и в основном относились к стилистике. Кроме одного… Кто-то (Пагирис не назвал фамилий выступавших) усомнился, стоит ли оставлять мое посвящение памяти мамы и детей. Объяснял тем, что на эти несколько слов придется выделить целую страницу, а с бумагой трудно. Узнав об этом, я еле справилась со своим возмущением, хотя старалась говорить спокойно. Я объясняла Пагирису, что могилы у моей мамы, сестренки и маленького брата нет. Я даже не знаю, где, в каком месте их пеплом удобрены поля. А эта книжка, кроме всего прочего — мой памятник им. И если единственной причиной, из-за которой не хотят оставить посвящение, на самом деле является экономия бумаги, то я готова в начале книжки сократить несколько абзацев и высвободить место для посвящения, притом согласна, чтобы оно было не на отдельной странице, а непосредственно перед началом текста. — Посмотрим, — сказал он равнодушно. — Посоветуемся. Ночью я не могла уснуть. Упрекала себя, что должна была более решительно настаивать. Не ограничиться разговором с Пагирисом, а пойти к Шамариной. В конце концов, к директору издательства. Я и так много уступала. Но неожиданно вспыхнула пугающая мысль: а может, они только этого и ждут: чтобы я отказалась выполнить их указания? Тогда у них появится повод расторгнуть договор и не издавать книжку. Все равно не соглашусь. Завтра же пойду к ней. Объясню, что посвящение не относится к идеологии, что я не претендую на отдельную страницу. Я буду настаивать на том, чтобы посвящение оставили. Это не просто посвящение… К счастью, настаивать не пришлось. Шамарина довольно легко согласилась оставить посвящение перед текстом, не выделяя отдельной страницы, и рукопись ушла в типографию. Позже, уже в корректуре, мне улыбнулась еще одна удача: в описании ночи охоты за Витенбергом удалось восстановить вычеркнутые Пагирисом слова: "Не знаю, сколько сама буду жить, но за это я должна быть благодарна Витенбергу. Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей…" Дело в том, что наборщик по ошибке на соседней с описанием этой ночи странице дважды набрал один и тот же абзац. Поэтому вместо него следовало где-то поблизости вписать другие три строчки. Я напомнила Пагирису, что даже когда вешают преступника, приговоренного к смертной казни, и срывается веревка, ему даруют жизнь. Пагирису пришлось "помиловать" и мою благодарность Витенбергу… Оставалась еще одна, очень пугающая инстанция — Главлит, то есть цензура. Но, как ни странно, она новых жертв не потребовала, и 15-го ноября 1963-го года книжка была подписана к печати. Вскоре я держала в руках

ее сигнальный экземпляр. Мои геттовские и лагерные записи стали книжкой. Просто небольшой книжкой. Таких, как эта, будет восемь тысяч. Их развезут по книжным магазинам. Кто-то, полистав ее, отложит в сторону, — ни к чему ему страдания евреев… А кто-то все же, наверно, купит. Будет читать. Исполнится наше тогдашнее желание, чтобы жившие по ту сторону оград люди хотя бы после войны узнали правду. Я стояла в пустом кабинете Шамариной и держала свою книжку. На обложке с несколько абстрактным рисунком женской головы было напечатано М.Рольникайте. Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ

О том, что книжка появилась в продаже, сказала мне Регина. Она очень удивилась, что я сама за этим не следила, что не захожу в магазины наблюдать, покупают ли ее, не вступаю в контакт с продавщицами. Им это льстит, и они стараются сами предлагать покупателю книжку знакомого автора. Мне такое — наблюдать, представляться продавщицам даже в голову не приходило. А слово "автор" смущало, — я же только записывала то, что происходило. Наоборот, охватило чувство неуверенности — достаточно ли зримо я все передала? Увидит ли читающий эти страницы человек все так, как оно было, почувствует ли чудовищную несправедливость того, что нас вырвали из жизни, отгородили от всего остального мира, и постепенно убивали? Вызовет ли это у него сострадание? Возмутит ли ненависть людей одной национальности к людям другой? И встревожится ли он оттого, что творившие это зло великое множество эсэсовцев не наказаны, и вновь объединяются? Вскоре после выхода книги в Вильнюсе меня пригласил известный литовский поэт Эдуардас Межелайтис. Кто-то, не зная, что есть мой собственный перевод на русский язык, предложил Госполитиздату в Москве перевести рукопись, и издательство решило "подстраховать" публикацию предисловием лауреата Ленинской премии Э.Межелайтиса. Межелайтис, как вежливый человек, спросил моего согласия и попросил прийти к нему для уточнения кое-каких деталей. Я поблагодарила, написала в Москву, что есть готовый перевод и в назначенный день, робея, пошла к любимому поэту. Межелайтис оказался очень душевным и искренним человеком, и я в конце беседы решилась поделиться с ним мучившей меня тревогой, что многие эсэсовцы на свободе и создают новые союзы. Я по-прежнему чувствую себя беспомощной перед этой страшной силой. — С фашистами, — ответил он, — если понадобится, опять будем сражаться оружием. Ваша книжка нужнее равнодушным. Вскоре стали появляться рецензии. Папа их исправно высылал мне в Ленинград, куда я к этому времени переехала. Переписанный начисто русский текст стал существовать как бы отдельно от меня. Один его экземпляр с предисловием Межелайтиса находился в Москве, в Госполитиздате, другой И.Эренбург передал во Францию, один я, по совету московского журналиста С.Чертока, написавшего рецензию по заказу Агенства Печати Новости для зарубежья, отнесла в журнал "Звезда". Заведующий отделом прозы Александр Семенович Смолян позвонил уже на второй день. Сказал, что

рукопись прочел и сегодня доложил о ней на редакционном совещании. Попросил прийти к главному редактору и принести с собою появившуюся накануне в газете "Известия" заметку ее вильнюсского корреспондента о выходе книжки в Литве. В назначенный день я пришла. Принял меня главный редактор Г.К.Холопов. Сказал, что они рукопись опубликуют в самых первых номерах будущего, 1965-го года. Узнав об отношении к ней И.Эренбурга, решил попросить его написать предисловие. Мне же Александр Семенович предложил дать краткое послесловие, — читателю будет интересно узнать, что со мною было потом. Эренбург на просьбу редакции ответил согласием. Смолян начал готовить рукопись к публикации. Однако неожиданно, уже перед сдачей рукописи в производство, Эренбург прислал в "Звезду" телеграмму, что в виду своей чрезвычайной занятости, он предисловия написать не сможет. Я не понимала, что произошло: ведь французское издание выйдет именно с его предисловием. Почему же он отказался дать его "Звезде"? Вскоре я получила от Хавкина таинственную записку. Он писал, что ему позвонили от нашего общего знакомого и попросили мне передать, что он отказался от ранее обещанного в моих же интересах. Записка только еще больше озадачила. Что значит в моих же интересах? Но написать Эренбургу, раз он сам это передал через посредника, не решилась. В "Звезде" я, естественно, об этом не рассказала, и редакция запросила согласия Межелайтиса опубликовать его предисловие. А сама я снова вернулась в *то* время, — АПН планировало совместное с Варшавским издательством "Идиш бух" ("Еврейская книга") издание книжки на языке идиш и попросило представить текст, соответствующий уже опубликованному. Снова я оказалась среди кирпичных оград гетто. И опять мы брели ночью зарегистрировать мамино желтое удостоверение ремесленника, продлевающее нашу жизнь на целых три месяца… И снова Мурер у меня на глазах застрелил красивую длинноволосую девушку только за то, что она хотела спасти от него своих стариков-родителей… И опять была ночь охоты за Витенбергом… И снова меня разлучали с мамой и детьми…

ПРОТЕСТ С ОГРАНИЧЕНИЕМ

Однажды, это было в конце ноября, мне позвонил сотрудник АПН С.Рабинович, освещающий для зарубежных читателей "равноправную" жизнь евреев в Советском Союзе и заказавший еврейский текст рукописи, и пригласил приехать в Москву для участия в организуемом АПН "Круглом столе". Объяснил, что правительство Федеративной Республики Германии, в связи с исполняющимся в мае 1965-го года двадцатилетием со дня окончания второй мировой войны хочет принять закон о распространении срока давности на все совершенные нацистами преступления. Советская общественность, естественно, протестует. И АПН созывает "Круглый стол", который состоится 2-го ноября. Как раз накануне отъезда мне позвонили из Франции, сказали, что переводчик книги Гастон Лярош поехал в Москву и там скоропостижно скончался. А они не знают, где рукопись. Спросили, успел ли он связаться со мною, сказал ли, куда сдал рукопись. Я ответила, что не связался, я даже не знала о его приезде. Но завтра еду в Москву и спрошу у И.Г.Эренбурга. Позвонила я Илье Григорьевичу, как только оказалась в гостинице. Трубку, естественно, сняла Наталья Ивановна. Сказала, что, к сожалению, Илья Григорьевич с Лярошем не виделся, — встреча была назначена на четверг, а Лярош скончался в среду. Но они говорили по телефону, возможно, он назвал издательство, сейчас она спросит у Ильи Григорьевича. Вернувшись, передала, что Илья Григорьевич просит меня прийти, а поскольку мне к часу дня надо быть в АПН, то пусть я приду сейчас. Сама она тем временем разыщет недавнее письмо Ляроша, может, там что-то есть. Принял меня Илья Григорьевич в кабинете. Я очень расстроилась, что он за эти несколько лет так постарел — осунулся, более обвислыми стали мешки под глазами, еще больше поредели остатки волос. А когда он, сев в кресло, скрестил руки, я даже испугалась, — такие они, эти красивые длинные пальцы были белые, словно прозрачные. Я быстро отвела взгляд и увидела знаменитые трубки в небольшой керамической вазе, стоявшей на книжной полке за его спиной. Эренбург расспрашивал, как у меня дела в "Звезде", был доволен, что при посредничестве АПН книжка будет издана на финском, японском и еврейском языках. Правда, относительно последнего хмыкнул: — Еще бы, такой козырь. Я удивилась такому совпадению: ведь сама уже несколько раз подумала о том, что становлюсь чем-то вроде фигового листка, которым, как и журналом "Советиш геймланд" ("Советская родина") власти

прикрывают перед заграницей отсутствие еврейских школ, театров, отказы принимать евреев на учебу в престижные вузы и прочие ограничения. А Эренбург уже рассказывал, что ему АПН тоже предложило издать "Черную книгу" о зверствах нацистов. Но он ответил, что предоставит текст и напишет предисловие только при условии, если издадут и на русском. АПН не согласилось, и "Черная книга", чей готовый уже набор в 1947-ом году был рассыпан, так и лежит неизданная. Неожиданно, безо всякого перехода, он стал объяснять, почему не дал в "Звезду" своего предисловия. Дело в том, что как раз в это время ему вернули из секретариата Хрущева шестую часть его мемуаров "Люди, годы, жизнь" со 134-мя замечаниями. У меня невольно вырвалось: — Вы их считали?! Он улыбнулся: — Конечно, не я, Наталья Ивановна считала. — И продолжал опять серьезно: — Согласился я только с шестьюдесятью, семьдесят не учел и вернул без правки. Но судя по тому, как секретарь Хрущева — а он тогда еще был во власти — Лебедев со мною говорил, не исключено, что против меня может начаться очередная кампания, и тогда мое предисловие вам только навредит. А книжка обязательно должна выйти. Мне было очень неловко, что Эренбург как бы оправдывается передо мной. Я мямлила, что понимаю, что буду ждать выхода в "Новом мире" продолжения его мемуаров, что предыдущие части читала с большим интересом. Выручила Наталья Ивановна, она принесла письмо Ляроша, в котором было названо издательство, и вскоре я попрощалась. В АПН прибежала почти перед самим началом "Круглого стола". Заволновалась, увидев, сколько тут корреспондентов, камер, юпитеров, и рассаживающихся вокруг большого на самом деле круглого стола солидных мужчин. Едва успела попросить единственного тут знакомого — все того же Рабиновича — чтобы сделанные записи пресс-конференции были переданы в Австрию — там живет на свободе Франц Мурер. Когда председатель АПН Бурков стал представлять присутствующих — профессоров-юристов Пионтковского и Кожевникова, генерал-майора Сабурова, художника Бориса Ефимова, писателя Льва Безыменского, бывшего партизана из Минска Матусевича, других, меня вдруг словно током ударило: я одна! От шести миллионов расстрелянных и задушенных в газовых камерах, от оставшихся в живых узников гетто и лагерей я тут одна! Я очень старалась не выдать своего волнения. Слушала аргументы профессоров-юристов, почему к преступлениям, совершенным нацистами, не может быть применен срок давности. Генерал Сабуров говорил о сражениях разных партизанских объединений, Борис Ефимов — о Нюрнбергском процессе, а волнение не отпускало. Наоборот, чем ближе было собственное выступление, тем больше усиливался

страх. Потом я никак не могла вспомнить своих первых слов. Осознала, что уже говорю, услышав свой дрожащий от волнения голос. Я рассказывала о гетто, об угонах на расстрел. Называла наших палачей. Дважды повторила, что Мурер, повинный в расстреле более ста тысяч человек, живет на свободе в Австрии. Рассказала об издевательствах и наказаниях в Штрасденгофе, о селекциях в Штуттгофе. Внезапно почувствовала странную слабость. Казалось, больше нет сил произнести ни одного слова. Но я их произносила. Что не призываю к мести, но по печальному праву говорить и за тех, кто сами этого сделать уже не могут, прошу не применять к нацистским преступникам срока давности, а наказывать их так, как они этого заслуживают. Кончила говорить, но слабость не проходила. Я еле досидела до конца. С трудом заставляла себя отвечать молодой женщине, которая представилась корреспондентом телевидения Светланой Гинзбург и пригласила профессора Пионтковского и меня завтра участвовать в передаче "Эстафета новостей". Я хотела только одного — скорей оказаться в гостинице и лечь. Мы с нею условились, что завтра утром она придет ко мне за текстом выступления. До гостиницы я еле доплелась. И хотя уверяла свою соседку по номеру, что слабость сама пройдет, она вызвала "Неотложную помощь". Впервые в жизни ко мне вызывали "Неотложку". Я не понимала, зачем врач перетягивает резиновым жгутом руку поверх локтя, зачем на сгибе слушает пульс. Когда она спросила, давно ли у меня гипертония, я постеснялась спросить, что это такое, и сказала, что не знаю. Она велела сестре сделать укол, а сама позвонила в какую-то поликлинику, и попросила, чтобы завтра в такой-то номер гостиницы "Украина" прислали врача. Сказала: "Гипертонический криз, верхнее, — она понизила голос, и я не расслышала, — а нижнее сто двадцать пять". Утром пришла врач поликлиники. Опять померила давление. И хотя слабость уже была не такая, велела лежать. Как раз в это время пришла Светлана Гинзбург. Узнав зачем, врач категорически запретила мне сегодня выступать. Не помогли объяснения Светланы, что эта передача идет раз в неделю, по четвергам, и ее ведущий Юрий Фокин вряд ли согласится перенести, так как передача связана с актуальными событиями недели. Но врач была непреклонна, да и у меня самой не было сил встать, одеться и куда-то ехать, опять говорить. После ухода врача Светлана позвонила Юрию Фокину, долго ему расхваливала мое вчерашнее выступление, вызвалась извиниться перед профессором Пионтковским. Наконец, хотя и очень неохотно, Фокин согласился перенести "этот сюжет" на следующий четверг. А Светлана рассказала свою историю. Отец у нее русский, но

оставил семью, когда она была еще совсем маленькой. Когда немцы заняли Харьков, она с матерью-еврейкой попала в тюрьму. Там немец ее так швырнул наземь, что сломал руку. (Я еще вчера заметила, что рука странно прижата к телу и не разгибается.) Мать была детским врачом, все в городе ее знали, и в благодарность за то, что она лечила их детей, соседки по камере — украинки, когда маму уводили на расстрел, ее, Светлану, спрятали. В память о матери она отказалась от фамилии отца и взяла материнскую, хотя жить с такой очень трудно. Фокин одну ее не взял в штат. Передач дает мало. Своего жилья нет, она снимает комнатку, и почти весь заработок уходит на оплату хозяйке. Перед уходом Светлана меня попросила написать текст выступления примерно на 3–3,5 минуты. Предупредила, что Фокин не знает, что я еврейка — видно, по фамилии думает, что литовка, иначе не согласился бы на мое участие в передаче — поэтому она просит слова "гетто" и "евреи" упомянуть только по одному разу. За текстом она зайдет через несколько дней, но Фокину его представит лишь в день передачи, когда ему уже некуда будет деваться, — список участников будет утвержден. — Если эта передача выйдет в эфир, — сказала она на прощание, — я буду считать, что не зря живу на свете. В день передачи она приехала за мной за четыре часа до начала, — на телевидении надо быть заблаговременно, будет репетиция, вернее, просмотр, — программу должно принять начальство, а нам еще надо заехать за профессором Пионтковским. Пока мы в машине были одни, Светлана рассказала, что Фокин, получив текст и поняв, кто я такая, был очень недоволен. Правда, истинную причину недовольства скрыл под ворчанием: — Еще не хватает, чтобы эта лагерница в кадре разревелась. Поэтому она просила держаться, предложила перед выступлением выпить валерьянки, взяла ее с собой. Попросила, чтобы я, поскольку собираюсь говорить без бумажки, обязательно придерживалась представленного текста. Главное, чтобы слова "евреи" и "гетто" упомянула только по одному разу. Иначе Фокин ее уволит. Я ее успокаивала, что не расплачусь, и буду говорить лишь то, что написала, и оба крамольных слова произнесу только по одному разу. Но на душе от последнего обещания было очень горько. В студии — просторной, со множеством прожекторов, камер, змеившихся по полу проводов, нас, участников передачи, "попарно" рассадили за отдельные, немного отдаленные друг от друга столики — меня с профессором Пионтковским, композитора Людмилу Лядову с молодым певцом, который должен был представить ее новую песню, каких-то двух очень волновавшихся мужчин тоже отдельно. Один все время вытирал

пот со лба (в студии от прожектора на самом деле было очень жарко), а второй то и дело поправлял галстук и откашливался. Непринужденнее всех чувствовали себя гастролировавшие в Москве артисты венгерской оперетты. Их выступлением должна была завершиться передача. Нам с Пионтковским режиссер сказал, что наш сюжет пойдет сразу за показом пленки с выступлением Громыко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Светлана встала за направленной на нас камерой, и предупредила, что, когда до конца выступления останется одна минута, она поднимет палец. Репетиция, вернее, приемка (начальство сидело где-то наверху) началась. Фокин, стоя на фоне панорамы Кремлевских башен, произносил какие-то выспренные слова. Я старалась его не слушать. И того, что рассказывали эти двое волновавшихся мужчин, не слушала. Повторяла про себя то, что сама должна сказать. Лишь краешком глаза следила за кинопленкой с выступлением Громыко. А Фокин уже предоставил слово Пионтковскому. Мое волнение усилилось, — сейчас надо будет говорить мне. Когда Пионковский завершил свое объяснение, почему к нацистским преступникам не может быть применен срок давности, Фокин показал литовское издание книжки и объявил, что и литовская девушка из вильнюсского концлагеря такая-то не прощает военных преступников. Оттого, что он скрыл мою национальность, заколотилось сердце. Но заговорила я, кажется, спокойно. И последовательно сказала то, что собиралась сказать. Но когда Фокин поднялся к начальству выслушать их замечания, я спросила у Светланы, что делать. Не литовка я, это же видно, и не хочу скрывать свою национальность. И не было в Вильнюсе концлагеря, было гетто. Она его нежеланием все назвать своими именами тоже была озабочена. Предложила, чтобы о том, что в Вильнюсе не было концлагеря, я ему сама как можно деликатнее напомнила, а начет "литовской девушки" она постарается намекнуть, пустив в ход немного демагогии. Только попросила, если он все же во время передачи это повторит, или скажет что-нибудь другое не так, в своем тексте его не поправить, иначе у нее будут крупные неприятности. Поправлять не пришлось. Представляя меня, он, как и на репетиции, показал книжку, и произнес, что нацистских палачей не прощает и участвующая в нашей передаче такая-то — без национальности и без гетто. В отведенные три с половиной минут я уложилась. И не отступила от представленного текста. Светлана была просто счастлива. Оказывается, она боялась, что начальство после просмотра оставит только Пионтковского. Я же еще была слишком напряжена, чтобы испытывать хоть какое-то удовлетворение.

Назавтра я уезжала обратно в Ленинград. Хавкин пришел на вокзал с несколькими своими друзьями, такими же пожилыми евреями. Объяснил, что они хотят познакомиться и поблагодарить за выступление. А один, со слезящимися на морозе глазами, радостно повторял, что там, в верхах, видно, отношение к нам меняется к лучшему. Раз мне дали выступить по всесоюзному телевидению, значит, положение явно меняется к лучшему. Я не стала его разочаровывать…

ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ

Был слякотный февральский день наступившего 1965-го года. Я принесла из "Звезды" номер журнала с первой частью своих записей. И так же, как тогда, держа в руках сигнальный экземпляр литовского издания, я опять заволновалась: *как* прочтут? Как воспримут? Это беспокойство не проходило и с выходом второй части. Наоборот, теперь, когда от меня уже ничего не зависело, оно еще больше усилилось. К счастью, самоистязание стало утихать, когда я начала получать письма читателей — добрые, сердечные, взволнованные. Вскоре из АПН сообщили, что книжкой заинтересовались в ряде стран, и поскольку журналы в киосках раскуплены, они текст размножили на ротаторе (ксерокопирующих машин тогда еще не было) и разослали его издательствам. Выходит, сбывается то, что я написала в кратком послесловии: что теперь это "уже не просто мои записи, они уже сами как будто стали рассказчиками. Уйдут они от меня…и поведают людям то, что я должна была им рассказать…" Немилость к Эренбургу не повлияла на французское издательство, и там книжка готовилась к изданию с его предисловием и большим послесловием живущего во Франции общественного деятеля доктора Г.Мейера. Ее выход был приурочен к годовщине восстания в Варшавском гетто. (К великому своему стыду я не знала, что день восстания в Варшавском гетто стал символическим Днем Памяти шести миллионов погибших евреев, и что во всем мире, кроме Советского Союза, его широко отмечают.) Одновременно с сообщением о скором выходе книжки директор издательства Мадлен Брон прислала приглашение приехать в Париж, чтобы "начать продажу книги в присутствии автора в торжественной обстановке". Это приглашение своей нереальностью меня рассмешило, — ведь в капиталистические страны, тем более в одиночку, ездит только начальство. (Между прочим, мне было очень любопытно, пишут ли им тоже в характеристике для выезда в зарубежную страну обязательные "морально устойчив", и "в семье отношения нормальные".) А рядовым гражданам, как известно, вообще положено сперва доказать свое примерное поведение за рубежом — и то в социалистической стране, и не в индивидуальной поездке, а с туристической группой, в которой обязательно есть наблюдатель. Так что мне рассчитывать на поездку в Париж было бы по меньшей мере глупо. Поэтому я и не рассчитывала. Но поскольку приглашение все же прибыло, я его вместе с заявлением отнесла в Ленинградский союз писателей и

сдала орг. секретарю Г.А.Сергееву. Книжка начала свой путь к французским читателям, конечно, без "присутствия автора". Вскоре одно за другим стали появляться и другие издания — в московском Госполитиздате, в Польше, Финляндии, Израиле, Австрии и других странах. Но не было у меня надежды, что она выйдет в Федеративной Республике Германии. По просьбе журнала "Квик" переводчик, князь В.Стар, перевел ее на немецкий язык. Когда он работал над переводом, мы переписывались. В одном из писем он признался, что ему, как "бывшему коллеге по концлагерям" мой дневник особенно близок. Но последнее, после довольно долгого перерыва, письмо было очень грустным. Он писал, что"…печальные обстоятельства ухудшения взаимоотношений с СССР с одной стороны, а с другой — явная фашизация масс в ФРГ уже сейчас усугубили положение, что, несмотря на мои личные связи, даже знакомые евреи-издатели не решаются здесь печатать Ваши воспоминания, а окончание (момент Вашего освобождения) приводит их просто в ужас: Вы понимаете почему?.." Я понимала: потому что освободившие нас*советскиесолдаты*вынесли меня на руках, — самой двигаться уже не было сил… Недолгое чувство удовлетворения от того, что книжка вышла в нескольких странах, померкло, — ведь главное, чтобы она вышла именно в Германии. Я понимала, что бывшие эсэсовцы ее читать не будут. Но пусть бы ее прочли те, кто тогда были равнодушны. Неправда, что немецкое население не знало, какими способами соотечественники расширяют жизненное пространство только для их расы. Могу понять их пассивность: Гитлер и свой народ держал в страхе. Но не знать они не могли, хотя многие и оправдываются неведением. Наверно поэтому в первые после освобождения Бухенвальда дни советские солдаты туда возили жителей Веймара*, чтобы они увидели еще свежие следы преступлений нацистов. (*Концентрационный лагерь находился в 8–9 километрах от города.) Через несколько месяцев после приглашения во Францию я получила еще одно — из Израиля, из Института "Яд ва-шем"*. (*"Яд ва-шем — всемирно известный научно-исследовательский институт по изучению Холокоста (Катастрофы) и увековечению памяти его жертв. При институте есть большой музей, библиотека, а на его территории — аллея Праведников мира, где посажены деревья с именами тех, кто в годы гитлеровского геноцида спасал евреев.) Меня удивила наивность работников института: неужели они всерьез полагают, что меня выпустят в Израиль? Но не реагировать на приглашение невежливо, поэтому я и его отнесла в Союз писателей, приложив заявление, что хотела бы туда поехать прямо из Франции, и тем же путем вернуться назад. Но я настолько не верила в эти

поездки, что и не думала о них. Тем более, что меня волновало куда более важное: надо писать что-то другое, а я не могу. Редактура литовского издания, перевод на русский, подготовка текста на еврейском, почти непрерывные корректуры на всех трех языках меня совсем опустошили. И все равно я заставляла себя думать, искать тему. Искала ее и в современной жизни. И все, что приходило в голову, сразу отвергала, — оно оказывалось каким-то рассудочным, вторичным, словно чужим. Своим оставалось только прошлое. Однажды, во время очередного пребывания в прошлом, я поняла, что не все о нем рассказала. То есть рассказала только о том, что было с*нами*. Но ведь немцы хозяйничали и за пределами гетто. Правда, литовцев и поляков они расстреливали лишь "за провинности". Но относились к ним тоже с чувством превосходства завоевателей над покоренными, единственное предназначение которых — служить им. Об этом также необходимо рассказать, особенно послевоенному поколению. Постепенно замысел конкретизировался… Я решила на примере судьбы двух своих тогдашних ровесников, парня и девушки, показать, что гитлеровцы уготовили тем, кого оставляли в живых. В голове стал складываться сюжет. Вырисовывалось начало. Но когда я принялась это излагать на бумаге, все получалось плохо. Мои Ирена и Альгис были какие-то искусственные… Но однажды — я и сама не поняла, как это случилось — я стала писать по-литовски. И сразу исчезла неестественность моих героев. Они стали живыми! Я их видела, слышала! Всю первую главу я написала по-литовски. А написав, перевела ее на русский. И уже продолжала по-русски. Хотя это было непросто. Очень непросто…

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ

Работу прервал неожиданный звонок из Москвы, из иностранной комиссии Союза писателей СССР. Сотрудница этой комиссии сообщила, что разрешение на поездку в Париж есть. Мне высылают анкету для получения въездной визы во Францию. Эту анкету я должна срочно заполнить и выслать обратно. Как только виза будет получена, мне позвонят. Вылететь предстоит дней через десять, примерно 11-го — 12-го декабря, и, видно, по инерции, добавила, что шестьдесят шестого года. От неожиданности и невероятности происходящего я очень растерялась, но все же сказала: — Насколько я помню, было приглашение и в Израиль. — А насколько я понимаю, — ответила она мне в тон, — разрешение получено лишь на Париж. Только в Париже я узнала, чем обязана случившемуся. Незадолго до того проходил съезд Международного ПЕН-клуба, на который в качестве гостя был приглашен Первый секретарь Союза писателей СССР А.Сурков. Директор издательства "Эдитеур франсе реюни" мадам Мадлен Брон и несколько французских писателей стали его расспрашивать, почему я не приехала. У них было намечено торжественное представление книги в присутствии автора, предполагались встречи с читателями. Тираж распродан, книга получила хорошую прессу, и если бы я хотя бы теперь приехала, они бы напечатали дополнительный тираж, осветили бы мой приезд в печати, организовали бы большой антифашистский вечер. Суркову, видно, некуда было деться, и он пообещал: — Ладно, ладно, приедет ваша Маша. После этого телефонного звонка я всерьез заволновалась. Все еще казалось невероятным, что на самом деле поеду в Париж. Да и было неуютно от того, что еду одна. Пугало, что буду там словно немая, — французский я учила только в той, довоенной школе, и помню лишь отдельные слова. Да и мое зимнее пальто не для Парижа. Проблема пальто затмила все остальное. Я стала ездить по магазинам в поисках какой-нибудь недорогой шубки. Но во всех висели ряды одинаковых так называемых шубок из искусственного полосатого меха, походившего на поблекший уже плюш от старого дивана. Я пыталась мерить пальто, тоже почти одинаковые, фабрики "Большевичка", но походила в них на афишную тумбу, из которой торчит утопающая в большом меховом воротнике моя голова. Одна знакомая стала меня уверять, что в городе есть специальный магазин, в котором одевают выезжающих за границу спортсменов и артистов, я должна обратиться в Управление торговли Ленгорисполкома, предварительно заручившись ходатайством

Союза писателей. Я заручилась. Это ходатайство гласило, что "Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР убедительно просит оказать содействие писательнице М.Г.Рольникайте, выезжающей во Францию в творческую командировку в приобретении зимнего пальто". Почему-то недовольная этим письмом секретарша начальника Управления торговли, все же милостиво разрешила пройти в кабинет. Восседая за огромным письменным столом с приставленным еще одним, для совещаний, на котором красовались хрустальные пепельницы и цветные буклеты с рекламой магазина для иностранцев "Березка", весьма упитанный мужчина отчитывал кого-то по телефону. На мое "здравствуйте" не ответил даже кивком головы. Терпеливо дождавшись конца его гневного монолога, я протянула свою бумагу. Он едва удостоил ее взгляда. — Чего же вы хотите?? — Если можно, недорогую шубку. — И несмело уточнила: — Из каракулевых лапок. — Их для внутреннего рынка не производим. — Он нажал на кнопку. В дверях появилась секретарша. — Позвоните Петру Ивановичу, что к нему обратится гражданка. Пусть ей подберет что-нибудь, — он оценивающе глянул на мои объемы — пятьдесят второго размера. Я поехала в указанный Начальником Управления торговли универмаг. К Петру Ивановичу меня не хотели пустить, — к нему надо пройти через отдел готовой мужской одежды. Только после того, как я сказала, что ему по поводу меня звонили из Горторготдела, продавщица проконвоировала меня сквозь ряды мужских пальто до узкой лестницы, ведущей явно на мансарду. В тесной комнатушке, видно, его кабинете, вдоль стены уже сидели, дожидаясь его хозяина, какие-то работники универмага в темно-синих халатах. Его кресло за небольшим письменным столом пустовало. На мой привычный при виде очереди вопрос, кто последний, мне ответили, что тут ни первых, ни последних нет. Все по вызову. Наконец появился долгожданный Петр Иванович. Не раздеваясь, бросил свою ондатровую шапку на стол, раскинулся в кресле. Видно, оттого, что я тут была единственная посторонняя, начал с меня: — По какому делу? Я ответила, что ему по поводу меня звонили из Горторготдела. — Они насчет многих звонят. Я протянула письмо. Он ухмыльнулся: — И что такое особенное вам нужно? — Может, импортную… — За границу надо ехать в отечественном, — прервал он меня, — фабрики "Большевичка". От усталости и унижения я вдруг разразилась тихой демагогией: — В том, чтобы советский человек за границей выглядел прилично, должен быть заинтересован не только уезжающий, но и остающиеся. Не помогло. Вызванная им продавщица тоже предложила эти полосатые "диванные" шубы…

В Париж я полетела в своем "заслуженном" пальто, по возможности скрыв его возрастные потертости: на рукава портной надсадил меховые манжеты, а края просто подогнул. В Париже меня встречали жившие там папин двоюродный брат, врач и общественный деятель Гершель Мейер, его жена, известная еврейская поэтесса Дора Тейтельбаум и редактор газеты "Найе прессе" ("Новая пресса") Пейсах Кениг. Жить, оказывается, мне предстояло у вновь обретенных родственников, — гостиницы в Париже очень дороги. Поскольку по дороге в город мы должны были проехать мимо дома, в котором живет Кениг, он пригласил сперва заехать к нему. Оказалось, что живут они с женой в этой квартире недавно, что купили ее на полученную из Германии компенсацию. Я слышала, что во всех странах мира бывшие узники получали нечто вроде искупительного возмещения, что начислялось оно за каждого убитого члена семьи, за перенесенные страдания, подорванное здоровье, потерянное имущество, прерванную учебу и так далее. Говорили, будто Сталин для нас от этой компенсации отказался, заявив, что советские евреи в ней не нуждаются. Но я об этом не жалела, — я не смогла бы взять денежное возмещение за маму, Раечку, Рувика. И теперь подумала о том же. Кениг, видно, угадал мою мысль. Стал объяснять, что долго этого возмещения не брал. И семья все послевоенные годы ютилась в маленькой полутемной квартирке. Но в конце концов друзья его уговорили не артачиться, — ведь немцы только возвращают наше, награбленное, и то лишь маленькую толику. Наконец он решился. Я понимала, что это справедливо. И все же мысль, что квартира приобретена на полученный от немцев откуп, мешала радоваться за Кенига и его жену, восхищаться этими двумя уютными комнатами, новой мебелью. К тому же я очень нервничала. В Москве меня предупредили, что по прилете в Париж я первым делом обязана явиться в советское консульство и отметиться там. Пыталась заговорить об этом с Гершелем, но он только махнул рукой: сегодня суббота, все работают до трех, сейчас начало второго. Уже не успеть. Зарегистрируюсь в понедельник… Остаток субботы и все воскресенье мне было не по себе от того, что я не выполнила предписания. В понедельник, едва дождавшись утра я спросила Гершеля, не будет ли у них неприятностей, если я с их домашнего телефона позвоню в советское консульство и спрошу, когда можно приехать. Он улыбнулся: — Машеле, ты же не в Советском Союзе. После завтрака Гершель меня повез в консульство. Зарегистрироваться мне следовало самой, то есть собственноручно вписать в специальный журнал свои паспортные данные. Подавая его,

сотрудник консульства удивился, что я приехала не в составе делегации, а одна, и к тому же живу у родственников. Предупредил, что ночью может быть проверка документов. Я обязана только предъявить паспорт, но ни на какие вопросы, тем более, что могут быть провокационные, не отвечать и твердо заявить, чтобы они по всем вопросам обращались к ним. Кроме того, поскольку я работник идеологического фронта, мне следует поехать в посольство и проконсультироваться у атташе по культуре. К счастью, атташе говорил совсем другим тоном. Не скрыл, что о моем приезде во Францию знал заранее, и выразил надежду, что все пройдет успешно. Предупредил, что меня, наверно, будут просить о встречах и интервью, и я от них — кто бы ни просил — не должна отказываться. — А то, — слегка улыбнулся он, — скажут, что это мы вам запретили. Но все же попросил перед отлетом обратно в Москву еще раз заехать к нему "для подведения итогов". Встреча в издательстве была намечена на вторую половину дня, и мы с Гершелем поехали на улицу Гамбетта, 43, где до войны жил папин младший брат, дядя Михель. Я знала, что на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. Теперь я стояла перед нею. Моих скудных знаний французского языка хватило, чтобы прочесть, что "Здесь жил Рольникас. Казнен нацистами 22 октября 1941 года в Компьене. Умер за Францию". Я смотрела на этот белый мраморный квадрат. В который раз причитывала: "Ici habitait…" Здесь жил… Дядя здесь *жил*. Молодой, красивый, жизнерадостный шагал по этому тротуару, входил в эту дверь. Через нее же вооруженные немецкие солдаты его вывели… Дядя Михель тоже был в лагере. Но, как рассказал французский писатель Луи Арагон, и там оставался адвокатом — заступался за других заключенных. Консьержка принесла лесенку, чтобы я могла положить на доску цветы. Я это сделала, и незаметно погладила ее. "Здесь жил…" Не знаю, сколько бы я еще простояла на этой лесенке, но Гершель напомнил, что пора ехать на кладбище Пер ля-шез, где дядя похоронен. Вернее, куда после войны перевезли останки двенадцати расстрелянных заложников и похоронили в общей могиле. Я стояла возле нее. Одна из когда-то большой семьи, и только через много лет приехала постоять у его могилы… Может, хорошо, что на обложке книги стоит не совсем моя, а его и папина фамилия, то есть мужской вариант нашей фамилии — Рольникас. Наверно, издательство подчеркнуло этим наше родство. Я очень не хотела уходить отсюда, но пришлось, — нас ждали в издательстве. Атташе по культуре оказался прав, — встречи и интервью были каждый день. С самим Парижем приходилось знакомиться урывками. В

Лувре провела всего пять часов. Еще меньше "выкроила" для осмотра Музея импрессионистов и выставки живописи Пикассо. Но ограниченность во времени искупалась теплом и сердечностью встреч, новых знакомств. Самые обыкновенные интервью превращались в важные для нас беседы. Правда, кроме одного случая. Дама, явно из русских эмигрантов, но судя по возрасту либо родившаяся уже во Франции, либо увезенная из России в младенчестве, начала с колкостей в адрес Советского Союза. Я молчала: опровергать очевидную ее правоту не могла, а соглашаться было чересчур опасно. Но она, наконец, кончила свой гневный монолог и вспомнила о цели нашей встречи и, забыв, откуда я приехала, с сочувствием воспринимала все, о чем я рассказывала. Опубликовала она статью о нашей беседе в "Вечернем Париже", и эта статья отличалась от помещенных в других изданиях. Возможно, в таком стиле повинно своеобразие самой газеты. Но, честно говоря, мне было немного не по себе увидеть на первой странице свою фотографию, а над нею крупным шрифтом набранное: "Сегодня ночью я спала, уткнувшись в труп". Она использовала для заголовка эпизод из книги, вернее, из моего лагерного бытия. В бараке мы спали прижатые друг к другу. И однажды я на самом деле проснулась, даже сквозь грубое лагерное платье почувствовала холод тела умершей ночью соседки… Кончалась статья тоже несколько необычно. Сообщив, что сейчас я в Париже, она добавила, что если читатель увидит женщину, не очень изящную, с огромными глазами и улыбкой, открывающей зубы, слишком белые, чтобы быть настоящими, пусть оглянется, — может быть, это и есть она, Маша. О том, что передние зубы мне выбил лагерный унтершарфюрер, она не упомянула… Когда я, за день до отлета заехала в Посольство к атташе по культуре попрощаться, у него на столе из доброго десятка газет, писавших обо мне, лежала только эта. Оказывается, то, что обо мне писали многие другие, его не удивило. А вот публикация в "Вечернем Париже", считал он, очень важно. Она выходит трехмиллионным тиражом, ее читают от кухарки до министра, о советских людях в ней либо совсем не пишут, либо пишут негативно. А обо мне написано весьма благожелательно. Так что моим визитом Посольство довольно. Но когда я попыталась сказать, что почти совсем не видела Парижа, даже не успела съездить в Версаль, и хотела бы продлить свое пребывание хотя бы на три-четыре дня, он сразу стал неприступно официален. — Ничего, приедете в другой раз. А дворцы вокруг Ленинграда ничуть не хуже Версаля, даже лучше. Самой трогательной была встреча — в последний вечер перед отъездом — с еврейской общественностью Парижа. Пришли

бывшие узники гетто и концлагерей, участники Сопротивления и их дети. Зал был переполнен. Перед началом и в перерыве ко мне подходили люди, знавшие дядю, окружали бывшие виленчане, в основном задававшие один и тот же вопрос: не знаю ли я о судьбе такого-то. Я понимала — они хотят узнать хоть что-нибудь о своих родственниках. Но что я могла сказать? Только объясняла, что в гетто в начале было пятьдесят тысяч человек, а я, кроме соседей и тех, с кем вместе работала, никого не знала… А во время самой встречи мне от обилия теплых слов и похвал было мучительно неловко: все, что они говорили обо мне, относилось к ним самим, особенно к тем, кто тогда был в Сопротивлении. Я же только записывала. И хотя очень волновалась перед своим выступлением, когда эти приветствия, наконец, кончились, стало легче. Я прекрасно понимала, что в зале сидит некий "полномочный представитель" посольства, но не стала говорить по-русски, прибегая к переводчику. Я говорила по-еврейски. И закончила тем, что этот преподнесенный мне прекрасный букет роз положу к памятнику на Пискаревском кладбище в Ленинграде. И рассказала, кто там похоронен. Свое намерение я выполнила. Тепло укутанный букет благополучно долетел. И ночью в поезде на Ленинград я его оберегала. А утром, едва заехав домой и оставив вещи, поспешила на Пискаревское кладбище. Было пустынно и тихо. Я шла мимо рядов могил с траурными цифрами — 1942, 1942, 1942, 1943, 1943… и лишь у самого памятника развязала букет. Мои розочки затрепетали, словно крохотные кастаньеты, и удивителен был на морозном ветру их аромат. О своем пребывании в Париже я написала в "Звезду". Назвала "Трудный праздник". Описала свои встречи в издательстве и разных редакциях, рассказала о посещении дома, в котором жил дядя, и его могилы, о знакомстве со множеством людей, о празднике газеты "Юманите", вечере встречи с еврейской общественностью Парижа, о прощании с Парижем, и о французских розах на Пискаревском кладбище. Но не упомянула о грозном предупреждении работника Консульства про возможные ночные проверки документов, и провокационных вопросах, и о том, что когда фотокорреспондент меня снимал на улицах Парижа и поставил возле кинотеатра, в витрине которого была ярко освещена реклама фильма "Доктор Живаго", я немного отодвинулась, чтобы не быть снятой на фоне этого крамольного фильма. Не написала и о том, что была на спектакле еврейского, пусть самодеятельного, но все же театра, и в небольшом еврейском музее, в подвале которого вокруг шестиконечной звезды горит вечный огонь, а экспозиция рассказывает о героическом сопротивлении узников гетто и концлагерей. Да и

слово "еврей", учитывая свой горький опыт на Центральном телевидении в Москве, упомянула всего один раз. Хоть было горько, очень горько считать, сколько раз могу упомянуть свою национальность…

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ОЧЕРК

Путевой очерк о второй, в июне 1967-го года, поездке за рубеж, на этот раз в Германскую Демократическую Республику, "Звезда" не опубликовала. Главный редактор журнала Г.К.Холопов счел, что "сквозит не то отношение к немцам". Видно, он сделал такой вывод из моего признания: на вопрос, какие травмы остались от пребывания в фашистских концлагерях, я одной из последних называю самую незначительную: вздрагиваю, услышав немецкую речь. И, наверно, еще из-за того, что описала пережитый сразу по приезде ночной ужас. В ГДР меня пригласило выпустившее книжку Издательство "Унион Ферлаг". Оно слало одну телеграмму за другой с просьбой прибыть непременно к 16-му июня, а я все не могла решиться, ехать ли мне: ведь к *немцам*…Убеждала себя, что считать немцев только такими, какими я их видела в те годы, нельзя, что нельзя ставить знак равенства между немцами и гитлеровцами. Уже прошло больше двадцати лет, выросло другое поколение. Ехать необходимо. И все же эта поездка меня страшила. В конце концов я решилась. Суета, связанная с поспешным оформлением документов, вытеснила эмоции. Лишь в самолете я с пугающей ясностью поняла, что лечу в *Германию!* По трапу в Берлинском аэропорту я спускалась с бьющимся сердцем. Вошла в зал ожидания. Ко мне подошел и представился директор издательства доктор Фензен. Он познакомил меня со своей веснушчатой дочерью, которая, сделав книксен, вручила цветы, с профессором Берлинского Университета имени Гумбольта Фалькенханом, представительницей Эрфуртской газеты "Дас Фольк" ("Народ") Христой Хофер. Доктор Фензен предложил передохнуть в аэропортовском кафе, обговорить план моего пребывания в ГДР. Он сказал, что прямо из аэропорта я еду в Эрфурт, на праздник газеты "Дас Фольк", а уже оттуда вернусь в Берлин. Профессор Фалькенхан заговорил со мною по-литовски. Он славист и балтист и попросил выступить в Университете на конференции балтистов. Я немного успокоилась. Неуютно становилось только когда подходил официант. Он всякий раз приближался сзади, и как-то беззвучно, словно крадучись. В Эрфурт мы ехали на отечественной "Победе". По дороге Христа рассказала, что их газета еще до выхода книжки начала публиковать ее из номера в номер, так что у меня на этом празднике будет встреча с моими многочисленными немецкими читателями. Приехали мы заполночь. Если учесть, что в Москве я встала в пять утра, чтобы успеть к девяти в центр, где предстояло получить билет и

поменять деньги, а разница между московским и берлинским временем два часа — я бодрствовала, да еще в таком напряжении — почти сутки. Поэтому, оказавшись в гостинице, быстро сунула цветы, с которыми меня встречали, в вазу, достала из чемодана платье, чтобы оно отвиселось и рухнула в постель. Меня вырвали из сна какие-то команды. Акция?! И шторы затемнения неплотно задвинуты! Я вскочила, подбежала к окну. Прильнула к щели в шторах. Под окнами пустая незнакомая площадь. Горят фонари. А за ними — вокзал, железнодорожные пути. Возле дальнего товарного состава несколько мужчин что-то выгружают. Перекликаются. Это их голоса я во сне приняла за солдатские команды. Только теперь я почувствовала, как бешено колотится сердце. Все же плотно задвинув шторы, я зажгла свет. Попыталась возвратить себя в теперешнее время. Оглядывала стены, гостиничную мебель. Твердила себе, что я в гостинице*, сейчас*, что днем прилетела из Москвы. Вот цветы, с которыми меня встречали в берлинском аэропорту. На стуле висит мое выходное платье. Сердце еще долго трепыхалось. И уснула я лишь, когда сквозь шторы — не затемнения, а обыкновенные, даже прозрачные — стал пробиваться рассвет. Видно, в описании этой ночи Г.Холопов и увидел "не то отношение к немцам". Он не понял, что это не отношение к немцам, а все еще живущее во мне прошлое. На следующий день был праздник газеты "Дас Фольк". В очерке я довольно подробно описала этот праздник. Теплая встреча читателей чуточку отодвинула пережитый ночной ужас. Организаторы праздника, зная из книжки, что в гетто, обреченные на гибель, мы готовили к исполнению Девятую симфонию Бетховена, в финале которой звучит ода Шиллера "К радости": "Обнимитесь, миллионы!", "Все люди — братья!", включили на всю мощь запись финала этой симфонии, когда я стояла на сцене. У меня музыка вызвала дрожь. Я стояла одна, но ощущала присутствие рядом со мною тех, с кем вместе тогда произносила эти слова. На прощание дети мне преподнесли неохватное множество цветов. На другое утро я поехала в Бухенвальд. Мои гостеприимные хозяева в Эрфурте, а потом и в Берлине, оберегая меня, в план мероприятий посещение бывших концлагерей не включили. Но я не могла не поехать. …На пустынном "аппель-плаце"*мне виделись тени узников в полосатой одежде и деревянных башмаках, построенных для очередного "аппеля". (*"Аппель-плац" — площадь, где дважды в день — утром и вечером — проводились изнурительные проверки.) Я почувствовала себя одной из них… И внутри крематория, возле теперь зияющих пустотой печей виделось пламя, охватившее изможденное мертвое тело… Я долго стояла,

не в силах покинуть это место… Посетила я в Эрфурте дом-музей Гете, Шиллера, Листа. Стояла возле конторки, за которой Гете работал, сидя на высоком, им самим сконструированном стуле-седле, смотрела на листки, на которых так обычно написаны строки "Фауста", на кровать, на которой остановилось сердце великого писателя. Я думала о великой немецкой культуре, и о ее несовместимости с тем, что впоследствии произошло в этой стране. Пригласил меня к себе Эрфуртский писатель Курт Штейнигер. Поблагодарив за то, что я приняла приглашение, начал с вопроса, как я себя у них чувствую. И, видно, опережая обычное: "Спасибо, хорошо", уточнил: — Мне сейчас тридцать девять лет, следовательно, в годы войны я не мог вам сделать ничего плохого. Но если было бы за пятьдесят? Вы могли подумать, что я, возможно, один из убийц вашей мамы. Так что же вы испытываете, видя пятидесяти- или семидесятилетних мужчин? — И опять поспешил опередить мой ответ: — Прошу вас не уходить от прямого ответа. Вполне искренне ответить на этот вопрос мне было трудно. Я рассказала об испуге в первую после приезда ночь, но говорила и о том, что, надеюсь, бывших эсэсовцев здесь нет: либо отбывают наказание, либо живут в других государствах, где эсэсовское прошлое не считается преступным. Рассказала, что в Австрии оправдан палач вильнюсского гетто Франц Мурер, что другой палач, литовец Антанас Импулявичюс живет в Филадельфии, что бывший заведующий финансовым отделом Рейхскомиссариата Карл Фридрих Виалон, в ведении которого были концлагеря в Прибалтике и Белоруссии, ныне Государственный секретарь Министерства экономического развития ФРГ. А бывший начальник крематория Маутхаузена настолько уверен в своей безнаказанности, что даже приезжал туда в качестве туриста. Курт Штейнигер скорбно молчал… Было в очерке и о возвращении в Берлин, о выступлениях в Университете имени Гумбольта, о встречах с молодыми читателями в школах Берлина и Потсдама, о моей поездке в бывший концлагерь Заксенхаузен. Бывший узник этого лагеря после освобождения остался там — теперь музее — чтобы лично свидетельствовать о проводившихся тут пытках. Он не просто рассказывал. Он показывал. Вот так закрепляли ноги в колодках… — и он залезал в колодки. А туда привязывали руки… — и он тянулся показать, насколько это приспособление выше человеческого роста: так немцы "растягивали" людей. Сюда, к этим бревнам в бункере ставили узников и расстреливали отравленными пулями… — и он вставал на это место. Так изо дня в день он становился на места расстрелянных, повешенных, сожженных. И рассказывал за них,

мертвых. Возвращалась я из Заксенхаузена не только под тяжелым впечатлением от увиденного — полуразрушенного крематория, орудий пыток, настольной лампы из высушенной человеческой головы, но и с чувством вины перед этим бывшим узником-гидом. По сравнению с ним я делаю так мало! И даже фамилии его не знаю, — когда нас знакомили, он назвал свой лагерный номер, и я в ответ назвала свой… В Берлине меня принял один из руководителей Союза писателей ГДР Штефан Хермлин. Он, участник войны в Испании и Сопротивления во Франции, не только разделял мою тревогу о том, что многие бывшие нацисты не наказаны и вновь объединяются, он рассказал, что в некоторых странах Латинской Америки есть целые колонии, где стоит показать свастику, как взлетит в гитлеровском приветствии лес рук. Рассказ об этих встречах и выступлениях очерк не спас. Заведующий отделом публицистики "Звезды" М.Левин-Ивин посоветовал пойти к Г.Холопову и предложить снять "нежелательные" эпизоды. Но я не пошла: не хотела больше уступать. Очерк, названный "Встречи с прошлым и настоящим" так и остался не напечатанным. Я и сегодня не понимаю — почему?..

"ТРИ ВСТРЕЧИ"

Повесть "Три встречи" в "Звезде" прошла редактуру без особых осложнений, если не считать нескольких весьма существенных требований заместителя главного редактора П.В.Жура. До назначения в редакцию Жур служил в КГБ в чине подполковника и в новой должности бдительно стоял на страже идейности публикуемых произведений. Ко мне он, как ни странно, относился хорошо. В свое время, прочитав рукопись "Я должна рассказать", даже позвонил домой, произнес много добрых слов и заверил, что он, безусловно, за ее публикацию. И позднее, когда я приходила в редакцию, звал Марусей, этим подчеркивая доброе ко мне отношение и гордился, что книжка выходит за рубежом. На рукопись "Трех встреч" он тоже поставил "за", но "с учетом пометок на полях плюс еще одного замечания: в повести нет *ни одного русского героя*. Почему бы не дать…образ несгибаемого русского… Но это надо дать в рембрантовско-довженковском ключе". Замечания на полях, которые мне следовало учесть, были подобного рода. Например, против фразы: "Сначала, летом, когда немцы заняли город…" Жур написал: "Об этом так — походя? А ведь это началась война с СССР! Надо другой переход. Иной ритм!" Более красноречивой оказалась другая пометка. Моя героиня Ирена, попав в экстремальную ситуацию и боясь, что может угодить в руки немцам, уговаривает себя, что этот страх надо подавить, — не такие уже они всемогущие. Насилие — орудие слабых… Последние три слова Жур вычеркнул, а рядом написал: "Не всегда и не всякое". Оспаривать это его мнение я не стала. Несколько менее существенных замечаний тоже пришлось учесть. Но требование в законченную рукопись включить еще одного героя, к тому же в некоем "рембрантовско-довженковском ключе" меня привело в отчаяние. И я решила пойти к Журу и объяснить, что сделать это невозможно. Он прервал меня на первых же словах: — Русский народ вынес на своих плечах главные тяготы войны, и хотя бы один его представитель в повести должен быть. Все же я пыталась объяснить, что повесть уже завершена, и вставить дополнительное действующее лицо невозможно, да и само действие происходит в Литве в первые месяцы оккупации, когда сопротивление еще только зарождалось. Он махнул рукой. — Партия оставляла людей для борьбы в тылу. Я, помня поспешное отступление советских солдат, возразила: — В Литве не успели, немцы ее оккупировали слишком внезапно. — Бросьте наводить тень на Красную Армию! Там, где не успели оставить коммунистов, вскоре все-таки было организовано

подполье. От этого "Бросьте!" я почувствовала себя на допросе у следователя КГБ, хотя сидела в кабинете редакции. Но все же заставила себя объяснить: — Это было потом. На парашютах сбрасывали, в основном литовцев или евреев, знающих литовский язык, иначе их бы сразу задержали. Русские партизаны в отрядах тоже были, но только те, кому удалось избежать плена, и кого в начале укрывало местное население. Жур багровел, и я взмолилась: — Петр Владимирович, у меня же в повести люди разных национальностей — и литовцы, и евреи, и поляки. Есть даже хорошая немка, спасшая Ирену от публичного дома. А ведь показать, что были и хорошие немцы, для меня самой очень важно… Жур захлопнул папку. — Без русского героя повесть не пойдет! — и вернул ее мне. Шла по Моховой, а в ушах стоял голос Жура: "Без русского героя повесть не пойдет!" Повесть не пойдет… Да, это так. Русский народ вынес главные тяготы войны. Но ведь война коснулась всех народов. У меня в повести есть даже цыганка. Она утешает соседок по тюремной камере. Так может… Я ухватилась за мелькнувшую мысль… Может, туда… в тюрьму… могла попасть и русская женщина. Я ускорила шаг. По Литейному мосту почти бежала, — мысли торопили. Ведь жен русских офицеров, которые не успели эвакуироваться, немцы сначала заточили в два больших дома на улице Субачяус, а потом их тоже увезли в Панеряй и расстреляли. Так было. Внезапно возник новый сюжет… Был же случай, когда один мужчина из гетто, которого только ранило, и засыпало лишь тонким слоем земли, ночью выбрался из ямы и выполз за ограду. Но никто из окрестных жителей его к себе не пустил, он вынужден был вернуться в гетто, и все рассказал. Так же могло произойти с любым человеком. Допустим… Допустим, жена русского офицера так же избежала смерти: легко раненая, выждав, когда уйдут солдаты, сумела выбраться из-под трупов и добралась до города. Но там ее все равно поймали и повели в тюрьму. Да, я могу ввести такой эпизод, и в этом не будет неправды. Я сама удивилась, что так складно и достоверно все придумала. Через неделю я отнесла в редакцию рукопись с новым эпизодом. Жур ее второй раз не читал, поверил заведующему отделом прозы Смоляну, что я его замечания учла (хотя ничего в "рембрантовско-довженковском ключе там не появилось) и "Звезда" повесть опубликовала. А в 1970-ом году она вышла в Издательстве "Советский писатель" и впоследствии была переведена на немецкий, венгерский и чешский языки.

В ПОДПОЛЬЕ…

На встречах с читателями я продолжала рассказывать о прошлом, и чем больше рассказывала, тем острее чувствовала, сколько еще остается нерассказанным, ненаписанным. И это не давало покоя. Принять окончательное решение мне помогла пожилая читательница во время одной из встреч в небольшой библиотеке. Она сочувственно спросила, как же я после всего этого живу? В подробности о себе я вдаваться не стала, но этот вопрос помог решиться написать о том, как нелегко было после постоянного ощущения близости смерти вернуться к нормальной жизни. Не мне, и даже не бывшей узнице, а тогдашней моей ровеснице, все три года гитлеровской оккупации Литвы скрывавшейся в деревенских подвалах и на чердаках. Работу над этой повестью, впоследствии названную "Привыкни к свету", прервала очередная политическая кампания. 24-го февраля 1971-го года в "Известиях" появилось сообщение о том, что "сионистское воронье слетелось в Брюссель, чтобы провести здесь свое провокационное сборище, так называемую "конференцию в защиту советских евреев". О том, что такая конференция должна состояться, я, хоть и сквозь глушители, расслышала по "вражьим голосам". Но почему-то не подумала о контрмерах, которые предпримет советская пропаганда. А она предприняла. В Брюссель для проведения в те же дни неких вечеров бельгийско-советской дружбы была направлена делегация советских евреев во главе с писателем А.Чаковским (кстати, это, кажется, был единственный случай, когда раскрыли его национальность), и были "организованы" письма евреев в ряд зарубежных газет. Об этом я, естественно, ничего не знала. В один из дней, прочитав очередную хулу про "сионистское воронье", я села за работу. Вместе со своей героиней Норой снова оказалась в оккупированной Литве. В настоящее меня вернул приход А.Смоляна. Он заговорил вполголоса и в какой-то спешке: он только что из партбюро, платил членские взносы. При нем позвонили из райкома партии, продиктовали адреса зарубежных еврейских газет и велели эти адреса раздать писателям еврейской национальности, которые должны туда написать, что они являются равноправными гражданами, в защите не нуждаются и брюссельскую конференцию осуждают. Поскольку я вряд ли захочу выполнить требуемое, а за отказ могут быть большие неприятности, он мне советует немедленно уйти из дому, и не возвращаться до окончания конференции. Если хочу, могу это время пожить у них. Опять… Нас опять хотят использовать для

своей гнусной пропаганды. Только что я прочла очередную статью о "сионистском воронье", и не только должна молчать о том, что у нас происходит, но еще и утверждать, что мы — равноправные граждане… Я была тронута участием Смоляна. Искренне поблагодарив, сказала, что не хочу стеснять его семью и поживу у кого-нибудь из родственников мужа. Из дому я действительно ушла сразу, взяв с собою лишь уместившиеся в сумочке мыльницу и зубную щетку. По дороге к телефону-автомату придумала нейтральный для родственников повод: у сестры в Клайпеде конфликт с сыновьями (она их растила одна. К великому горю рано овдовела — ее муж, Владас, утонул, когда старшему шел двенадцатый год, а младшему было полтора), и она просит меня срочно прилететь. Самолет туда летит рано утром, а подкидыш в аэропорт останавливается возле их дома. Не смогу ли я у них переночевать? То же самое я сказала Семену, мужу, позвонив ему на работу. Сослалась на то, что тороплюсь за билетом и прошу его вечером привезти к тете с дядей халат, тапки, смену белья, и, на всякий случай, рукопись. Только вечером, когда он все это привез, и вся дядина семья — он, тетя Таня и их сын Феликс — была в сборе, я рассказала правду. Все почему-то молчали. И я поспешила их успокоить, что если они этого не одобряют, или опасаются, что у них из-за меня могут быть неприятности, я уйду. Есть куда. — Не у нас, у тебя могут быть неприятности, — наконец заговорил дядя Лазарь. Феликс меня поддержал: — Каждый человек поступает так, как считает нужным. А нас ты не стесняешь. Семен молчал. Он, кажется, был согласен с обоими: опасался неприятностей и понимал, что требуемого письма писать не стану. Ночью я не спала. Жалела, что на самом деле не купила билет на Клайпеду. Утром улетела бы к Мире. Жила бы у нее, мы же так редко видимся, и племянников давно не видела. Была бы далеко от всего здешнего. И не было бы этой неправды, что я в Клайпеде, когда на самом деле прячусь здесь, в городе. Я действительно пряталась. Не приближалась к окну, хотя квартира была на третьем этаже, и никто во дворе меня не знает. Не подходила к телефону. И лишь на четвертый день, не выдержав этого заточения (хотя шутила, что мое подполье вполне комфортабельное — с горячей водой и телевизором), когда наступила февральская темень, решилась выйти во двор подышать воздухом. Кружила по нему, не осмеливаясь выглянуть на улицу, — вдруг по ней случайно пройдет знакомый писатель: может, живет поблизости, или направился к кому-нибудь в гости. Дни тянулись очень медленно. Я помогала тете Тане готовить обед, что-то ей чинила, вязала. Работать не могла, — то, чем жила еще несколько дней тому

назад, отдалилось. Все вытеснила эта брюссельская конференция. Да и не давала покоя мысль: если откроется тайна моего бегства, обком партии "посоветует" "Звезде" и издательству "Советский писатель" меня не печатать. А значит, и эта рукопись, как уже было с геттовскими и лагерными записями, будет покоиться на дне ящика письменного стола неизвестно сколько времени… Я старалась успокаивать себя: как только вернусь домой, сразу примусь за работу. Никакого запрета на публикацию не будет. Днем эти самоуспокоения помогали. Зато ночью… Ночью главенствовала тревога, тем более, что поводы были: к тете Тане заходила ее говорливая соседка, и, увидев меня, очень удивилась. Наверно, оттого, что я не выглядела гостьей, а на кухне чистила картошку. В другой день я была одна дома, зазвонил телефон, и я, забывшись, взяла трубку. Спрашивали какого-то Ивана Ивановича. Может, это была проверка? Да и в нашей коммуналке на Маяковского соседи, когда мне звонили из Союза писателей, могли ответить, что после прихода какого-то человека, я неожиданно ушла из дому. А что… — от пронзившей меня мысли я чуть не застонала — что, если, не застав меня дома, в партийном бюро сами сочинили от моего имени нужное письмо и разослали его во все страны, где вышла книжка… Эта мысль терзала до самого утра. И весь день не оставляла. Вечером, сквозь помехи слушая "Голос Америки", в страхе ждала, что услышу свою фамилию. К счастью, не услышала. Ни в тот вечер, ни в другие. Видно, партийное бюро на такую подделку не решилось. Может, потому, что хватило послушных писателей и без меня. (Как я потом узнала, трое написали, а трое — в свое время раскритикованный и непечатаемый А.Хазин, публицист М.Левин-Ивин и И.Эвентов писать отказались). Домой я вернулась после закрытия конференции. Но страх, что меня еще могут "призвать" не проходил, — кампания протеста продолжалась. По телевидению показали пресс-конференцию ученых, артистов, писателей еврейской национальности. АПН организовало в Москве специальное собрание раввинов, которые также обязаны были отказываться от защиты. В получаемых из Литвы газетах я то и дело читала уверения какого-нибудь еврея о своем равноправии в дружной семье советских народов, что дало повод нашему Йонайтису при случае сказать главному редактору газеты "Тиеса" ("Правда"): "До сих пор я полагал, что в Советском Союзе хорошо живут все — и русские, и литовцы, и грузины, и армяне. А читая вашу газету, узнаю, что, оказывается, ошибался, — у нас хорошо одним только евреям".

"ПРИВЫКНИ К СВЕТУ"

Статьи в газетах, клеймящие израильских агрессоров — они же сионисты и слуги американских империалистов — опять стали будничными, и я снова взялась за повесть. Вместе с моей героиней Норой пряталась в подвалах, на чердаках и сеновалах приютивших меня крестьян, в постоянном страхе, что могут обнаружить. А когда приходилось срочно покинуть очередной тайник, и никто не впускал даже на одну ночь, таилась в лесных ямах, одинаково страшась, чтобы сюда не забрел ни человек, ни зверь. Об этой повести — нелегком возвращении после трех лет такого существования к нормальной жизни — я и рассказала на одной из встреч с читателями, отвечая на вопрос молодого, интеллигентного вида человека, над чем теперь работаю. Второй его вопрос был совершенно неожиданным: не собираюсь ли я расстаться с этой темой? Я ответила, что для меня это не просто тема, и поделилась своей тревогой по поводу того, что на западе многие эсэсовцы избежали наказания, а главное, что и у нас, к сожалению, стали появляться сторонники нацизма. Необходимо им противостоять. При последних словах он чуть снисходительно улыбнулся. Но после встречи предложил проводить меня до троллейбуса. Шли молча. Наконец он заговорил: — Не хочу вас обидеть, но не кажется ли вам, что вы занимаетесь донкихотством? От неожиданности я не сразу нашлась. — Люди должны знать правду. Он горько усмехнулся: — Только антисемитов от этих знаний почему-то не становится меньше. — Но мы ведь живем не среди одних лишь антисемитов. Да и Дон Кихот сражался с ветряными мельницами, а то, о чем пишу я, отнюдь не плод моей фантазии. — Я не в этом смысле. Мне просто жаль вас и ваших тщетных усилий. Я заговорила подчеркнуто спокойно: — В гетто и лагерях мы очень хотели, чтобы после войны мир узнал, с какой жестокостью уничтожали наш народ. Те, с кем я была, погибли. А я осталась… И не считаю, что мои усилия тщетны. — Не стану вас разочаровывать, тем более, что уже ваш троллейбус подходит. Дверцы распахнулись, и он, подсаживая меня, все же пожелал сил. А именно они, едва я примостилась на свободном месте, сразу иссякли. И это была не обычная усталость после встречи с читателями и возвращения в прошлое, а какое-то полное изнеможение и досада на себя. Я должна была более энергично возражать. Не стесняться сказать, что в библиотеках мои книжки уже зачитаны до ветхости, Значит, они востребованы, нужны. И на таких, как сегодняшняя, встречах слушают внимательно, с сочувствием. Но он бы, наверно, все

равно усмехнулся: антисемиты ваших книжек не читают и на встречи с вами не ходят. Знаю. И не надеюсь их перевоспитать. Но нельзя же не пытаться хоть что-то делать. Не рассказывать о том, к чему приводит эта ненависть. Нельзя им позволить заражать этой ненавистью других. И напрасно я ему не повторила слов поэта Межелайтиса. Когда он писал предисловие к книге "Я должна рассказать", и я усомнилась, прочтет ли ее кто-нибудь из палачей, он ответил, что с фашизмом, если потребуется, опять будем сражаться с оружием в руках, а свидетельствовать об их злодеяниях необходимо для тех, кто был равнодушен. И еще надо было этому молодому скептику рассказать про мои вечерние хождения, когда я еще жила в Вильнюсе, в историко-революционный музей, где пылятся документы закрытого в 1949-том году еврейского музея. Рассказать про ту толстенную папку с фотографиями, найденными в вещах расстрелянных. Поделиться своим ощущением, что в глазах, которые смотрели с этих фотографий, была мольба не предавать их забвению, — ведь от них, и от тех, чьих даже фотографий нет, от семидесяти тысяч расстрелянных только в Панеряй не осталось*ничего*, даже пепла. Немцы перед отступлением пригнали таких же обреченных, и заставили все эти огромные ямы вскрыть, а истлевшие останки сжечь, и пепел рассеять, чтобы не остались даже мертвые свидетели.

Э П И Л О Г

Повесть "Привыкни к свету" вышла с посвящением памяти отца. Он умер 22-го ноября 1973-го года. С тех пор прошло 26 лет. Умерла Кира Александровна, умерла их дочка, наша больная сестренка Гануся. Рядом с их памятником на вильнюсском кладбище мы с Мирой поставили стелу в память о маме, Раечке и Рувике. В Вильнюс я теперь езжу раз в году, в годовщину смерти папы. После кладбища, дождавшись сумерек, когда люди расходятся по домам, прихожу в бывшее гетто. Брожу по его улочкам. Выхожу через бывшие ворота и, как тогда, по мостовой, иду к той низине на улице Субачяус, где нас держали в последнюю ночь, последнюю с мамой, Раечкой и Рувиком… На следующий день еду в Панеряй. Подолгу стою возле каждой, уже заросшей травой, но все еще глубокой ямы. Стою у самого края, где стояли безоружные, избитые мужчины, женщины, старики и дети. Пуля в затылок сваливала их вниз, на уже упавших. Тогда их участь меня миновала. И в Штрасденгофе смерть прошла мимо. И в Штуттгофе не дошел мой черед до газовой камеры и печи крематория. В Штуттгоф я тоже приезжала. Стояла возле этих, теперь зияющих пустотой печей. Тогда пламя в них полыхало круглосуточно. Сожгли в этих печах восемьдесят пять тысяч человек… Но возвращалась я в прошлое, не только приходя в бывшее гетто, посещая места истребления и в День памяти шести миллионов погибших евреев (который лишь в последние полтора десятка лет нам разрешено отмечать…). …Некие ленинградские поклонники Гитлера отмечали его день рождения! И это оказалось не единственным проявлением их приверженности идеям и программе фюрера. Они тренировались в стрельбе, и мишенью служило выведенное на силуэте человека слово "Jude". Именно в него следовало попасть…. …Группа подростков, назвавших себя "национал-социалистической организацией", нарядившись в эсэсовские формы со свастикой на рукаве и изображением черепа с костями на черном галстуке, по ночам затаскивали в подвалы одиноких прохожих, заставляли вставать перед ними на колени, кричать "Хайль Гитлер!" и пытали. Попытки бить тревогу называлось клеветой и происками западной пропаганды. Журналисту Кошванцу, которому удалось написать об этом — хотя с оговорками, что такие группы и факты единичны, что организованного "коричневого движения" у нас, конечно, нет — обком партии дал отповедь в печати. Обнаружили одну неточность — он называет ПТУ, а в описываемое время (1981–1982) (Статья могла появиться только в 1987-ом году)

названные подростки еще учились в школе. В ПТУ с ними проводилась воспитательная работа. Теперь они служат в армии. Один награжден знаком "Отличник Советской Армии", другой пользуется авторитетом среди товарищей, третий успешно трудится. А вопрос об ответственности автора за эту статью будет рассмотрен на заседании редколлегии. Читателям же приносится извинение… …Уже не подростки, а кандидат философских наук В.Н.Безверхий письменно пропагандирует идеи фашизма, и даже разработал организационную структуру так называемого "общества волхвов" — боевых групп по типу штурмовых отрядов в фашистской Германии. Ему всего лишь "разъяснили", что его действия "наносят ущерб интересам нашего общества и государства". …И участников разрешенных в Румянцевском саду митингов так называемого русского национально-патриотического фронта "Память", после, увы, немногочисленных протестов общественности, всего лишь предупредили "о недопустимости пропаганды национализма, о необходимости более точного, объективного освещения исторических событий, национальных отношений". Безнаказанность, граничащая с попустительством, только стимулировала действия фашиствующих организаций. …А.Романенко, печально известный борец с сионизмом — как он сам себя величал — подал в суд на писательницу Н.Катерли за то, что, упомянув в газетной статье его книгу "О классовой сущности сионизма", она указала, что автор "не брезгует ни чудовищными искажениями исторической правды, ни использованием идей и чуть ли не раскавыченных выдержек из теоретиков нацизма". (В 70-х — 80-х годах борцы с сионизмом такое сравнение еще считали оскорбительным. Однако уже вскоре стали этим гордиться…) В суде нас, пришедших поддержать Н.Катерли, встретили сторонники А.Романенко с антисемитскими плакатами, выкриками. Я инстинктивно, как когда-то, ежилась, ждала удара, хотя люди эти были пожилые, в штатском и без хлыстов. Да и злобу свою изливали не по-немецки, а по-русски. Во время судебного заседания, слушая полную ненависти демагогию Романенко, я, чтобы избавиться от дрожи, смотрела на герб Советского Союза за спиной судьи, твердила себе, что за окнами река Фонтанка, а чуть дальше — Летний сад. Но они не отпускали — ни дрожь, ни чувство незащищенности. Я еле дождалась конца заседания. И хотя дело окончательно не было завершено, Романенко воскликнул: "Еще одна победа над сионизмом!" Романенко ушел в сопровождении своих сторонников. Становилось меньше и нас, составлявших "тыл" Нины Катерли. Сама она тоже ушла. А я сидела в пустом зале, прикованная к месту еще витавшей тут

враждебностью… Наконец муж напомнил, что пора уходить. И меня потянуло скорей выйти отсюда, оказаться на улице, среди обычной жизни. А еще лучше — в Летнем саду. Здесь все было, как в обычный летний день. Матери катили коляски. Возле одной из скамеек две рыжие девчушки-двойняшки кормили голубей. У памятника Крылову фотографировались школьники. Им примерно столько же лет, сколько мне было *тогда*… Внезапно мне стало страшно. Я понимала, что с ними не будет того, что со мною, — ничто не повторяется с точностью. Но ведь их души могут заразить ненавистью, перетянуть на свою сторону такие, как Романенко, Безверхий и их приверженцы. Как мне их уберечь? А дети все так же весело уже группировались, чтобы сняться вокруг скульптуры "Истина". …На 7-ом съезде писателей России в 1990-ом году пришлось выслушивать речи, куда более воинственные, нежели в зале суда. А во время перерывов в вестибюле якобы скрытно продавали "Майн камф" Гитлера. Остальные же опусы схожего содержания, украшенные фиолетовой звездой Давида или красноречиво названные "Жиды", были открыто выставлены для продажи. И было все это в театре *Советской Армии*… Мы, группа писателей, написали протест в Прокуратуру СССР. Она "приняла меры": прислала в Ленинград следователя, который вяло запротоколировал показания каждого из нас и собрал все купленные экземпляры, выдав расписку, что берет для экспертизы и вернет через две недели. Не знаю, какая именно имелась в виду экспертиза, если вскоре Москву, Ленинград наводнили и *свободно* продавались хорошо изданные (в Ленинграде тем же Безверхим…) и "Майн камф", и писания других идеологов нацизма. В отчаянии я (и не только я) отправили телеграммы Генеральному прокурору РСФСР Степанкову, в Президиум Верховного Совета РСФСР Степашину, Председателю Ленсовета Собчаку и в газету "Смена". В ответ получила стереотипную отписку от старшего помощника прокурора Ленинграда В.Морозова, что "по обращениям граждан, сообщавших о фактах разжигания межнациональной розни, продаже литературы соответствующего содержания, прокуратурой возбуждено и расследуется уголовное дело". Кончилось это ничем… …Немногочисленная группа интеллигентов, готовая противостоять возрождаемому фашизму, начала издавать антифашистский журнал "Барьер". Но вышло всего четыре номера — не нашлось желающих материально поддержать столь необходимое издание… …В ноябре 1992-го года, в день очередной годовщины Октябрьского переворота 1917-го года, для проведения своих митингов каждой организации на Дворцовой площади было выделено определенное время. "Русская

партия" это время использовала, чтобы устами своего председателя В.Цикарева сообщить, что "Кавказская мафия, руководимая сионистами, заполонила улицы и рынки наших городов". Его заместитель Н.Бондарик был более категоричен. Он заявил, что необходимо "Решать еврейский вопрос". (Как и Гитлер…) Не преминул и пояснить, как именно его следует решать: "Для евреев есть Освенцим, Израиль — слишком много для них". Свою статью — обращение к правоохранительным органам, работникам печати, радио, телевидения и согражданам я отправила в две ленинградские газеты. Ни одна не опубликовала… …В 1995-ом году в Освенциме широко отмечалось 50-летие со дня его освобождения. Свою статью о пребывании там в эти дни я назвала "Я пришла к Тебе, мама". Ее не опубликовали. Может, вернулось эхо давних указаний о том, что в описании войны должны преобладать темы героизма и подвигов, а не жертв и страданий. Поэтому рассказ о посещении концлагеря, в котором погибли *четыре миллиона* человек, оказался нежелательным. Или, может, мой "грех" состоял в том, что я поведала о протесте евреев против непризнания тогдашним Президентом Польши Л.Валенсой, что 85 % погибших (да простят они меня, что их жизни приходится превращать в цифры) — евреи. А еще написала, что не был приглашен на день освобождения концлагеря ни один наш ветеран войны, даже из тех, кто воевал на этом клочке земли… …Сейчас вечер 2-го февраля 1999-го года. По телевизору показывают шествие членов Партии русского национального единства. На рукавах повязки со стилизованной свастикой. Как знак партийного приветствия — гитлеровское вскидывание руки. Они маршируют свободно. Распространяют свои экстремистские издания. Правда, возле одного отделения милиции проверили их документы. Но завершилось это извинением за причиненное беспокойство. И ничего в этом удивительного нет — ведь угрозы евреям звучат и в устах депутатов Госдумы… …Дождливой осенней ночью 1943-го года, при ликвидации вильнюсского гетто, понимая, что утром нас поведут на расстрел, моя девятилетняя сестренка Раечка спрашивала маму: "Когда расстреливают — больно?" Не знаю. Меня это миновало. Но жить, постоянно ощущая, как ненавидят твой народ, — очень больно.